Леонид Пантелеев

Республика Шкид

Посвящаем эту книгу товарищам по школе имени Достоевского.

Авторы

Первые дни

На Старо-Петергофском проспекте в Ленинграде среди сотен других каменных домов затерялось облупившееся трехэтажное здание, которому после революции суждено было превратиться в республику Шкид.

До революции здесь помещалось коммерческое училище. Потом оно исчезло вместе с учениками и педагогами.

Ветер и дождь попеременно лизали каменные стены опустевшего училища, выкрашенные в чахоточный серовато-желтый цвет. Холод проникал в здание и вместе с сыростью и плесенью расползался по притихшим классам, оседая на партах каплями застывшей воды.

Так и стоял посеревший дом со слезящимися окнами. Улица с очередями, с торопливо пробегающими людьми в кожанках словно не замечала его пустоты, да и некогда было замечать. Жизнь кипела в других местах: в совете, в райкоме, в потребиловке.

Но вот однажды тишина здания нарушилась грохотом шагов. Люди в кожанках, с портфелями, пришли, что-то осмотрели, записали и ушли. Потом приехали подводы с дровами.

Отогревали здание, чинили трубы, и наконец прибыла первая партия крикливых шкетов-беспризорников, собранных неведомо откуда.

Много подростков за время революции, голода и гражданской войны растеряли своих родителей и сменили семью на улицу, а школу на воровство, готовясь в будущем сделаться налетчиками.

Нужно было немедленно взяться за них, и вот сотни и тысячи пустующих, полуразрушенных домов снова приводили в порядок, для того чтобы дать кров, пищу и учение маленьким бандитам.

Подростков собирали всюду. Их брали из «нормальных» детдомов, из тюрем, из распределительных пунктов, от измученных родителей и из отделений милиции, куда приводили разношерстную беспризорщину прямо с облавы по притонам. Комиссия при губоно сортировала этих «дефективных», или «трудновоспитуемых», как называли тогда испорченных улицей ребят, и оттуда эта пестрая публика распределялась по новым домам.

Так появилась особая сеть детских домов-школ, в шеренгу которых стала и вновь испеченная «Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского», позднее сокращенная ее дефективными обитателями в звучное «Шкид».

Фактически жизнь Шкиды и началась с прибытия этой маленькой партии необузданных шкетов. Первые дни новорожденной школы шли в невообразимом беспорядке. Четырнадцати- и тринадцатилетние ребята, собранные с улицы, скоро спаялись и начали бузить, совершенно не замечая воспитателей.

Верховодить сразу же стал Воробьев, прозванный с первого дня Воробышком – отчасти из-за фамилии, отчасти из-за своей внешности. Он был маленький, несмотря на свои четырнадцать лет, и за все пребывание в школе не вырос и на полдюйма. Пришел Воробей вместе с парнем, по фамилии Косоров, из нормального детского дома, где он собирался убить заведующего школой.

Как-то летним вечером Воробьева по приказу завдетдомом не пустили гулять, и он поклялся жестоко отомстить за такое зверство. На другой день Косоров – его верный товарищ – достал ему револьвер, и Воробьев пошел в кабинет заведующего. Косоров стоял у дверей и ждал единственного выстрела – другого не могло быть, так как в револьвере был один патрон.

Что произошло в кабинете, осталось неизвестным. Выстрела Косоров так и не услышал, а видел только, как раскрылась дверь и разъяренный заведующий стремительно протащил за шиворот бледного Воробья.

Впоследствии Воробьев рассказывал, что, когда он скомандовал «руки вверх», заведующий упал на колени и лишь осечка испортила все дело.

За это неудавшееся покушение и за целый ряд других подвигов Воробья перевели в Шкиду. Вместе с ним был переведен и его верный товарищ – Косоров.

«Косарь», в противоположность Воробью, был плотным здоровяком, но всегда ходил хмурый. Таким образом, соединившись в «сламу», они дополняли друг друга.

Жить «на сламу» означало жить в долгой и крепкой дружбе. «Сламщики» должны были всем делиться между собой, каждый должен был помогать своему другу.

Придя в Шкиду, сламщики сразу поставили дело так, что остальные шесть шкетов боялись дохнуть без их разрешения, а заика Гога стал подобострастно прислуживать новым заправилам.

Состав педагогов еще не был подобран. Воспитанникам жилось вольготно.

День начинался часов в одиннадцать утра, когда растрепанная кухарка вносила в спальню вчерашний обед и чай.

Не вставая с кровати, принимались за шамовку.

Воробей, потягиваясь на кровати, грозно покрикивал тоненьким голосом на Гогу:

– Подай суп! Принеси кашу!

Гога беспрекословно выполнял приказания, бегая по спальне, за что милостиво получал в награду папироску.

Шамовки было много, несмотря на то что в городе, за стенами школы, сидели еще на карточках с «осьмушками». Происходило это оттого, что в детдоме было пятнадцать человек, а пайков получали на сорок. Это позволяло первым обитателям Шкиды вести сытную и даже роскошную жизнь.

Уроков в первые дни не было, поэтому вставали лениво, часам к двенадцати, потом сразу одевались и уходили из школы на улицу.

Часть ребят под руководством Гоги шла «крохоборствовать», собирать окурки, другая часть просто гуляла по окрестным улицам,

попутно заглядывая и на рынок, где, между прочим, прихватывала с лотков зазевавшихся торговцев незначительные вещицы, вроде ножей, ложек, книг, пирожков, яблок и т.д.

К обеду Шкида в полном составе собиралась в спальне и ждала, когда принесут котлы с супом и кашей. Столовой еще не было, обедали там же, где и спали, удобно устраиваясь на койках.

Сытость располагала к покою. Как молодые свинки, перекатывались питомцы по койкам и вели ленивые разговоры.

«Крохоборы» разбирали мерзлые «чинаши», тщательно отдирая бумагу от табака и распределяя по сортам. Махорку клали к махорке, табак к табаку. Потом эта сырая, промерзлая масса раскладывалась на бумаге и начиналась сушка.

Сушили после вечернего чая, когда с наступлением зимних сумерек появлялась уборщица и, громыхая кочергой и заслонками, затапливала печку.

Серенький, скучный день проходил тускло, и поэтому поминутно брызгающая красными искрами печка с веселыми язычками пламени всегда собирала вокруг себя всю школу. Усевшись в кружок, ребята рассказывали друг другу свои похождения, и тут же на краю печки сушился табак – самая дорогая валюта школы.

Полумрак, теплота, догорающие в печке поленья будили в ребятах новые мысли. Затихали. Каждый думал о своем. Тогда Воробей доставал свою балалайку и затягивал тоскующим голосом любимую песню:

По приютам я с детства скитался,

Не имея родного угла.

Ах, зачем я на свет появился,

Ах, зачем меня мать родила…

Песню никто не знал, но из вежливости подтягивали, пока Гога, ухарски тряхнув черной головой, не начинал играть «Яблочко» на «зубарях».

«Зубари», или «зубарики», были любимой музыкой в Шкиде, и всякий новичок прежде всего старательно и долго изучал это сложное искусство, чтобы иметь право участвовать в общих концертах.

Для зубарей важно было иметь слух и хорошие зубы, остальное приходило само собой. Техника этого дела была такая. Играли на верхних зубах, выщелкивая мотив ногтями четырех пальцев, а иногда и восьми пальцев, когда зубарили сразу двумя руками. Рот при этом то открывался широко, то почти совсем закрывался. От этого получались нужной высоты звуки. Спецы по зубарям доходили до такой виртуозности, что могли без запинки сыграть любой самый сложный мотив.

Таким виртуозом был Гога. Будучи заикой, он не мог петь и всецело отдался зубарикам. Он был одновременно и дирижером, и солистом шкидского оркестра зубарей. Обнажив белые крупные зубы, Гога мечтательно закидывал голову и быстрой дробью начинал выбивать мелодию. Потом подхватывал весь оркестр, и среди наступившей тишины слышался отчаянный треск зубариков.

Лица теряли человеческое выражение, принимали тупой и сосредоточенный вид, глаза затуманивались и светились

вдохновением, свойственным каждому музыканту. Играли, разумеется, без нот, но с чувством, запуская самые головоломные вариации, и в творческом порыве не замечали, как входил заведующий.

Это означало, что пора спать.

В первые дни штат Шкиды был чудовищно велик. На восемь воспитанников было восемь служащих, хотя среди них не было никого лишнего. Один дворник, кухарка, уборщица, завшколой, помощница зава и три воспитателя.

Завшколой – суровая фигура. Грозные брови, пенсне на длинном носу и волосы ежиком. Начало педагогической деятельности Виктора Николаевича уходило далеко в глубь времен. О днях своей молодости он всегда вспоминал и рассказывал с любовью. Воспитанники боялись его, но скоро изучили и слабые стороны. Он любил петь и слушать песни. Часто, запершись во втором этаже в зале, он садился за рояль и начинал распевать на всю школу «Стеньку Разина» или «Дни нашей жизни».

Тогда у дверей собиралась кучка слушателей и ехидно прохаживалась на его счет:

– Эва, жеребец наш заржал!

– Голосина что у дьякона.

– Шаляпин непризнанный!..

Завшколой переехал в интернат с первого дня его основания и поселился во втором этаже.

От интерната квартиру заведующего отделял один только зал, который в торжественные минуты назывался «Белым залом». Стены

Белого зала были увешаны плохими репродукциями с картин и портретами русских писателей, среди которых почетное место занимал портрет Ф. М. Достоевского.

В качестве помощницы заведующего работала его жена, белокурая немка Элла Андреевна Люмберг, или просто Эллушка, на первых порах взявшая на себя роль кастелянши, но потом перешедшая на преподавание немецкого языка.

Они-то и являлись основателями школы.

Воспитателей было немного.

Один – студент, преподаватель гимнастики, получивший кличку Батька. Другой – хрупкий естествовед, влюбленный в книжки Кайгородова о цветах, мягкий и простодушный человек, потомок петербургских немцев-аптекарей. Прежде всего «ненормальный» питомник не принял его трудно выговариваемого имени. Герберта Людвиговича сперва переделали в Герб Людовича, потом сократили до Герб Людыча, потом любовно и просто стали звать Верблюдычем и наконец окончательно закрепили за ним имя Верблюд.

Однако Верблюда любили за мягкость, хотя и смеялись над некоторыми его странностями. А их у него было много. То подсмотрят ребята, как Верблюдыч перед сном начинает танцевать в кальсонах, напевая фальшивым голосом мазурку, то вдруг он начнет мучить шкидцев, настойчиво разучивая гамму на разбитом пианино, которое не в добрый час оказалось у него в комнате.

Музыка у Верблюдыча была второй страстью после цветов. Однако все же он играть ни на чем не умел и за все свое пребывание в

школе не поразил шкидцев ни одним новым номером, кроме гаммы.

Третий педагог был ни то ни се. Он скоро исчез со шкидского горизонта, обидевшись на маленький паек и на слишком тяжелую службу у «дефективных». Впоследствии он был спортинструктором Всеобуча, а оттуда перешел в мясную лавку на должность «давальца».

Цыган из Александро-Невской лавры

Недолго тянулись медовые дни ничегонеделания. Постепенно комплект воспитанников пополнился, появились и приходящие ученики, такие, которых отпускали после уроков домой. Открылись три класса, которые завшколой назвал почему-то отделениями.

Начались занятия. Меньше стало свободного времени для прогулок. К тому же завернули морозы, и ребята все больше отсиживались в спальне, мирно коротая зимние вечера.

В один из таких вечеров, когда весь питомник, сгрудившись, отогревался у печки, в спальню вошел Виктор Николаевич, а за ним показалась фигура парня в обтрепанном казенном пальто.

«Новичок», – решили мысленно шкидцы, критически осматривая нового человека.

Завшколой откашлялся, взял за руку парня и, вытолкнув вперед, проговорил:

– Вот, ребята, вам еще один товарищ. Зовут его Николай Громоносцев. Парень умный, хороший математик, и вы, надеюсь, с ним скоро сойдетесь.

С этими словами Виктор Николаевич вышел из комнаты, оставив

ребят знакомиться.

Колька Громоносцев довольно нахально оглядел сидевших и, решив, что среди присутствующих сильнее его никого нет, независимо поздоровался:

– Здравствуйте, сволочи!

– Здравствуй, – недружелюбно процедил за всех Воробьев. Он сразу понял, что этот новичок скоро будет в классе коноводом. С появлением Громоносцева власть уходила от Воробья, и, уже с первого взгляда почувствовав это, Воробышек невзлюбил Кольку.

Между тем Колька, нимало не беспокоясь, подошел к печке и, растолкав ребят, сел у огня.

Ребята посторонились и молча стали оглядывать новичка. Вызывающее поведение и вся его внешность им не понравились.

У Кольки был зловещий вид. Взбитые волосы лезли на прямой лоб. Глаза хитро и дерзко выглядывали из-под темных бровей, а худая мускулистая фигура красноречиво утверждала, что силенок у него имеется в достатке.

Путь, но которому двигался Громоносцев к Шкиде, был длинный путь беспризорного. Пяти лет он потерял отца, а позже и мать. Без присмотра, живя у дальних родственников, исхулиганился, и родственники решили сплавить юнца поскорее с рук, сдав его в Николо-Гатчинский институт.

Родственники получили облегчение, но институт не обрадовался такому приобретению. Маленький шкетик Колька развернулся вовсю: дрался, ругался, воровал и неизвестно чем закончил бы свои подвиги,

если б в это время институт не расформировался.

Но Колька – сирота, и его переводят в другое заведение, потом в третье. Колька так много сменил казенных крыш, что и сам не мог их перечислить, пока наконец воровство не привело его в Александро-Невскую лавру.

Когда-то лавра кишела черными монашескими скуфьями и клобуками, но к прибытию Кольки святая обитель значительно изменила свою физиономию. Исчезли монахи, а в бывших кельях поселились новые люди.

Тихие кельи превратились в общие и одиночные камеры, в которых теперь сидели несовершеннолетние преступники.

Лавра была последней ступенью исправительной системы. Отсюда было только две дороги: либо в тюрьму, либо назад в нормальный детдом.

Попасть в лавру считалось в те годы самым большим несчастьем, самым страшным, что могло ожидать молодого правонарушителя. Провинившихся школьников и детдомовцев пугали Шкидой, но если уж речь заходила о лавре – значит, дело было швах, значит, парень считался конченным.

И вот Колька Громоносцев докатился-таки до лавры. Три месяца скитался он по камерам, наблюдая, как его товарищи по заключению дуются самодельными картами в «буру», слушал рассказы бывалых, перестукивался с соседями, даже пытался бежать. В темную зимнюю ночь он с двумя товарищами проломили решетку камеры и спустились на полотенцах во двор. Поймали их на ограде, через которую они

пытались перелезть. Отсидев тридцать суток в карцере, Колька неожиданно образумился. Однажды, явившись к заведующему, твердо заявил:

– Люблю математику. Хочу быть профессором.

Категорическое заявление Кольки подействовало. Громоносцева перевели в Шкиду.

В тот же день, рассмотрев поближе новичка, шкидцы держали совет:

– Как его прозвать?

– Трубочистом назовем. Эва, черный какой!

– Жуком давайте.

– Нет.

– Ну, так пусть будет – Цыган.

– Во! Правильно!

– Цыган и есть.

Колька снисходительно слушал, а когда приговор был вынесен, улыбнулся и небрежно сказал:

– Мне все равно. Цыган так Цыган.

… – А почему вы школу зовете Шкид? – спрашивал Колька на уроке, заинтересованный странным названием.

Воробышек ответил:

– Потому что это, брат, по-советски. Сокращенно. Школа имени Достоевского. Первые буквы возьмешь, сложишь вместе – Шкид получится. Во, брат, как, – закончил он гордо и добавил многозначительно: – И все это я выдумал.

Колька помолчал, а потом вдруг опять спросил:

– А как зовут заведующего?

– Виктор Николаевич.

– Да нет… Как вы его зовете?

– Мы? Мы Витей его зовем.

– А почему же вы его не сократили? Уж сокращать так сокращать. Как его фамилия?

– Сорокин, – моргая глазами, ответил Воробышек.

– Ну, вот: Вик. Ник. Сор. Звучно и хорошо. – И правда, дельно получилось.

– Ай да Цыган!

– И в самом деле, надо будет Викниксором величать.

Попробовали сокращать и других, но сократили только одну немку. Получилось мягкое – Эланлюм.

Оба прозвища единогласно приняли.

Однажды Викниксор, бывший Виктор Николаевич Сорокин, любитель всего нового и оригинального, зашел к ребятам и, присев на подоконник, мягко, по-отечески заговорил:

– Вы, ребята, скучаете?

– Скучаем, – печально ответили ребята.

– Надо, ребята, развлекаться.

– Надо, – поддакнули опять шкидцы.

– Ну, если так, то у меня есть идея. Школа наша расширяется, и пора нам издавать газету.

Ребята погмыкали, но ничего не ответили, и Викниксору

пришлось повторить предложение:

– Давайте издавать газету.

– Давайте, Виктор Николаевич. Только… – замялся Косарь, – мы это не умеем. Может, вы сделаете?..

Предложение было смелое, но Викниксор согласился:

– Хорошо, ребята, я вам помогу. На первых порах нужно руководство. Так что – ладно, устроим.

Скоро о беседе забыли.

Но завшколой, увлеченный своей идеей, не остыл.

Каждый вечер в маленькой канцелярии дробно стучала пишущая машинка. Это готовился руками самого Викниксора первый номер шкидской газеты.

В то же время питомник стал замечать рост популярности Цыгана.

Колька ужо не ходил мокрой курицей, новичком, а запросто, по-товарищески беседовал с завшколой и долгие вечера коротал с ним за шахматной доской.

– Ишь, стерва, подлизывается к Викниксору, – злобно скулили ребята, поглядывая на ловкого фаворита, но тот и в ус не дул и по-прежнему увивался около зава.

– Не иначе как кляузником будет, – разжигал массы Воробей.

Ребята слушали и озлоблялись, но Цыган не обращал внимания на хмурившихся товарищей, хотя было обидно, что до сих пор с ним никто не желал дружить, а тем более повиноваться ему так, как повиновались Воробышку.

Дело в том, что Шкида только тогда начинала уважать своего

товарища, когда находила в нем что-нибудь особенное – такое, чего нет у других.

У Воробья это было. У него имелась балалайка, паршивая, расстроенная в ладах балалайка, и умение кое-как тренькать на ней. Из всех воспитанников никто этой науки не осилил, и поэтому единственного музыканта уважали.

У Цыгана еще не было случая завоевать расположение товарищей, но он искал долго, упорно и наконец нашел.

Однажды, сидя в кабинете завшколой за партией в шахматы, Колька, победив три раза подряд, четвертую игру нарочно провалил.

Приунывший Викниксор повеселел. Несмотря на свои пятнадцать лет, Колька хорошо играл в шахматы, и завшколой редко выигрывал. Поэтому он очень обрадовался, когда загнанный и зашахованный его король вдруг получил возможность дышать, а через шесть ходов Колька пропустил важное передвижение и получил мат.

– Красивый матик. Здорово вы мне влепили, – притворно восторгался Цыган, разваливаясь в кожаном кресле. – Очень красивый мат, Виктор Николаевич.

Викниксор расцвел в улыбке.

– Что? Получил? То-то, брат. Знай наших.

Цыган минуту выждал, тактично промолчав, и дал Викниксору возможность насладиться победой. Потом, переменив тон, небрежно спросил:

– Виктор Николаевич, а как насчет газеты? Будете выпускать или нет?

– Как же, как же. Она уже почти готова, – оживился Викниксор. – Только вот, брат, материалу маловато. Ребята не несут. Приходится самому писать.

– Да, это плохо, – посочувствовал Колька, но Викниксор уже увлекся:

– Ты знаешь, я и название придумал, и даже пробовал сам заголовок нарисовать, но ничего не вышло, плохо рисую. Зато весь номер уже перепечатан, только уголок заполнить осталось. Я пробовал и стихи написать, да что-то неудачно выходит. А ведь когда-то гимназистом писал, и писал недурно. Помню, еще, бывало, Блок мне завидовал. Ты знаешь Блока – поэта знаменитого?

– Знаю, Виктор Николаевич. Он «Двенадцать» написал. Читал.

– Ну вот. Так я с ним в гимназии на одной парте сидел, и вот, бывало, сидим и пишем стихи, все своим дамам сердца посвящали. Так ведь, представь себе, бывало, так у меня складно выходило, что Блок завидовал.

– Неужели завидовал? – удивлялся Колька.

– Да. А вот теперь совсем не могу писать – разучился.

– А я ведь с вами, Виктор Николаевич, как раз об этом и хотел поговорить, – деликатно вставил Цыган.

Завшколой удивленно взглянул.

– Ну-ну, говори.

Колька помялся.

– Да вот тоже, вы знаете, попробовал стишки написать, принес показать вам.

– Стишки? Молодец. Давай, давай сюда.

– Они, Виктор Николаевич, так, первые мои стихи. Я их о выпуске стенгазеты написал.

– Вот, вот и хорошо.

Тон заведующего был такой ободряющий и ласковый, что Колька уже совсем спокойно вытащил свои стихи и, положив на стол, отошел в сторону.

Завшколой взял листочек и стал читать вслух:

Ура, ребята! В нашей школе
Свершилось чудо в один миг.
И вот теперь висит на стенке
Своя газета – просто шик.

Прочтя первый куплет, Викниксор помолчал, подумал и сказал:

– Гм. Ничего.

Колька, чуть не прыгая от радости, выскочил из кабинета.

В спальню он вошел спокойный.

Ребята по-прежнему сидели у печки. При его входе никто даже не оглянулся, и Кольку это еще больше обозлило.

– Ладно, черти, узнаете, – бормотал он, укладываясь спать.

* * *

Через пару дней Шкида действительно узнала Громоносцева.

– Ты видел, а?

– Что?

– Вот чумичка. Что! Пойди-ка к канцелярии, Позек-сай, газету

выпустили школьную. «Ученик» называется.

– Ну?

– Ты погляди, а потом нукай. Громоносцев-то у нас…

– Что Громоносцев?

– Погляди – увидишь!

Шли толпами и смотрели на два маленьких листика. Четвертую часть всей газеты занимал заголовок, разрисованный карандашами.

Читали напечатанные бледным шрифтом статейки без подписи о методах воспитания в школе, потом шмыгали глазами по второму листку и изумленно гоготали:

– Ай да Цыган! Ловко оттяпал.

– Прямо поэт.

Колька и сам не поверил, когда увидел свои стихи рядом с большой статьей Викниксора, но под стихами стояло: «Ник. Громоносцев». Оставалось верить и торжествовать.

Стихи были чуть-чуть исправлены и первое четверостишие звучало так:

Ура, ребята! В нашей школе
Свершилось чудо в один миг!
У канцелярии на стенке
Висит газета «Ученик».

Газета произвела большое впечатление. Читали ее несколько раз. Вызывал некоторое недоумение заголовок, представлявший собою нечто странное. По белому полю полукругом было расположено название «Ученик», а под ним помещался загадочный рисунок –

головка подсолнуха с оранжевыми лепестками, внутри которого красовался черный круг с двумя белыми буквами: «Ш. Д.», вписанными одна в одну – монограммой.

Что это означало, никто не мог понять, пока однажды за обедом непоседливый Воронин не спросил при всех заведующего:

– Виктор Николаевич, а что означает этот подсолнух?

– Подсолнух? Да, ребята… Я забыл вам сказать об этом. Это, ребята, наш герб. Отныне этот герб мы введем в употребление всюду. А значение его я сейчас вам объясню. Каждое государство, будь то республика или наследственная монархия, имеет свой государственный герб. Что это такое? Это – изображение, которое, так сказать, аллегорически выражает характер данной страны, ее историческое и политическое лицо, ее цели и направление. Наша школа – это тоже своеобразная маленькая республика, поэтому я и решил, что у нас тоже должен быть свой герб. Почему я выбрал подсолнух? А потому, что он очень точно выражает наши цели и задачи. Школа наша состоит из вас, воспитанников, как подсолнух состоит из тысячи семян. Вы тянетесь к свету, потому что вы учитесь, а ученье – свет. Подсолнух тоже тянется к свету, к солнцу, – и этим вы похожи на него.

Кто-то ехидно хихикнул. Викниксор поморщился, оглядел сидящих и, найдя виновного, молча указал на дверь.

Это означало – выйти из-за стола и обедать после всех.

Под сочувствующими взглядами питомника наказанный вышел. А кто-то ядовито прошипел:

– Мы подсолнухи, а Витя нас лузгает!

Настроение Викниксора испортилось, и продолжать объяснение ему, видимо, не хотелось, поэтому он коротко заключил:

– Подсолнух – наш герб. А теперь, дежурный, давай звонок в классы.

Таким образом, в один день республика Шкид сделала два ценных приобретения: герб и национального поэта Николая Громоносцева.

Популярность сразу перешла к нему, и первой крысой с тонувшего Воробьиного корабля был Гога, решительно пославший к черту балалаечника и перешедший на сторону поэта.

Воробышек был взбешен, но продолжать борьбу он уже не мог.

Тщетно перепробовал он все средства: писал стихи, которые и сам не мог читать без отвращения, пробовал рисовать, – Шкида холодно отнеслась к его попыткам, и Воробей сдался.

Цыган торжествовал, а слава поэта прочно укрепилась за ним несмотря на то, что газета после первого номера перестала существовать, а сам Громоносцев надолго оставил свои поэтические опыты.

Янкель пришел

Еще маленьким, сопливым шкетом Гришка любил свободу и самостоятельность. Страшно негодовал, когда мать наказывала его за то, что, побродивши в весенних дождевых лужах, он приходил домой грязным и мокрым.

Не выносил наказаний и уходил из дому, надув губы. А на дворе подбивал ребят и, собрав орду, шел далеко за город, через большое кладбище с покосившимися крестами и проваливающимися гробницами к маленькой серенькой речке. И здесь наслаждался.

Свобода успокаивала Гришкины нервы. Он раздевался и начинал с громким хохотом носиться по берегу и бултыхаться в мутной, грязной речонке.

Поздно приходил домой и, закутавшись, сразу валился на свой сундук спать.

Гришка вырос среди улицы. Отца он не помнит. Иногда что-то смутно промелькнет в его мозгу. Вот он видит себя на белом катафалке, посреди улицы. Он сидит на гробу высоко над всеми, а за ними идут мать, бабушка и кто-то еще, кого он не знает. Катафалк тащат две ленивые лошади, и Гришка подпрыгивает на деревянной гробовой доске, и Гришке весело. Это все, что осталось у него в памяти от отца. Больше он ничего вспомнить не мог.

Кузница дворовая с пылающим горном стала его отцом. Мать работала прачкой «по господам», некогда было сыном заниматься. Гришка полюбил кузницу. Особенно хорошо было смотреть вечером на пылающий кровавый горн и нюхать едкий, но вкусный дым или наблюдать, как мастер, выхватив из жара раскаленную полосу, клал ее на наковальню, а два молотобойца мощными ударами молотов мяли ее, как воск. Тяжелые кувалды глухо ухали по мягкому железу, и маленький ручник отзванивал такт. Выходило красиво – как музыка.

До того сжился с кузницей Гришка, что даже ночевать стал вместе

с подмастерьями. Летом заберутся в карету непочиненную – усядутся. Уютно, хорошо, потом подмастерья рассказывают страшные сказки – про чертей, мертвецов, про колокольню с двенадцатью ведьмами.

Слушает Гришка – мороз кожу выпузыривает, а не уходит – жалко оставить так историю, не узнав, чем кончится.

Так бежало детство.

Потом мать повела в школу, пора было взяться за дело, да Гришка и не отвиливал, пошел с радостью.

Учиться хотелось по разным причинам, и главной из них были книжки брата с красивыми обложками, на которых виднелись свирепые лица, мелькали кинжалы, револьверы, тигры и текла красная хромолитографская кровь.

Гришка оказался способным. То, что его товарищи усваивали в два-три урока, он схватывал на лету, и учительница не могла нахвалиться им за его ретивость.

Однако успехи Гришкины на первом же году кончились. Читать он научился, писать тоже. Он вдруг решил, что этого вполне довольно, и с яростью засел за «Пинкертонов». Никакие наказания и внушения не помогали.

Гришка в самозабвении, затаив дыхание, носился с прославленным американским сыщиком по следам неуловимых убийц, взломщиков и похитителей детей или с помощником гениального следопыта Бобом Руландом пускался на поиски самого Ната Пинкертона, попавшего в лапы кровожадных преступников.

Так два года путешествовал он по американским штатам, а потом

мать грустно сказала ему:

– Достукался, скотина. Из школы вышибли дурака. Что мне с тобой делать?

Гришка был искренне огорчен, однако ничего советовать матери не стал и вообще воздержался от дальнейшего обсуждения этого сложного вопроса.

С грехом пополам пристроила мать «отбившегося от рук» мальчишку в другую школу, но Гришка уже считал лишним учение и по выходе из дому прятал сумку с книгами в подвал, а сам шел на улицу, к излюбленному выступу у ювелирного магазина, где стояла уличная часовня. Здесь он садился около кружки с пожертвованиями и двумя пальцами начинал обрабатывать ее содержимое.

Помогала этой операции палочка. Заработок был верный. В день выходило по двугривенному и больше.

Потом пришла война, угнали на фронт брата. Гришку опять вышибли из школы за непосещение. Некоторое время отсиживался он дома, но мать упорно стояла на своем, и вот третья по счету классная доска начала маячить перед Гришкиными глазами.

С революцией Гришка и у себя сделал переворот. На глазах у матери он твердо отказался учиться и положил перед ней потрепанный и видавший виды ранец.

Напрасно ругалась мать, напрасно грозилась побить – он стоял на своем и упорно отказывался.

И вот мать махнула на него рукой, и Гришка вновь получил свободу.

Таскался по кинушкам, торговал папиросами, потом даже приобрел санки и сделался «советской лошадкой». Часами стоял он у вокзалов, ожидая приезда спекулянтов-мешочников, которым за хлеб или за деньги отвозил по адресу багаж. Но работа сорвалась: слабовата была «лошадка».

Однажды, в тусклый зимний вечер, накинув на плечи продранную братнину шинель и обрядив свои санки, Гришка направился к Варшавскому встречать дальний поезд. Улицы уже опустели. Тихо посвистывая, Гришка подъехал к вокзалу и стал на свое обычное место у выхода. «Лошадок» уже собралось немало. Гришка поздоровался со своими соседями и, поудобнее усевшись на санки, стал ждать.

То и дело со всех сторон прибывали новые саночники, ждавшие «хлебного» поезда.

На углу, у лестницы, кучка ребят-лошадок ожесточенно нападала на новичков, тоже приехавших с саночками в поисках заработка.

– Чего к чужому вокзалу приперли? Вали вон!

Новички робко топтались на месте и скулили:

– Не пхайся! Местов много. Вокзал некупленный, где хотим, там и стоим!

Поезд пришел. Началась давка. Саночники наперли, яростно вырывали из рук ошалевших пассажиров мешки.

– Прикажете отвезти, земляк?

– Вот санки заграничные!

– За полтора фунта на Петроградскую сторону!

Гришка, волоча за собой санки, тоже уцепился было за сундук

какой-то бабы и робко предложил:

– Куда прикажете, гражданка?

Но гражданка, не поняв Гришку, жалобно заголосила:

– Ах, паскуда! Караул! Сундук тянут!

Гришка, смущенный таким оборотом дела, выпустил сундук. Через мгновение он увидел, как тем же сундуком завладел какой-то верзила, с привычной сноровкой уговаривавший перепуганную старуху:

– Вы не волнуйтесь, гражданочка. Свезем в лучшем виде, прямо как на лихачах!

Становилось тише. Уже «лошадки» разъехались по всем направлениям, а Гришка все стоял и ждал. Остались только он да две старушонки с детскими саночками. На заработок не было уже никакой надежды, но домой ехать с пустыми руками не хотелось.

Вдруг из вокзала вышел мужик, огляделся и гаркнул:

– Эй, совецкие!

– Есть, батюшка, – прошамкали старушки.

– Пожалуйте, гражданин, – тихо проговорил Гришка.

Мужик оглядел трех саночников и с сомнением пробормотал:

– Да нешто вам свезти?

Потом выбрал Гришку и стал выносить мешки, туго набитые картошкой. Гришка испугался. Его сани покряхтывали от тяжести. Ужо некуда было класть, а мужик все носил. Гришка хотел было отказаться, но потом с отчаянием решил:

– Эх, была не была, вывезу!

И повез. Везти нужно было далеко, за заставу. Гришка весь вымок от пота, руки его немели, веревка резала грудь, а он все вез. Вечером он, разбитый, пришел домой и принес с собой целых три фунта черного, каленого, смешанного с овсом хлеба. Заработок был по тем временам крупный, но зато и последний. Гришка надорвался.

Дело обернулось совсем плохо. Дома не было даже хлеба, а Гришке нужны были деньги. Он курил и любил лакомиться лепешками с салом на толкучке. Потихоньку стал он воровать из дома вещи: то бабушкину золотую монету, то кофейник.

Потом как-то сразу все открылось. Терпение родительницы лопнуло, и мать, побегав неделю, отвезла Гришку за город в детскую трудовую колонию.

Колония помещалась в монастыре. Тут же в монастыре было и кладбище.

Голодно было, но весело. Полюбил Гришка товарищей, полюбил могилки и совсем было забыл дом, как вдруг разразилось новое несчастье.

К городу подступали белые.

Шли войска, тянулись обозы, артиллерия. Рассыпалась колония по огородам, и, пользуясь случаем, запасались воспитанники картошкой, капустой, редькой и прочей зеленью.

Тут Гришка, под наплывом чувств, вдруг вспомнил родных и начал снабжать их краденой снедью.

Тревожно было в городе. Ухали совсем близко орудия, и стекла дзинькали в окошках. Окутались улицы проволокой и мешками с

песком.

Настроение у всех приподнятое. У Гришки тоже. Он пришел в любимый монастырь, в последний раз посмотрел на резные окна и белые кресты на могилках и, стащив две пары валенок из кладовой, ушел, с тем чтобы больше не возвращаться.

Потом еще приют, еще кражи.

Распределительный пункт с трудом отделался от мальчика, дав направление о переводе в Шкиду. Но взяли его только тогда, когда вместе с ним в приданое послали две пары брюк, постельное белье, матрац и кровать.

К тому времени у Гришки выработались свои взгляды на жизнь. Он стал какой-то холодный ко всему, ничто не удивляло его, ничто не трогало. Рассуждал он, несмотря на свои четырнадцать лет, как взрослый, а правилом себе поставил: «Живи так, чтоб тебе было хорошо».

Таким пришел Гришка в Шкиду.

Пришел он утром. Его провели к заведующему в кабинет. Вид школы Гришке понравился, но при входе в кабинет зава он немного струхнул.

Вошел тихо и, притворив дверь, стал оглядывать помещение.

«Буржуем живет», – подумал он, увидев мягкие диваны и кресла, а на стенах фотографии в строгих черных рамках.

Викниксор сидел за столом. Увидев новичка, он указал ему рукой на кресло.

– Садись.

Гришка сел и притих.

– Мать есть?

– Есть.

– Чем занимается?

– Прачка она.

– Так, так. – Викниксор задумчиво барабанил пальцами по столу. – Ну а учиться ты любишь или нет?

Гришка хотел сказать «нет», потом раздумал и, решив, что это невыгодно, сказал:

– Очень люблю. Учиться и рисовать.

– И рисовать? – удивился заведующий. – Ну? Ты что же, учился где-нибудь рисовать?

Гришка напряг мозги, тщетно стараясь выпутаться из скверного положения, но залез еще глубже.

– Да, я учился в студии. И меня хвалили.

– О, это хорошо. Художники нам нужны, – поощрительно и уже мягче протянул Викниксор. – Будешь у нас рисовать и учиться.

Викниксор порылся в бумагах и, достав оттуда лист, проглядел его, внимательно вчитываясь:

– Ага. Твоя фамилия Черных. Ну ладно, идем, Черных. Я сведу тебя к товарищам.

Викниксор крупными шагами прошел вперед. Гришка шел сзади и критически осматривал зава. Сразу определил, что заведующему не по плечу клетчатый пиджак, и заметил отвисшее голенище сапога. Невольно удивился: «Ишь ты. Квартира буржуйская, а носить нечего».

Прошли столовую, и Викниксор дернул дверь в класс – Гришку сперва оглушил невероятный шум, а потом тишина, наступившая почти мгновенно. Он увидел ряды парт и десятка полтора застывших как по команде учеников.

Между тем Викниксор, позабыв про новичка, минуту осматривал класс, потом спокойно, не повышая голоса и даже как-то безразлично, процедил:

– Громоносцев, ты без обеда! Воронин, сдай сапоги, сегодня без прогулки! Воробьев, выйди вон из класса!

– За что, Виктор Николаевич?! Мы ничего не делали! Чего придираетесь-то! – хором заскулили наказанные, но Викниксор, почесав за ухом, не допускающим возражения тоном отрезал:

– Вы бузили в классе, – следовательно, пеняйте на себя! А теперь вот представляю вам еще новичка. Зовут его Григорий Черных. Это способный и даровитый парень, к тому же художник. Он будет заниматься в вашем отделении, так как по уровню знаний годится к вам.

Класс молчал и оглядывал новичка. С виду Гришка, несмотря на свои светлые волосы, напоминал еврея, и особенно бросался в глаза его нос, длинный и покатый, с загибом у кончика.

Минуту они стояли друг против друга – класс и Гришка с Викниксором. Потом завшколой, еще раз почесав за ухом и ничего не сказав, вышел из класса.

Цыган подошел поближе к насторожившемуся новичку, минуту молча осматривал его, потом вдруг отошел в сторону и, давясь от

смеха, указывая пальцем на Гришку, хихикнул:

– Янкель пришел! Смотрите-ка, сволочи. Еврей! Типичный блондинистый еврей!

Гришка обиделся и огрызнулся:

– А чего ты смеешься-то? Ну, предположим, еврей… А ты-то на кого похож? Типичный цыган черномазый!..

Такой выходки никто не ожидал, и класс одобрительно загоготал:

– Ай да Янкель! Сразу Цыгана угадал.

– Коля, слышишь? Цыган издалека виден.

Колька сам был немало огорошен ответом и уже собирался проучить новичка, как вдруг выступил Воробышек:

– Чего пристаете к парню? Зануды грешные! Осмотреться не дадут. – Потом он, уже обращаясь к Гришке, добавил: – Иди сюда, Янкель, садись со мной.

– Да я совсем но Янкель, – протестовал Гришка, но Воробей только махнул рукой.

– Это уж, брат, забудь и думать! Раз прозвали Янкелем, значит – ша! Теперь Янкель навеки!

Гришка минуту постоял под злобным взглядом Кольки, мысленно взвешивая – схватиться с ним или нет, потом решил, что невыгодно, и пошел за Воробьем.

– Ты Цыгана не бойся. Он сволочь порядочная, но мы ему намылим шею, зря беспокоишься. А тебя он теперь не тронет, – тихо проговорил Воробей, сидя рядом с Гришкой.

Гришка молчал и только изредка улавливал краем уха зловещий

шепот черномордого противника:

– Янкель пришел. Янкель воюет.

Но класс не поддержал Кольку. Янкель уже завоевал сочувствие ребят, к тому же не в обычае шкидцев было травить новичков.

Где-то за стеной зазвенел колокольчик.

– Уроки начинаются, – объяснил Воробей и добавил: – Теперь, Янкель, мы с тобой все время будем сидеть на этой парте. Хорошо?

– Хорошо, – удовлетворенно кивнул Янкель и впервые почувствовал, что наконец-то найден берег, найдена тихая пристань, от которой он теперь долго не отчалит.

За стеной звенел колокольчик.

Табак японский

Как показало время, Викниксор был прав, когда отрекомендовал нового воспитанника даровитым, способным парнишкой.

Так как способный Янкель уже около недели жил в Шкиде, то решили, что пора испробовать его даровитость на общественной работе.

Особенно большой общественной работы в то время в Шкиде не было, но среди немногих общественных должностей была одна особо почетная и важная – дежурство по кухне.

Дежурный, назначавшийся из воспитанников, прежде всего обязан был ходить за хлебом и другими продуктами в кладовую, где седенький старичок эконом распоряжался желудками своих питомцев.

Дежурный получал продукты на день и относил их на кухню к

могущественной кухарке, распределявшей с ловкостью фокусника скудные пайки крупы и селедок таким образом, что выходил не только обед из двух блюд, но еще и на ужин кое-что оставалось.

Янкеля назначили дежурным, но так как это поле деятельности ему было незнакомо, то к нему приставили помощником и наставником еще одного воспитанника – Косаря.

* * *

Когда зимние лучи солнца робко запрыгали по стенкам спальни, толстенький и меланхоличный Косарь хмуро поднялся с койки и, натягивая сапоги, прохрипел:

– Янкель, вставай. Ты дежурный.

Вставать не хотелось: кругом, свернувшись калачиком, распластавшись на спине или уткнувшись носом в подушку, храпели восемь молодых чурбашек, и так хотелось закутаться с головой в теплое одеяло и похрапеть еще полчаса вместе с ними.

За стеной брякал рояль. Это Верблюдыч, проснувшийся с первым солнечным лучом, разучивал свою гамму. Верблюдыч сидел за роялем, – это означало, что времени восемь часов.

Янкель лениво зевнул и обратился к Косарю:

– Курить нет?

– Нету.

Потом оба кое-как оделись и двинулись в кладовку.

Кладовая находилась на чердаке, а площадкой ниже, в однокомнатной квартирке, жил эконом. От лестницы эту квартиру

отделял довольно длинный коридор, дверь в который была постоянно замкнута на ключ, и нужно было долго стучаться, чтобы эконом услышал.

Янкель и Косарь остановились перед дверью в коридор. Косарь, лениво потягиваясь, стукнул кулаком по двери, вызывая эконома, и вдруг широко раскрыл заспанные глаза.

Дверь открылась от удара.

– Ишь ты, тетеря. Забыл закрыть, – покачал головой Косарь и, знаком позвав Янкеля, пошел в темноту.

Добрались ощупью до другой двери, открыли и вошли в прихожую, залитую солнечным светом.

В прихожей было так тепло и уютно, что заспанные общественники невольно медлили входить в комнату эконома, наслаждаясь минутами покоя и одиночества.

В этот момент и случилось то простое, но памятное дело, в котором Янкель впервые выказал свои незаурядные способности.

Косарь стоял и силился побороть необычайную сонливость, упорно направляя все мысли к одному: надо войти к эконому. В момент, когда, казалось, сила воли поборола в нем лень и когда он хотел уже нажать ручку двери, вдруг послышался голос Янкеля, странно изменившийся до шепота:

– Курить хочешь?

Хотел ли курить Косарь? Еще бы не хотел! Поэтому вся энергия, собранная на то, чтобы открыть дверь, вдруг сразу вырвалась в повороте к Янкелю и в энергичном возгласе:

– Хочу!

– Ну, так, пожалуйста, кури. Вон табак.

Косарь проследил за взглядом Янкеля и замер, упершись глазами в стол.

Там правильными рядами лежали аккуратненькие коричневые четвертушки табаку. По обложке наметанный глаз курильщика определил: высший сорт Б.

Пачек сорок – было мысленное заключение практических математиков.

Взглянули друг на друга и решили, не сговариваясь: 40 – 2 = 38. Авось не заметят недостачи.

Так же молча подошли к столу и, положив по пачке в карман, вышли на цыпочках из комнаты.

* * *

Сонную тишину спальни нарушил треск двери, и два возбужденных шпаргонца ворвались в комнату.

– Ребята, табак!

Восемь голов мгновенно вынырнули из-под одеял, восемь пар глаз заблестело масляным блеском, узрев в поднятых руках Косаря и Янкеля аппетитные пачки.

Первым оправился Цыган. Быстро вскочив с койки и исследовав вблизи милые четвертушки, он жадно спросил:

– Где?

Дежурные молча мотнули головами по направлению к комнате эконома. Цыган сорвался с места и скрылся за дверьми.

Спальня притихла в томительном ожидании.

– Ура, сволочи! Есть!

Громоносцев влетел победоносно, размахивая двумя пачками табаку.

Пример заразителен, и никакие силы уже не могли сдержать оставшихся.

Решительно всем захотелось иметь по четвертке табаку, и, уже забыв о предосторожностях, спальня сорвалась и, как на состязаниях, помчалась в заветную комнату…

Через пять минут Шкида ликовала.

Каждый ощупывал, мял и тискал злосчастные пакетики, так неожиданно свалившиеся к ним.

Черный, как жук, заика Гога, заядлый курильщик, страдавший больше всех от недостатка курева и собиравший на улице «чиновников», был доволен больше всех. Он сидел в углу и, крепко сжимая коричневую четвертку, безостановочно повторял:

– Таб-бачок есть. Таб-бачок есть.

Янкель, забравшись на кровать, глупо улыбался и пел:

Шинель английский,
Табак японский,
Ах, шарабан мой…

На радостях даже не заметили, что на подоконнике притулилась лишняя пачка, пока Цыган не обратил внимания.

– Сволочи! Чей табак на подоконнике? У всех есть?

– У всех.

– Значит, лишняя?..

– Лишняя.

– Ого, здорово, даже лишняя!

– Тогда лишнюю поделим. А по целой пачке заначим.

– Вали!

– Дели. Согласны.

Лишнюю четвертку растерзали на десять частей. Когда дележку закончили, Цыган грозно предупредил:

– Табак заначивайте скорее. Не брехать. Приходящим ни слова об этом. Поняли, сволочи? А если кого запорют, сам и отвиливай, других не выдавай.

– Ладно. Вались. Знаем…

В это утро воспитатель Батька, войдя в спальню, был чрезвычайно обрадован тем обстоятельством, что никого не надо было будить. Все гнездо было на ногах. Батька удовлетворенно улыбнулся и поощрительно сказал:

– Здорово, ребята! Как вы хорошо, дружно встали сегодня!

Цыган, ехидно подмигнув, загоготал:

– Ого, дядя Сережа, мы еще раньше можем вставать.

– Молодцы, ребята. Молодцы.

– Ого, дядя Сережа, еще не такими молодцами будем.

Между тем Янкель и Косарь снова пошли в кладовую.

Эконом еще ничего не подозревал. Как всегда ласково улыбаясь,

он не спеша развешивал продукты и между делом справлялся о новостях в школе, говорил о хорошей погоде, о наступивших морозах и даже дал обоим шкидцам по маленькому куску хлеба с маслом.

Янкель молчал, а Косарь хмуро поддакивал, но оба вздохнули свободно только тогда, когда вышли из кладовой.

Остановившись у дверей, многозначительно переглянулись. Потом Янкель сокрушенно покачал головой и процедил:

– Огребем.

– Огребем, – поддакнул Косарь.

* * *

День потянулся по заведенному порядку. Утренний чай сменился уроками, уроки – переменами, все было как всегда, только приходящие удивлялись: сегодня приютские не стреляли у них, по обыкновению, докурить «оставочки», а торжественно и небрежно закуривали свои душистые самокрутки.

В четвертую перемену, перед обедом, Янкель забеспокоился: пропажа могла скоро открыться, а у него до сих пор под подушкой лежал табак. Подстегивали его и остальные, уже успевшие спрятать свою добычу.

Не переводя духа взбежал он по лестнице наверх в спальню, вытащил табак и остановился в недоумении.

Куда же спрятать? Закинуть на печку? Нельзя – уборка будет, найдут. В печку – сгорит. В отдушину – провалится.

Янкель выскочил в коридор, пробежал до ванной и влетел туда.

Сунулся с радостью под ванну и выругался: кто-то предупредил его – рука нащупала чужую пачку.

В панике помчался он в пустой нижний зал, превращенный в сарай и сплошь заваленный партами. С отчаянной решимостью сунул табак под ломаную кафедру и только тогда успокоился.

Спускаясь вниз, Янкель услышал дребезжащую трель звонка, звавшего на обед. Вспомнил, что он дежурный, и сломя голову помчался на кухню.

Надо было нарезать десять осьмушек – порций хлеба для интернатских, – ведь это была обязанность дежурного.

Шкидский обед был своего рода религиозным обрядом, и каждый вновь приходящий питомец должен был твердо заучить обеденные правила.

Сперва в столовую входили воспитанники «живущие» и молча рассаживались за столом. За другой стол садились «приходящие».

Минуту сидели молча, заложив руки за спины, и ерзали голодными глазами по входным дверям, ведущим в кухню.

Затем появлялся завшколой с тетрадочкой в руках и начинался второй акт – перекличка.

Ежедневно утром и вечером, в обед и ужин выкликался весь состав воспитанников, и каждый должен был отвечать: «Здесь». Только тогда получал он право есть, когда перед его фамилией вырастала «птичка», означающая, что он действительно здесь, в столовой, и что паек не пропадет даром. Затем дежурный вносил на деревянном щите осьмушки и клал перед каждым на стол. После этого

появлялась широкоскулая, рябоватая Марта, разливавшая неизменный пшенный суп на селедочном отваре и неизменную пшенную кашу, потому что, кроме пшена да селедок, в кладовой никогда ничего не было. Постное масло, которым была заправлена каша, иногда заменял тюлений жир.

По сигналу Викниксора начиналось всеобщее сопение, пыхтение и чавканье, продолжавшееся, впрочем, очень недолго, так как порции супа и каши не соответствовали аппетиту шкидцев. В заключение, на сладкое, Викниксор произносил речь. Он говорил или о последних событиях за стенами школы, или о каких-нибудь своих новых планах и мероприятиях, или просто сообщал, на радость воспитанникам, что ему удалось выцарапать для школы несколько кубов дров.

Точка в точку то же повторилось и в день дежурства Янкеля, но только на этот раз речь Викниксора была посвящена вопросам этическим. С гневом и презрением громил завшколой ту часть несознательных учеников, которая предается отвратительному пороку обжорства, стараясь получить свою порцию поскорее и вне очереди.

Речь кончилась. Довольна ли была аудитория, осталось неизвестным, но завшколой был удовлетворен и уже собирался уйти к себе, чтобы принять и свою порцию селедочного бульона и пшенной каши, как вдруг всю эту хорошо проведенную программу нарушил эконом.

Он старческой, дрожащей походкой выпорхнул из двери, подковылял к заву и стал что-то тихо ему говорить. Шкидцы нюхом почуяли неладное, физиономии их вытянулись, и добрая пшенка,

пища солдат и детдомовцев времен гражданской войны и разрухи, обычно скользкая, неощутимая и гладкая, вдруг сразу застряла в десяти глотках и потеряла свой вкус.

В воздухе запахло порохом.

Эконом говорил долго, – пожалуй, дольше, чем хотелось шкидцам.

Десять пар глаз следили, как постепенно менялось лицо Викниксора: сперва брови удивленно прыгнули вверх и кончик носа опустился, потом тонкие губы сложились в негодующую гримасу, пенсне скорбно затрепетало на горбинке, а кончик носа покраснел. Викниксор встал и заговорил:

– Ребята, у нас случилось крупное безобразие!

Экстерны беззаботно впились в дышавшее гневом лицо зава, ожидая услышать добавочную речь в виде второго десерта, но у живущих сердца робко екнули и разом остановились.

– В нашей школе совершена кража. Какие-то канальи украли из передней нашего эконома одиннадцать пачек табаку, присланного для воспитателей. Ребята, я повторяю: это безобразие. Если через полчаса виновные не будут найдены, я приму меры. Так что помните, ребята!..

Это была самая короткая и самая содержательная речь из всех речей, произнесенных Викниксором со дня основания Шкиды, и она же оказалась первой, вызвавшей небывалую бурю.

За словами Викниксора последовало всеобщее негодование. Особенно возмущались экстерны, для которых все это было неожиданным, а интернатским ничего не оставалось делать, как

поддерживать и разделять это возмущение.

Буря из столовой перелилась в классы, но полчаса прошло, а воров не нашли. Таким образом, автоматически вошли в силу «меры» завшколой, которые очень скоро показали себя.

После уроков у интернатских отняли пальто. Это означало, что они лишены свободной прогулки.

Это был тяжелый удар.

Само по себе пришло тоскливое настроение, и хотя активное ядро – Цыган, Воробей, Янкель и Косарь старались поддерживать дух и призывать к борьбе до конца, большим успехом их речи уже не пользовались.

Напрасно Цыган, свирепо вращая черными глазами и скрипя зубами, говорил страшным голосом:

– Смотрите, сволочи, стоять до последнего. Не признаваться!..

Его плохо слушали.

Долгий зимний вечер тянулся томительно и скучно.

За окном, покрытым серыми ледяными узорами, бойко позванивали трамваи и слышались окрики извозчиков. А здесь, в полутемной спальне, томились без всякого дела десять питомцев. Янкель забился в угол и, поймав кошку, ожесточенно тянул ее за хвост. Та с отчаянной решимостью старалась вырваться, потом, после безуспешных попыток, жалобно замяукала.

– Брось, Янкель. Чего животную мучаешь, – лениво пробовал защитить «животную» Воробей, но Янкель продолжал свое.

– Янкель, не мучь кошку. Ей тоже небось больно, – поддержал

Воробья Косарь.

Кошкой заинтересовались и остальные. Сперва глядели безучастно, но, когда увидели, что бедной кошке невтерпеж, стали заступаться.

– И чего привязался, в самом деле!

– Ведь больно же кошке, отпусти!..

– Потаскал бы себя за хвост, тогда узнал бы.

В спальню вошел воспитатель.

– Ого, Батька пришел! Дядя Сережа, дядя Сережа, расскажите нам что-нибудь, – попробовал заигрывать Цыган, но осекся.

Батька строго посмотрел на него и отчеканил:

– Громоносцев, не забывайтесь. Я вам не батька и не Сережа и прошу ложиться спать без рассуждений.

Дверь шумно захлопнулась.

Долго ворочались беспокойные шкидцы на поскрипывающих койках, и каждый по-своему обдумывал случившееся, пока крепкий, властный сон по одолел их тревоги и под звуки разучиваемого Верблюдычем мотива не унес их далеко прочь из душной спальни.

* * *

Рано утром Янкель проснулся от беспокойной мысли: цел ли табак?

Он попытался отмахнуться от этой мысли, но тревожное предчувствие не оставляло его. Кое-как одевшись, он встал и прокрался в зал.

Вот и кафедра. Янкель, поднатужась, приподнял ее и, с трудом удерживая тяжелое сооружение, заглянул под низ, но табаку не увидел.

Тогда, потея от волнения, он разыскал толстую деревянную палку, подложил ее под край кафедры, а сам лег на живот и стал шарить. Табаку не было. Янкель зашел с другой стороны, опять поискал: по-прежнему рука его ездила по гладкой и пыльной поверхности паркета.

Он похолодел и, стараясь успокоить себя, сказал вслух:

– Наверное, под другой кафедрой.

Опять усилия, ползание и опять разочарование. Под третьей кафедрой табаку также не оказалось.

– Сперли табак, черти! – яростно выкрикнул Янкель, забыв осторожность. – Тискать у товарищей! Ну, хорошо!

Злобно погрозив кулаком в направлении спальни, он тихо вышел из зала и зашел в ванную.

Когда он снова показался в дверях, на лице его уже играла улыбка. В руке он держал плотно запечатанную четвертку табаку.

* * *

– Элла Андреевна! А как правильно: «ди фенстер» или «дас фенстер»?

– Дас. Дас.

Эланлюм любила свой немецкий язык до самозабвения и всячески старалась привить эту любовь своим питомцам, поэтому ей

было очень приятно слышать назойливое гудение класса, зазубривавшего новый рассказ о садовниках.

– Воронин, о чем задумался? Учи урок.

– Воробьев, перестань читать посторонние книги. Дай ее сюда немедленно.

– Элла Андреевна, я не читаю.

– Дай сюда немедленно книгу.

Книга Воробьева водворилась на столе, и Эланлюм вновь успокоилась.

Когда истек срок, достаточный для зазубривания, голос немки возвестил:

– Теперь приступим к пересказу. Громоносцев, читай первую строку.

Громоносцев легко отчеканил по-немецки первую фразу:

– У реки был берег, и на земле стоял дом.

– Черных, продолжай.

– У дома стояла яблоня, на яблоне росли яблоки.

Вдруг в середине урока в класс вошел Верблюдыч и скверным, дребезжащим голосом проговорил, обращаясь к Эланлюм:

– Ошень звиняйсь, Элла Андреевна. Виктор Николайч просил прислать к нему учеников Черний, Громоносцев унд Воробьев. Разрешите, Элла Андреевна, их уводить.

– Не Черный, а Черных! Научись говорить, Верблюд! – пробурчал оскорбленный Янкель, втайне гордившийся своей оригинальной фамилией, и захлопнул книгу.

По дороге ребята сосредоточенно молчали, а обычно ласковый и мягкий Верблюдыч угрюмо теребил прыщеватый нос и поправлял пенсне.

Невольно перед дверьми кабинета завшколой шкидцы замедлили шаги и переглянулись. В глазах у них застыл один и тот же вопрос: «Зачем зовет? Неужели?»

Викниксор сидел за столом и перебирал какие-то бумажки. Шпаргонцы остановились, выжидательно переминаясь с ноги на ногу, и нерешительно поглядывали на зава.

Наступила томительная тишина, которую робко прервал Янкель.

– Виктор Николаевич, мы пришли.

Заведующий повернулся, потом встал и нараспев проговорил:

– Очень хорошо, что пришли. Потрудитесь теперь принести табак!

Если бы завшколой забрался на стол и исполнил перед ними «танец живота», и то тройка не была бы так удивлена.

– Виктор Николаевич! Мы ничего не знаем. Вы нас обижаете! – раздался единодушный выкрик, но завшколой, не повышая голоса, повторил:

– Несите табак!

– Да мы не брали.

– Несите табак!

– Виктор Николаевич, ей-богу, не брали, – побожился Янкель, и так искренне, что даже сам удивился и испугался.

– Вы не брали? Да? – ехидно спросил зав. – Значит, не брали?

Ребята сробели, но еще держались.

– Не-ет. Не брали.

– Вот как? А почему же ваши товарищи сознались и назвали вас?

– Какие товарищи?

– Все ваши товарищи.

– Не знаем.

– Не знаете? А табак узнаете? – Викниксор указал на стол. У ребят рухнули последние надежды. На столе лежали надорванные, помятые, истерзанные семь пачек похищенного табаку.

– Ну, как же, не брали табак? А?

– Брали, Виктор Николаевич!

– Живо принесите сюда! – скомандовал заведующий.

За дверьми тройка остановилась.

Янкель, сплюнув, ехидно пробормотал:

– Ну вот и вляпались. Теперь табачок принесем, а потом примутся за нас. А на кой черт, спрашивается, брали мы этот табак!

– Но кто накатил, сволочи? – искренне возмутился Цыган.

– Кто накатил?

Этот злосчастный вопрос повис в воздухе, и, не решив его, тройка поползла за своими заначками.

Первым вернулся Янкель. Положил, посапывая носом, пачку на стол зава и отошел в сторону. Потом пришел Воробей.

Громоносцева не было.

Прошла минута, пять, десять минут – Колька не появлялся.

Викниксор уже терял терпение, как вдруг Цыган ворвался в комнату и в замешательстве остановился.

– Ну? – буркнул зав. – Где табак?

Цыган молчал.

– Где, я тебя спрашиваю, табак?

– Виктор Николаевич, у меня нет… табаку… У меня… тиснули, украли табак, – послышался тихий ответ Цыгана.

Янкеля передернуло. Так вот чей табак взял он по злобе, а теперь бедняге Кольке придется отдуваться.

Рассвирепевший Викниксор подскочил к Цыгану и, схватив его за шиворот, стал яростно трясти, тихо приговаривая:

– Врать, каналья? Врать, каналья? Неси табак! Неси табак!

Янкелю казалось, что трясут его, но сознаться не хватало силы. Вдруг он нашел выход.

– Виктор Николаевич! У Громоносцева нет табака, это правда.

Викниксор прекратил тряску и гневно уставился на защитника. Янкель замер, но решил довести дело до конца.

– Видите ли, Виктор Николаевич. Одну пачку мы скурили сообща. Одна была лишняя, а одну… а одну вы ведь нашли, верно, сами. Да? Так вот это и была Громоносцева пачка.

– Да, правильно. Мне воспитатель принес, – задумчиво пробормотал заведующий.

– Из ванной? – спросил Громоносцев.

– Нет, кажется, не из ванной.

Сердце Янкеля опять екнуло.

– Ну, хорошо, – не разжимая губ, проговорил Викниксор. – Сейчас можете идти. Вопрос о вашем омерзительном поступке обсудим позже.

* * *

Кончились уроки; с шумом и смехом, громко стуча выходной дверью, расходились по домам экстерны.

Янкель с тоской посмотрел, как захлопнулась за последним дверь и как дежурный, закрыв ее на цепочку, щелкнул ключом.

«Гулять пошли, задрыги. Домой», – тоскливо подумал он и нехотя поплелся в спальню.

При входе его огорошил невероятный шум. Спальня бесилась.

Лишь только он показался в дверях, к нему сразу подлетел Цыган:

– Гришка! Знаешь, кто выдал нас, а?

– Кто?

– Гога – сволочь!

Гога стоял в углу, прижатый к стене мятущейся толпой, и, напуганный, мягко отстранял кулаки от носа.

Янкель сорвался с места и подлетел к Гоге.

– Ах ты подлюга! Как же ты мог сделать это, а?

– Д-д-да я, ей-богу, не нарочно, б-б-ратцы. Не нарочно, – взмолился тот, вскидывая умоляющие коричневые глаза и силясь объясниться. – В-ви-ви-тя п-пп-озвал меня к се-бе и г-говорит: «Ты украл табак, мне сказали». А я д-думал, вы сказали, и с-сознался. А п-потом он спрашивает, к-как мы ук-крали. А я и ск-казал: «Сперва Ч-черных и Косоров п-пошли, а п-потом Громоносцев, а потом и все».

– А-а п-потом и в-все, зануда! – передразнил Гогу Янкель, но бить его было жалко – и потому, что он так глупо влип, и потому, что

вообще он возбуждал жалость к себе.

Плюнув, Янкель отошел в сторону и лег на койку.

Разбрелись и остальные. Только заика остался по-прежнему стоять в углу, как наказанный.

– Что-то будет? – вздохнул кто-то.

Янкель разозлился и, вскочив, яростно выкрикнул:

– Чего заныли, охмурялы! «Что-то будет! Что-то будет!» Что будет, то и будет, а скулить нечего! Нечего тогда было и табак тискать, чтоб потом хныкать!

– А кто тискал-то?

– Все тискали.

– Нет, ты!

Янкель остолбенел.

– Почему же я-то? Я тискал для себя, а ваше дело было сторона. Зачем лезли?

– Ты подначил!

Замолчали.

Больше всего тяготило предчувствие висящего над головой наказания. Нарастала злоба к кому-то, и казалось, дай малейший повод, и они накинутся и изобьют кого попало, только чтобы сорвать эту накопившуюся и не находящую выхода ненависть.

Если бы наказание было уже известно, было бы легче, – неизвестность давила сильнее, чем ожидание.

То и дело кто-нибудь нарушал тишину печальным вздохом и опять замирал и задумывался.

Янкель лежал, бессмысленно глядя в потолок. Думать ни о чем не хотелось, да и не шли в голову мысли. Его раздражали эти оханья и вздохи.

– Зачем мы пошли за этим сволочным Янкелем? – нарушил тишину Воробей, и голос его прозвучал так отчаянно, что Гришка больше не выдержал. Ему захотелось сказать что-нибудь едкое и злое, чтобы Воробей заплакал. Но он ограничился только насмешкой:

– Пойди, Воробышек, сядь к Вите на колени и попроси прощения.

– И пошел бы, если бы не ты.

– Дурак!

– Сам дурак. Сманил всех, а теперь лежит себе.

Янкель рассвирепел.

– Ах ты сволочь коротконогая! Я тебя сманивал?

– Всех сманил!

– Факт, сманил, – послышались голоса с кроватей.

– Сволочи вы, а не ребята, – кинул Янкель, не зная, что сказать.

– Ну, ты полегче. За сволочь морду набью.

– А ну набейте.

– И набьем. Еще кошек мучает!

– Сейчас вот развернусь – да как дам! – услышал Янкель над собой голос Воробья и вскочил с койки.

– Дай ему, Воробышек! Дай, не бойся. Мы поможем!

Положение принимало угрожающий оборот, и неизвестно, что сделала бы с Янкелем рассвирепевшая Шкида, если бы в этот момент в спальню не вошел заведующий. Ребята вскочили с кроватей и сели,

опустив головы и храня гробовое молчание.

Викниксор прошелся по комнате, поглядел в окно, потом дошел до середины и остановился, испытующе оглядывая воспитанников. Все молчали.

– Ребята, – необычайно громко прозвучал его голос. – Ребята, на педагогическом совете мы только что разобрали ваш поступок. Поступок скверный, низкий, мерзкий. Это – поступок, за который надо выгнать вас всех до одного, перевести в лавру, в реформаториум, В лавру, в реформаториум! – повторил Викниксор, и головы шкидцев опустились еще ниже. – Но мы не решили этот вопрос так просто и легко. Мы долго его обсуждали и разбирали, долго взвешивали вашу вину и после всего уже решили. Мы решили…

У шкидцев занялся дух. Наступила такая тяжелая тишина, что, казалось, упади на пол спичка, она произвела бы грохот. Томительная пауза тянулась невыносимо долго, пока голос заведующего не оборвал ее:

– И мы решили, мы решили… не наказывать вас совсем…

Минуту стояла жуткая тишь. Потом прорвалась.

– Виктор Николаевич! Спасибо!..

– Неужели, Виктор Николаевич?

– Спасибо. Больше никогда этого не будет.

– Не будет. Спасибо.

Ребята облепили заведующего, сразу ставшего таким хорошим, похожим на отца. А он стоял, улыбался, гладил рукой склоненные головы.

Кто-то всхлипнул под наплывом чувств, кто-то повторил этот всхлип, и вдруг все заплакали.

Янкель крепился и вдруг почувствовал, как слезы невольно побежали из глаз, и странно – вовсе не было стыдно за эти слезы, а, наоборот, стало легко, словно вместе с ними уносило всю тяжесть наказания.

Викниксор молчал.

Гришке вдруг захотелось показать свое лицо заведующему, показать, что оно в слезах и что слезы эти настоящие, как настоящее раскаяние.

В порыве он задрал голову и еще более умилился.

Викниксор – гроза шкидцев, Викниксор – строгий заведующий школой – тоже плакал, как и он, Янкель, шкидец…

Так просто и неожиданно окончилось просто и неожиданно начавшееся дело о табаке японском – первое серьезное дело в истории республики Шкид…

Маленький человек из-под Смольного

У дефективной республики Шкид появился шеф – портовые рабочие.

Торгпорт сперва помог деньгами, на которые прикупили учебников и кое-каких продуктов, потом портовики привезли дров, а когда наступило лето, предоставили детдому Канонерский остров и территорию порта для экскурсий и прогулок.

Прогулки туда для Шкиды были праздником. Собирались с утра и

проводили в порту весь день, и только поздно вечером довольные, но усталые возвращались под своды старого дома на Петергофском проспекте.

Обычно сборы на остров поглощали все внимание шкидцев. Они бегали, суетились, одни добывали из гардеробной пальто, другие запаковывали корзины с шамовкой, третьи суетились просто так, потому что на месте не сиделось.

Немудрено поэтому, что в одно из воскресений, когда происходили сборы для очередного похода в порт, ребята совершенно не заметили внезапно появившейся маленькой ребячьей фигурки в сером, довольно потертом пальтишко и шапочке, похожей на блин.

Он – этот маленький, незаметный человечек – изумленно поглядывал на суетившихся и шмыгал носом. Потом, чтобы не затолкали, прислонился к печке и так и замер в уголке, приглядываясь к окружающим.

Между тем ребята построились в пары и ожидали команды выходить на улицу.

Викниксор в последний раз обошел ряды и тут только заметил притулившуюся в углу фигурку.

– Ах, да. Эй, Еонин, иди сюда. Стань в задние ряды. Ребята, это новый воспитанник, – обратился он к выстроившейся Шкиде, указывая на новичка.

Ребята оглянулись на него, но в следующее же мгновение забыли про его существование.

Школа тронулась.

Вышли на улицу, по-воскресному веселую, оживленную. Со всех сторон, как воробьи, чирикали торговки семечками, блестели нагретые солнцем панели. До порта было довольно далеко, но бодро настроенные шкидцы шагали быстро, и скоро перед ними заскрипели и распахнулись высокие синие ворота Торгового порта.

Сразу повеяло прохладой и простором. Впереди сверкала вода Морского канала, какая-то особая, более бурливая и волнующаяся, чем вода Обводного или Фонтанки.

Несмотря на воскресный день, порт работал. Около приземистых, широких, как киты, пакгаузов суетились грузчики, сваливая мешки с зерном. От движения ветра тонкий слой пыли не переставая серебрился в воздухе.

Дальше, вплотную к берегу, стоял немецкий пароход, прибывший с паровозами.

Шкидцы попробовали прочесть название, но слово было длинное и разобрали его с трудом – «Гамбургер Обербюр-гермейстер».

– Ну и словечко. Язык свернешь, – удивился Мамочка, недавно пришедший в Шкиду ученик.

Мамочка – это было его прозвище, а прозвали его так за постоянную поговорку: «Ах мамочки мои».

«Ах мамочки» постепенно преобразовалось в Мамочку и так и осталось за ним.

Мамочка был одноглазый. Второй глаз ему вышибли в драке, поэтому он постоянно носил на лице черную повязку.

Несмотря на свой недостаток, Мамочка оказался очень

задиристым и бойким парнем, и скоро его полюбили.

Вот и теперь Мамочка не вытерпел, чтобы не показать язык немецкому матросу, стоявшему на палубе.

Тот, однако, не обиделся и, добродушно улыбнувшись, крикнул ему:

– Здрасте, комсомол!

– Ого! Холера! По-русски говорит, – удивились ребята, но останавливаться было некогда. Все торопились на остров, солнце уже накалило воздух, хотелось купаться.

Прошли быстро под скрипевшим и гудевшим от напряжения громадным краном и, уже издали оглянувшись, увидели, как гигантская стальная лапа медленно склонилась, ухватила за хребет новенький немецкий паровоз и бесшумно подняла его на воздух.

В лодках переехали через канал и углубились в зелень, – по обыкновению, шли в самый конец Канонерского, туда, где остров превращается в длинную узкую дамбу.

Жара давала себя знать. Лица ребят уже лоснились от пота, когда наконец Викниксор разрешил сделать привал.

– Ура-а-а! Купаться!

– Купа-а-аться!

Сразу каменистый скат покрылся голыми телами. Море, казалось, едва дышало, ветра не было, но вода у берега беспокойно волновалась.

Откуда-то накатывались валы и с шумом обрушивались на камни.

В воду влезать было трудно, так как волна быстро выбрасывала купающихся на камни. Но ребята уже приноровились.

– А ну, кто разжигает! Начинай! – выкрикнул Янкель, хлопая себя по голым ляжкам.

– Разжигай!

– Дай я. Я разожгу, – выскочил вперед Цыган. Стал у края, подождал, пока не подошел крутой вал, и нырнул прямо в водяной горб.

Через минуту он уже плыл, подкидываемый волнами.

Одно за другим исчезали в волнах тела, чтобы через минуту – две вынырнуть где-то далеко от берега, на отмели.

Янкель остался последний и уже хотел нырять, как вдруг заметил новичка.

– А ты что не купаешься?

– Не хочу. Да и не умею.

– Купаться не умеешь?

– Ну да.

– Вот так да, – искренне удивился Черных. Потом подумал и сказал: – Все равно, раздевайся и лезь, а то ребята засмеют. Да ты не бойся, здесь мелко.

Еонин нехотя разделся и полез в воду. Несмотря на свои четырнадцать лет, был он худенький, слабенький, и движения у него были какие-то неуклюжие и угловатые.

Два раза Еонина вышвыривало на берег, но Янкель, плававший вокруг, ободрял:

– Ничего. Это с непривычки. Уцепись за камни крепче, как волна найдет.

Потом ему стало скучно возиться с новичком, и он поплыл за остальными.

На отмели ребята отдыхали, валяясь на песке и издеваясь над Викниксором, который плавал, по шкидскому определению, «по-бабьи».

Время летело быстро. Как-то незаметно берег вновь усыпали тела.

Ребята накупались вдоволь и теперь просили есть.

Роздали хлеб и по куску масла.

Тут Янкель вновь вспомнил про новичка и, решив поговорить с ним, стал его искать, но Еонина нигде не было.

– Виктор Николаевич, а новичку дали хлеб? – спросил он быстро. Викниксор заглянул в тетрадку и ответил отрицательно.

Тогда Янкель, взяв порцию хлеба, пошел разыскивать Еонина.

Велико было его изумление, когда глазам его представилась следующая картина. За кустами на противоположной стороне дамбы сидел новичок, а с ним двое немецких моряков.

Самое удивительное, что все трое оживленно разговаривали по-немецки. Причем новичок жарил на чужом языке так же свободно, как и на русском.

«Ого!» – с невольным восхищением подумал Янкель и выскочил из-за куста.

Немцы удивленно оглядели нового пришельца, потом приветливо заулыбались, закивали головами и пригласили Янкеля сесть, поясняя приглашение жестами. Янкель, не желая ударить лицом

в грязь, призвал на помощь всю свою память и наконец, собрав несколько подходящих слов, слышанных им на уроках немецкого языка, галантно поклонился и произнес:

– Гутен таг, дейтчлянд камераден.

– Гутен таг, гутен таг, – снова заулыбались немцы, но Янкель уже больше ничего не мог сказать, поэтому, передав хлеб новичку, помчался обратно. Там он, состроив невинную улыбку, подошел к заведующему.

– Виктор Николаевич, а как по-немецки будет… Ну, скажем: «Товарищ, дай мне папироску»?

Викниксор добродушно улыбнулся:

– Не помню, знаешь. Спроси у Эллы Андреевны. Она в будке.

Янкель отошел.

Эланлюм сидела в маленькой полуразрушенной беседке на противоположном берегу острова. Она пришла позже детей и, выкупавшись в стороне, теперь отдыхала.

Янкель повторил вопрос, но Эланлюм удивленно вскинула глаза:

– Зачем это тебе?

– Так. Хочу в разговорном немецком языке попрактиковаться.

Эллушка минуту подумала, потом сказала:

– Камраден, битте, гебен зи мир айне цигаретте.

– Спасибо, Элла Андреевна! – выкрикнул Янкель и помчался к немцам, стараясь не растерять по дороге немецкие слова.

Там он еще раз поклонился и повторил фразу. Немцы засмеялись и вынули по сигарете. Янкель взял обе и ушел, вполне довольный

своими практическими занятиями.

На берегу он вытащил сигарету и закурил. Душистый табак щекотал горло. Почувствовав непривычный запах, ребята окружили его.

– Где взял?

– Сигареты курит!

Но Черных промолчал и только рассказал о новичке и о том, как здорово тот говорит по-немецки.

Однако ребята уже разыскали немцев. Поодиночке вся Шкида скоро собралась вокруг моряков.

Еонин выступал в роли переводчика.

Он переводил и вопросы ребят, и ответы немцев.

А вопросов у ребят было много, и самые разнообразные. Почему провалилась в Германии революция? Имеются ли в Германии детские дома? Есть ли там беспризорники? Изучают ли в немецких школах русский язык? Случалось ли морякам бывать в Африке? Видели ли они крокодилов? Почему они курят не папиросы, а сигареты? Почему немцы терпят у себя капиталистов?

Моряки пыхтели, отдувались, но отвечали на все вопросы.

Ребята так увлеклись беседой, что даже не заметили, как подошли заведующий с немкой.

– Ого! Да тут гости, – раздался голос Викниксора.

Эланлюм сразу затараторила по-немецки, улыбаясь широкой улыбкой. Ребята ничего не понимали, но сидели и с удовольствием рассматривали иностранцев, а старшие сочли долгом ближе

познакомиться с новичком, выказавшим такие необыкновенные познания в немецком языке.

– Где это ты научился так здорово говорить? – спросил его Цыган.

Еонин улыбнулся.

– А там, в Очаковском. Люблю немецкий язык, ну и учился. И сам занимался – по самоучителю.

– А что это за «Очаковский»?

– Интернат. Раньше, до революции, он так назывался. Он под Смольным находится. Я оттуда и переведен к вам.

– За бузу? – серьезно спросил Воробей.

Новичок помолчал. Усмехнулся. Потом загадочно ответил:

– За все… И за бузу тоже.

Постепенно разговорились. Новичок рассказал о себе, о том, что жил он в малолетство круглым сиротой, что где-то у него есть дядя, но где – он и сам не знает, что мать умерла после смерти отца, а отца убили в четырнадцатом году на фронте. За разговором время бежит быстро, только оклик Викниксора вернул ребят к действительности.

Солнце уже опускалось за водной гладью Финского залива, когда Викниксор отдал приказ сниматься с якоря. Обратно шли с моряками.

Когда переправились через канал и вышли на территорию порта, немцы поблагодарили ребят за дружескую беседу и, попросив минутку подождать, скрылись на корабле. Через минуту они вернулись с пакетом и, что-то сказав, передали его Эланлюм.

Немка засияла.

– Дети, немецкие матросы угощают вас печеньем и просят не

забывать их. У них у обоих есть дети вашего возраста.

Шкида радостно загоготала и, махая шапками на прощание, двинулась к воротам.

Только один Горбушка остался недоволен тем, что немцы, по его мнению, очень мало дали.

Он всю дорогу тихо бубнил, доказывая своему соседу по паре, Косарю, что немцы пожадничали.

– Тоже, дали! Чтоб им на том свете черти водички столько дали. Это же не подарок, а одна пакость!

– Почему же? – робко допытывался Косарь.

– Да потому, что если разделить это печенье, то по одной штуке достанется только, – мрачно изрек Горбушка, а потом, после некоторого раздумья, добавил: – Разве, может, еще одна лишняя будет, для меня.

– Ну ладно, не скули! – крикнули на Горбушку старшие.

А Цыган, не удовольствовавшись словами, еще прихлопнул ладонью Горбушку по затылку и тем заставил его наконец смириться.

Горбушка получил прозвище благодаря необычной форме своей головы. Черепная коробка его была сдавлена и шла острым хребтом вверх, действительно напоминая хлебную горбушку.

Несмотря на то, что Горбушка был новичок, он уже прославился как вечный брюзга и ворчун, поэтому на его скульбу обычно никто не обращал внимания, а если долгое ворчанье надоедало ребятам, то они поступали так, как поступил Цыган.

Теплое чувство к морякам сохранилось у шкидцев, и особенно у

Янкеля, у которого, кроме приятных воспоминаний, оставалась еще от этой встречи заграничная сигарета с узеньким золотым ободком.

После этой прогулки ребята прониклись уважением к новичку.

Случай с немцами выдвинул Еонина сразу, и то обстоятельство, что старшие шли с ним рядом, показало, что новичок попадает в «верхушку» Шкиды.

* * *

Так и случилось. Еонина перевели в четвертое, старшее отделение. Умный, развитой и в то же время большой бузила, он пришелся по вкусу старшеклассникам. Скоро у него появилась и кличка – Японец, – и получил он ее за свою «субтильную», по выражению Мамочки, фигуру, за легкую раскосость и вообще за порядочное сходство с сынами страны Восходящего Солнца.

Еще больше прославился Японец, когда оказался творцом шкидского гимна.

Произошло это так.

Однажды вечером воспитатели сгоняли воспитанников в спальни, и классы уже опустели. Только в четвертом отделении сидели за своими партами Янкель и Япончик.

Янкель рисовал, а Японец делал выписки из какой-то немецкой книги.

Вдруг в класс вошел Викниксор. По-видимому, он был в хорошем настроении, так как все время мурлыкал под нос какой-то боевой мотив.

Он походил по классу, осмотрел стены и согнувшиеся фигуры воспитанников и вдруг, остановившись перед партой, произнес:

– А знаете, ребята, нам следовало бы обзавестись своим школьным гимном.

Янкель и Японец удивленно вскинули на заведующего глаза и деликатно промолчали, а тот продолжал:

– Ведь наша школа – это своего рода республика. Свой герб у нас уже есть, должен быть и свой гимн. Как вы думаете?

– Ясно, – неопределенно промямлил Янкель, переглядываясь с Японцем.

– Ну, так в чем же дело? – оживился Викниксор. – Давайте сейчас сядем втроем и сочиним гимн! У меня даже идея есть. Мотив возьмем студенческой песни «Гау-деамус». Будет очень хорошо.

– Давайте, – без особой охоты согласились будущие творцы гимна.

Викниксор, весь захваченный новой идеей, сел и объяснил размер, два раза пропев «Гаудеамус».

Янкель достал лист, и приступили к сочинению.

Позабыв достоинство и недоступность зава, Викниксор вместе с ребятами старательно подбирал строчки и рифмы.

Уже два раза в дверь заглядывал дежурный воспитатель и, подивившись необычайной картине, не посмел тревожить воспитанников и вести их спать, так как оба они находились сейчас под покровительством Викниксора.

Наконец, часа через полтора, после усиленного обдумывания и

долгих творческих споров, гимн был готов.

Тройка творцов направилась в Белый зал, где Викниксор, сев за рояль, взял первые аккорды.

Оба шкидца, положив лист на пюпитр, приготовились петь.

Наконец грянул аккомпанемент и два голоса воспитанников, смешавшись с низким басом завшколой, единодушно исполнили новый гимн республики Шкид:

Мы из разных школ пришли,
Чтобы здесь учиться.
Братья, дружною семьей
Будем же трудиться.
Бросим прежнее житье,
Позабудем, что прошло.
Смело к но-о-о-вой жизни!
Смело к но-о-о-вой жи-и-з-ни!

Время для пения было не совсем подходящее. Наверху, в спальнях, уже засыпали ребята, а здесь, внизу, в полумраке огромного зала, три глотки немилосердно рвали голосовые связки, словно стараясь перекричать друг друга:

Школа Достоевского,
Будь нам мать родная,
Научи, как надо жить
Для родного края.

Ревел бас Викниксора, сливаясь с мощными аккордами беккеровского рояля, а два тоненьких и слабых голоска, фальшивя,

подхватывали:

Путь наш длинен и суров,

Много предстоит трудов,

Чтобы вы-и-й-ти в лю-у-ди,

Чтобы вы-и-й-ти в лю-у-ди.

Когда пение кончилось, Викниксор встал и, отдышавшись, сказал:

– Молодцы! Завтра же надо будет спеть наш гимн всей школой.

Янкель и Японец, гордые похвалой, с поднятыми головами прошли мимо воспитателя и отправились в спальню.

На другой день вся Шкида зубрила новый гимн республики Шкид, а имена новых шкидских Руже де Лилей – Янкеля и Японца – не сходили с уст возбужденных и восхищенных воспитанников.

Гимн сразу поднял новичка на недосягаемую высоту, и оба автора сделались героями дня.

Вечером в столовой вся школа под руководством Викниксора уже организованно пела свой гимн.

Халдеи

Халдей – это по-шкидски воспитатель.

Много их перевидала Шкида. Хороших и скверных, злых и мягких, умных и глупых, и, наконец, просто неопытных, приходивших в детдом для того, чтобы получить паек и трудовую книжку. Голод ставил на пост педагога и воспитателя людей, раньше не имевших и представления об этой работе, а работа среди дефективных подростков – дело тяжелое. Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно было,

кроме педагогического таланта, иметь еще железные нервы, выдержку и громадную силу воли.

Только истинно преданные своему делу работники могли в девятнадцатом году сохранить эти качества, и только такие люди работали в Шкиде, а остальные, пайкоеды или слабовольные, приходили, осматривались день–два и убегали прочь, чувствуя свое бессилие перед табуном задорных и дерзких воспитанников.

Много их перевидала Шкида.

* * *

Однажды в плохо окрашенную дверь Шкиды вошел человек в котелке. Он был маленький, щуплый. Птичье личико его заросло бурой бородкой. Во всей фигуре новопришедшего было что-то пришибленное, робкое. Он вздрагивал от малейшего шороха, и тогда маленькие водянистые глаза на птичьем личике испуганно расширялись, а веки, помимо воли, опускались и закрывали их, словно в ожидании удара. Одет человек был очень бедно. Грязно-темное драповое пальто, давно просившееся на покой, мешком сидело на худеньких плечах, бумажные неглаженные брюки свисали из-под пальто и прикрывали порыжевшие сапоги солдатского образца. Это был новый воспитатель, уже зачисленный в штат, и теперь он пришел посмотреть и познакомиться с детьми, среди которых должен был работать. Скитаясь по комнатам безмолвной тенью, маленький человек зашел в спальню.

В спальне топилась печка, и возле нее грелись Японец, Горбушка

и Янкель.

Маленький человек осмотрел ряды кроватей, и, хотя было ясно видно, что это спальня, он спросил:

– Это что, спальня?

Ребята изумленно переглянулись, потом Япошка скорчил подобострастную мину и приторно ответил:

– Да, это – спальня.

Человек тихо кашлянул.

– Так. Так. Гм… Это вы печку топите?

– Да, это мы печку топим. Дровами, – уже язвительно ответил Японец, но человек не обратил внимания.

– Гм… И вы здесь спите?

– Да, и мы здесь спим.

Человек минуту походил по комнате, потом подошел к стене и пощупал портрет Ленина.

– Это что же – сами рисовали? – снова спросил он.

В воздухе запахло комедией. Янкель подмигнул ребятам и ответил:

– Да, это тоже сами рисовали.

– А кто же рисовал?

– А я рисовал. – Янкель с серьезным видом подошел к воспитателю и молча уставился в него, ожидая вопросов.

Маленький человек оглядел комнату еще раз и остановил взгляд на кроватях.

– Это – ваши кровати?

– Да, наши кровати.

– Вы спите на них?

– Мы спим на них.

Потом Янкель с невинным видом добавил:

– Между прочим, они деревянные.

– Кто? – не понял воспитатель.

– Да кровати наши.

– Ах, они деревянные! Так, так, – бормотал человек, не зная, что сказать, а Янкель уже зарвался и с тем же невинным видом продолжал:

– Да, они деревянные. И на четырех ножках. И покрыты одеялами. И стоят на полу. И пол тоже деревянный.

– Да, пол деревянный, – машинально поддакнул халдей.

Японец хихикнул. Шутка показалась забавной, и он, подражая Викниксору, непомерно растягивая слова, с серьезной важностью проговорил, обращаясь к воспитателю:

– Обратите внимание. Это – печка.

Халдей уже нервничал, но шутка продолжалась.

– А печка – каменная. А это – дверцы. А сюда дрова суют.

Маленький человек начал понимать, что над ним смеются, и поспешил выйти из комнаты.

Скоро вся Шкида уже знала, что по зданию ходит человек, который обо всем спрашивает.

За человеком стала ходить толпа любопытных, а более резвые шли впереди него и под общий хохот предупредительно объясняли:

– А вот тут – дверь…

– А вот – класс…

– А это вот – парты. Они деревянные.

– А это – стенка. Не расшибитесь.

Через полчаса затравленный новичок укрылся в канцелярии, а толпа ребят гоготала у дверей, издеваясь над жертвой любознательности.

Запуганный приемом, маленький человек больше уже не приходил в Шкиду. Человек в котелке понял, что ему здесь не место, и удалился так же тихо, как и пришел.

Не так просто обстояло дело с другими.

Однажды Викниксор представил ребятам нового воспитателя.

Воспитатель произвел на всех прекрасное впечатление, и даже шкидцы, которых обмануть было трудно, почувствовали в новичке какую-то силу и обаяние.

Он был молод, хорошо сложен и обладал звучным голосом. Черные непокорные кудри мохнатой шапкой трепались на гордо поднятой голове, а глаза сверкали, как у льва.

В первый же день дежурства ему выпало на долю выдержать воспитательный искус. Нужно было вести Шкиду в баню.

Однако юноша не сробел, и уже со второй перемены голос его призывно гремел в классах:

– Воспитанницы! Получайте белье. Сегодня пойдете в баню.

Шкидцы тяжелы на подъем. Любителей ходить в баню среди них – мало. Сразу же десяток гнусавых голосов застонал:

– Не могу в баню. Голова болит.

– У меня поясница ноет.

– Руку ломит.

– Чего мучаете больных! Не пойдем!

Но номер не прошел. Голос новичка загремел так внушительно и властно, что даже проходивший мимо Викниксор умилился и подумал: «Из него выйдет хороший воспитатель».

Шкидцы покорились. Ворча, шли получать белье в гардеробную, потом построились парами в зале и затихли, ожидая воспитателя.

А тот в это время получал в кладовой месячный паек продуктов в виде аванса.

Ученики ждали вместе с Викниксором, который хотел лишний раз полюбоваться энергичным новичком. Наконец тот пришел. За спиной его болтался вещевой мешок с продуктами.

Он зычно скомандовал равняться, потом вдруг замялся, нерешительно подошел к Викниксору и вполголоса проговорил:

– Виктор Николаевич, видите ли, я не знал, что ученики пойдут в баню… и поэтому не захватил белья.

– Ну, так в чем же дело?

– Да я, видите ли, хочу попросить, чтобы мне на один день отпустили казенное белье. Разумеется, как только сменюсь, я его принесу.

Обычно такие вещи не допускались, но воспитатель был так симпатичен, так понравился Викниксору, что тот невольно уступил.

Белье тотчас же подобрали, и школа тронулась в баню. Все шло благополучно.

Пары стройно поползли по улице, и даже ретивые бузачи не решались на этот раз швыряться камнями и навозом в трамвайные вагоны и в прохожих.

В бане шумно разделись и пошли мыться.

Воспитатель первый забрался на полок и, казалось, совсем забыл про воспитанников, увлекшись мытьем.

Потом ребята одевались, ругались с банщиком, стреляли у посетителей папиросы и совсем не заметили отсутствия воспитателя. Потом спохватились, стали искать, обыскали всю баню и не нашли его. Подождав полчаса, решили идти одни.

Нестройная орда, вернувшаяся в школу, взбесила Викниксора. Он решил прежде всего сделать выговор новому педагогу. Но того не было. Не явился он и на другой день. Викниксор долго разводил руками и говорил сокрушенно:

– Такой приятный, солидный вид – и такое мелкое жульничество. Спер пару белья, получил продуктов на месяц, вымылся на казенный счет и скрылся!..

Однако урок послужил на пользу, и к новичкам педагогам стали с тех пор больше приглядываться.

Галерея безнадежных не кончается этими двумя. Их было больше.

Одни приходили на смену другим, и почти у всех была единственная цель: что-нибудь заработать. Каждый, чтобы удержаться, подлаживался то к учителям, то, наоборот, к воспитанникам.

Молодой педагог Пал Ваныч, тонконосый великан с лошадиной гривой, обладал в этом отношении большими способностями.

Он с первого же дня взял курс на ученика, и, когда ему представили класс старших, он одобрительно улыбнулся и бодро сказал:

– Ну, мы с вами споемся!

– Факт, споемся, – подтвердили ребята. Они не предполагали, что «спеваться» им придется самым буквальным образом.

«Спевка» началась на первом же уроке.

Воспитатель пришел в класс и начал спрашивать у приглядывающихся к нему ребят об их жизни. Разговор клеился туго. Старшие оказались осторожными, и тогда для сближения Пал Ваныч решил рискнуть.

– Не нравятся мне ваши педагоги. Больно уж они строги к воспитанникам. Нет товарищеского подхода.

Класс удивленно безмолвствовал, только один Горбушка процедил что-то вроде «угу».

Разговор не клеился. Все молчали. Вдруг воспитатель, походив по комнате, неожиданно сказал:

– А ведь я хороший певец.

– Ну? – удивился Громоносцев.

– Да. Неплохо пою арии. Я даже в любительских концертах выступал.

– Ишь ты! – восхищенно воскликнул Янкель.

– А вы нам спойте что-нибудь, – предложил Японец.

– Верно, спойте, – поддержали и остальные.

Пал Ваныч усмехнулся.

– Говорите, спеть? Гм… А урок?..

– Ладно, урок потом. Успеется, – успокоил Мамочка, не отличавшийся большой любовью к урокам.

– Ну ладно, будь по-вашему, – сдался воспитатель. – Только что же вам спеть? – нахмурился он, потирая лоб.

– Да ладно. Спойте что-нибудь из оперы, – раздались нетерпеливые голоса.

– Арию какую-нибудь!

– Арию! Арию!

– Ну, хорошо. Арию так арию. Я спою арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Ладно?

– Валите, пойте!

– Даешь! Чего там.

Пал Ваныч откашлялся и запел вполголоса:

Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит…

Пел он довольно хорошо. Мягкий голос звучал верно, и, когда были пропеты заключительные строки, класс шумно зааплодировал.

Только Мамочке ария не поправилась.

– Пал Ваныч! Дружище! Дерните что-нибудь еще, только повеселей.

– Верно, Пал Ваныч. Песенку какую-нибудь.

Тот попробовал протестовать, но потом сдался.

– Что уж с вами делать, мерзавцы этакие! Так и быть, спою вам

сейчас студенческие куплеты. Когда, бывало, я учился, мы всегда их певали.

Он опять откашлялся и вдруг, отбивая ногой такт, рассыпался в задорном мотиве:

Не женитесь на курсистках,
Они толсты, как сосиски,
Коль жениться вы хотите,
Раньше женку подыщите,
Эх-эх труля-ля…
Раньше женку подыщите…

Класс гоготал и взвизгивал.

Мамочка, тихо всхлипывая короткими смешками, твердил, восхищаясь:

– Вот это здорово! Сосиски.

Бурный такт песни закружил питомцев. Горбушка, сорвавшись с парты, вдруг засеменил посреди класса, отбивая русского.

А Пал Ваныч все пел:

Поищи жену в медичках,
Они тоненьки, как спички,
Но зато резвы, как птички.
Все женитесь на медичках.

Ребята развеселились и припев пели уже хором, прихлопывая в ладоши, гремя партами и подсвистывая. По классу металось безудержное:

Эх-эх, труля-ля…

Все женитесь на медичках…

Песню оборвал внезапный звонок за стеной. Урок был кончен.

Когда Пал Ваныч уходил из класса, его провожали гурьбой.

– Вот это да! Это свой парень! – восхищался Янкель, дотягиваясь до плеча воспитателя и дружески хлопая его по плечу кончиками пальцев.

– Почаще бы ваши уроки.

– Полюбили мы вас, Пал Ваныч, – изливал свои чувства Японец. – Друг вы нам теперь. Можно сказать, прямо брат кровный.

Пал Ваныч, ободренный успехом, снисходительно улыбнулся.

– Мы с вами теперь заживем, ребята. Я вас в театры водить буду.

Скоро Пал Ваныч стал своим парнем. Он добывал где-то билеты, водил воспитанников в театр, делился с ними школьными новостями, никого не наказывал, а главное – не проводил никаких занятий: устраивал «вольное чтение» или попросту объявлял, что сегодня свободный урок и желающие могут заняться чем угодно.

Пал Ваныч твердо решил завоевать расположение ребят и скоро его действительно завоевал, да так крепко, что, когда пришел момент и поведение воспитателя педагогический совет признал недопустимым, Шкида, как один человек, поднялась и взбунтовалась, горой встав за своего любимца.

А любимец ходил и разжигал страсти, распространяясь о том, что враги его во главе с Викниксором хотят выгнать его из школы.

Разгорелся страшный бунт. Целую неделю дефективные шкеты дико бузили, вовсю распоясавшись и объявив решительный бой

педагогам.

Создалось «Ядро защиты».

Штаб работал беспрерывно. Руководителями восстания оказались, по обыкновению, старшие: Цыган, Японец, Янкель и Воробей. Они по целым дням заседали, придумывая все новые и новые способы защиты любимого воспитателя.

По классам рассылались агитаторы, которые призывали шкидцев не подчиняться халдеям и срывать уроки.

– Не учитесь. Бойкотируйте педагогов, стремящихся прогнать нашего Пал Ваныча.

И уроки срывались.

Лишь только педагог входил в класс и приступал к уроку, в классе раздавалось тихое гудение, которое постепенно росло и переходило в рев.

Преимущество этого метода борьбы состояло в том, что нельзя было никого уличить.

Ребята сидели смирно, сжав губы, и через нос мычали.

Кто мычит, – обнаружить невозможно. Стоит педагогу подойти к одному, тот сразу замолкает и сидит, поджав губы, педагог отходит – мычание раздается снова.

Говорить невозможно.

Уроки срывались один за другим.

Учителя, выбившиеся из сил, убегали с половины урока.

Постепенно борьба за Пал Ваныча превратилась в настоящую войну. Штаб отдал приказ перейти к активным действиям. Ночью в

школе вымазали чернилами ручки дверей, усыпали сажей подоконники, воспитательские столы и стулья. Набили гвоздей в сиденья, а около канцелярии устроили газовую атаку – стащили большой кусок серы из химического шкафа и, положив его под вешалку, зажгли. Едкая серная вонь заставила халдеев отступить и из канцелярии.

На уроках ребята уже открыто отказывались заниматься.

Целую неделю школа бесновалась. Педагогический состав растерялся. Он еще ни разу не встречал такого организованного сопротивления.

Воспитатели ходили грязные, вымазанные в чернилах и мелу, в порванных брюках и не знали, что делать. Общая растерянность еще больше ободряла восставших шкидцев.

Штаб работал, придумывая все новые средства для поражения халдеев. Заседали целыми днями, разрабатывая стратегические планы борьбы.

– Мы их заставим оставить у себя Пал Ваныча! – бесновался Японец.

– Правильно!

– Не отдадим Пал Ваныча!

– Надо выпустить и расклеить плакаты! – предложил Янкель, любитель печатного слова.

Этот проект тотчас же приняли, и штаб поручил Янкелю немедленно выпустить плакаты. В боевом порядке он созвал всех художников и литераторов школы.

Плакаты начали изготовлять десятками, а проворные агитаторы расклеивали на стенах классов и в коридоре грозные лозунги:

ТРЕПЕЩИТЕ, ХАЛДЕИ!

МЫ НЕ ДОПУСТИМ ИЗГНАНИЯ ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА.

МЫ ПРОТЕСТУЕМ!!!

Воспитатели не успевали срывать подметные листки.

Восстание разжигалось опытными и привычными к бузе руками. Уже в некоторых классах открыто задвигали двери партами и скамьями, не давая входить на урок педагогам. Строились баррикады.

Среди воспитателей появилось брожение.

Откололась группа устрашившихся, которые начали поговаривать об оставлении Пал Ваныча. Но Викниксор встал на дыбы и, чтобы укротить восстание, решил поскорее убрать педагога. Его уволили в конце недели, но надежды, что вместе с его уходом утихнет буза, не оправдались.

Пал Ваныч сделал ловкий маневр. Когда ему объявили об увольнении, он пришел в четвертое отделение и грустно поведал об этом воспитанникам.

Поднялась невероятная буря. Ребята клялись, что отстоят его, и дали торжественное обещание закатить такую бузу, какой Шкида еще ни разу не видела.

Этот день шкидцы и педагоги запомнили надолго. Старшеклассники призвали все отделения к борьбе и дали решительный бой.

Штаб обсудил план действий, и сразу после ухода Пал Ваныча на стенах школы запестрели плакаты:

ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ

МЫ ТРЕБУЕМ

ОСТАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ

П. И. АРИКОВА!!!

В ответ на это за обедом Викниксор в пространной речи пробовал доказать, что Ариков никуда не годен, что он только развращает учеников, и кончил тем, что подтвердил свое решение.

– Он сюда больше не придет, ребята. Я так сказал, так и будет!

Гробовое молчание было ответом на речь зава, а после обеда начался ад, которого не видела Шкида со дня основания школы.

Во всех залах, классах и комнатах закрыли двери и устраивали из скамеек, щеток и стульев западни. Стоило только открыть дверь, как на голову входившего падало что-нибудь внушительное и оставляло заметный след в виде синяка или шишки.

Такие забавы не очень нравились педагогам, но сдаваться они не хотели; нужно было проводить уроки. Халдеи ринулись в бой, и после долгой осады баррикады были взяты штурмом. У троих педагогов на лбу и на подбородках синели фонари. Однако педагоги самоотверженно продолжали бороться.

В тот же день штаб отдал приказание начать «горячую» войну, и не одна пара воспитательских брюк прогорела от подложенных на стулья углей. Но надо отдать справедливость – держались педагоги

стойко. Об уроках уже не могло быть и речи, нужно было хотя бы держать в своих руках власть, и только за это и шла теперь борьба, жестокая и упорная. Наступил вечер. За ужином Викниксор, видя угрожающее положение, предпринял рискованную контратаку и объявил школу на осадном положении. Запретил прогулки и отпуска до тех пор, пока не прекратится буза. Но, увы, это только подлило масла в огонь. Приближались сумерки, и штаб решил испробовать последнее средство. Средство было отчаянное. Штаб выкинул лозунг: «Бей халдеев».

Как стадо диких животных, взметнулась вся школа. Сразу везде погасло электричество и началась дикая расправа. В темноте по залу метались ревущие толпы. Застигнутые врасплох, халдеи оказались окруженными.

Их сразу же смяли. Подставляли ножки. Швыряли в голову книгами и чернильницами, били кулаками и дергали во все стороны.

Напрасны были старания зажечь свет. Кто-то вывинтил пробки, и орда осатанелых шпаргоцев носилась по школе, сокрушая все и всех. Стонала в темноте на кухне кухарка. Гремели котлы. Это наиболее предприимчивые и практичные ребята решили воспользоваться суматохой и грабили остатки обеда и ужина.

Наконец воспитатели не выдержали и отступили в канцелярию. И тут, оценив всю опасность положения и поняв, кто является зачинщиком, Викниксор пошел немедля в класс старших и устроил экстренное собрание.

Для того чтобы победить, нужно было переменить тактику, и он

ее переменил.

Когда все ребята сели и немного успокоились, Викниксор ласково заговорил:

– Ребята, скажите откровенно, почему вы бузите?

– А зачем Пал Ваныча выгнали? – послышался ответ.

– Ребята! Но вы поймите, что Павел Иванович не может быть воспитателем.

– Почему это не может?

– Да потому хотя бы, что он молод. Ну скажите сами, разве вы не хотите учиться?

– Так ведь он нас тоже учит! – загудели нестройные голоса, но Викниксор поднял руку, дождался наступления тишины и спросил:

– Чему же он вас учит? Ну что вы с ним прошли за месяц?

Ребята смутились.

– Да мы разное проходили… Всего не упомнишь!

А Мамочка при общем смехе добавил:

– Он здорово песни пел. Про сосиски!

Настроение заметно изменилось, и Викниксор воспользовался этим.

– Ребята, – сказал он печально, – как вам не стыдно… Вы, старшеклассники, все-таки умные, развитые мальчики, и вдруг полюбили человека за какие-то «сосиски»…

Класс нерешительно захихикал.

– Ведь Павел Иванович не педагог, – он цирковой рыжий, который только тем и интересен, что он рыжий!

– Верно! – раздался возглас. – Рыжий! Как в Чипизелли.

– Ну так вот, – продолжал Викниксор. – Рыжего-то вам и в цирке покажут, а литературы вы знать не будете.

Класс молчал. Сидели подперев головы руками, смотрели на разгуливающего по комнате Викниксора и молчали.

– Так что, – громко сказал Викниксор, – выбирайте: или Пал Ваныч, или литература. Если вы не кончите бузить, – Пал Ваныч, может быть, будет оставлен, но литературу мы принуждены будем вычеркнуть из программы школы.

Он задел больное место. Шкидцы все-таки хотели учиться.

– Ребята! – крикнул Японец. – Ша! Как по-вашему?

– Ша! – повторил весь класс. И все зашумели. Сразу стало легко и весело, как будто за окном утихла буря.

Буза прекратилась. Павла Ивановича изгнали из школы, и штаб повстанцев распустил сам себя.

А вечером после чая Японец сказал товарищам:

– Бузили мы здорово, но, по правде сказать, не из-за Пал Ваныча, как вы думаете?

– Это правда, – сказал Цыган. – Бузили мы просто так – ради самой бузы… А Пал Ваныч – порядочная сволочь…

– Факт, – поддакнул Янкель. – Бить таких надо, как Пал Ваныч…

– Бей его! – с возбуждением закричал Воробей, но он опоздал. Пал Ваныча уже не было в школе. Он ушел, оставив о себе сумбурное воспоминание.

* * *

Другую тактику повел некий Спичка, прозванный так за свою необыкновенную худобу. Это был несчастный человек. Боевой офицер, участник двух войн, он был контужен на фронте, навеки сделавшись полуглухим, озлобленным и угрюмым человеком.

В школу он пришел как преподаватель гимнастики и сразу принял сторону начальства, до каждой мелочи выполняя предписание Викниксора и педсовета.

Он нещадно наказывал, записывал в журнал длиннейшие замечания, оставлял без отпусков.

Хороший педагог – обычно хороший дипломат. Он рассчитывает и обдумывает, когда можно записать или наказать, а когда и не следует.

Спичка же мало задумывался и раздавал наказания направо и налево, стараясь только не очень отходить от правил.

Он расхаживал на своих длинных, худых ногах по Шкиде, хмуро оглядываясь но сторонам, и беззлобно скрипел:

– Встань к печке.

– В изолятор.

– Без обеда.

– Без прогулки.

– Без отпуска.

Его возненавидели. Началась война, которая закончилась победой шкидцев.

Школьный совет признал работу Спички непедагогичной, и Спичка ушел.

Тем же кончил и Пессимист – полуголодный студент, не имевший ни педагогической практики, ни педагогического таланта и не сумевший работать среди шкидцев.

Много их перевидела Шкида.

Около шестидесяти халдеев переменила школа только за два года.

Они приходили и уходили.

Медленно, как золото в песке, отсеивались и оставались настоящие, талантливые, преданные делу работники. Из шестидесяти человек лишь десяток сумел, не приспосабливаясь, не подделываясь под «своего парня», найти путь к сердцам испорченных шкетов. И этот десяток на своих плечах вынес на берег тяжелую шкидскую ладью, оснастил ее и отправил в далекое плавание – в широкое житейское море.

* * *

Ольга Афанасьевна – мягкая, тихая и добрая, пожалуй даже слишком добрая. Когда она представилась заведующему как преподавательница анатомии, он недоверчиво и недружелюбно посмотрел на нее и подумал, что вряд ли она справится с его буйными питомцами. Однако время показало другое. То, что другим педагогам удавалось сделать путем угроз и наказаний, у нее выходило легко, без малейшего нажима и напряжения.

Хрупкая и болезненная на вид, она, однако, обладала большим запасом хладнокровия: никогда не кричала, никому не угрожала, и все же через месяц все классы полюбили ее, и везде занятия по ее предмету пошли хорошо.

Даже самые ленивые делали успехи.

Мамочка, Янкель и Воробей – присяжные лентяи – вдруг внезапно обрели интерес к человеческому скелету и тщательно вырисовывали берцовые и теменные кости в своих тетрадях.

Ольга Афанасьевна сумела привить ученикам любовь к занятиям и сделала бы много, если бы не тяжелая болезнь, заставившая ее бросить на некоторое время Шкиду.

* * *

Гражданская война кончилась. Вступила в свои права мирная жизнь. В городе один за другим открывались новые клубы и домпросветы.

Задумались над этим и в детском доме. Свободного времени у ребят было достаточно, надо было использовать его с толком.

И вот пришла Мирра Борисовна, полная, жизнерадостная еврейка. Она пришла пасмурным осенним вечером, когда в классе царила скука, и сразу расшевелила ребят.

– Ну, ребята, я к вам. Будем вместе теперь работать.

– Добро пожаловать, – угрюмо приветствовал ее появление Мамочка. – Только насчет работы бросьте. Не загибайте. Все равно номер не пройдет.

– Почему же это? – искренне удивилась воспитательница. – Разве плохо разработать пьеску, поставить хороший спектакль? И вам будет весело, и других повеселите.

– Ого! Спектакль? Это лафа!

– Засохни, Мамочка! Дело будет! – раздались возгласы.

Работа закипела.

Подходили праздники, и поэтому Мирра Борисовна с места в карьер взялась за дело. Даже свое свободное время она проводила в Шкиде.

Сразу же подобрали пьесы. Взяли «Скупого рыцаря» и отрывки из «Бориса Годунова». Вечером, собравшись в классе, устраивали репетиции.

Япошка, разучивший два монолога царя Бориса, выходил на середину класса и открывал трагедию. Но как только монолог подходил к восклицанию:

И мальчики кровавые в глазах…

Япошка терялся. Темперамент исчезал, и он, как-то заплетаясь, заканчивал:

И мальчики кроватые в глазах…

Тогда следовал мягкий, но решительный возглас Мирры Борисовны:

– Еончик… Опять не так!..

Еончик чуть не плакал и начинал с начала. В конце концов он добился своего. В репетициях и в подвижных играх, устраиваемых неутомимой Миррой, как звали ее воспитанники, коротались долгие

шкидские вечера.

Все больше и больше сближались ребята с воспитательницей и скоро так ее полюбили, что в дни, когда она не была дежурной, шкидцы по-настоящему тосковали. Стоило только показаться ее овчинному полушубку и мягкой оренбургской шали, как Шкида мгновенно оглашалась криками:

– Мирра пришла!

День спектакля был триумфом Мирры Борисовны.

Играли ребята с подъемом.

Вечер оказался лучшим вечером в школе, а после программы шкидцы устроили сюрприз.

На сцену вышел Янкель, избранный единогласно конферансье, сообщил о дополнительной программе, которую ученики приготовили от себя в честь своей воспитательницы, и прочел приветственное стихотворение:

Окончивши наш грандиозный спектакль,
Дадим ему новый на смену.
В нем чествуем Мирру Борисовну Штак,
Создавшую шкидскую сцену.

С этого дня дружба еще более окрепла, но однажды в середине зимы Мирра пришла и, смущаясь, сообщила, что она выходит замуж и уезжает из Питера. Жалко было расставаться, однако пришлось смириться, и веселая учительница в солдатском полушубке навсегда исчезла из Шкидской республики, оставив на память о себе знакомую билетершу в «Сплендид Паласе», еженедельно пропускавшую в кино

двух питомцев Мирры – Янкеля и Японца.

Таковы были эти две воспитательницы, сумевшие среди дефективных детей заронить любовь к занятиям и привязанность к себе. Их любила вся школа.

Зато Амебку Шкида невзлюбила, хотя, может быть, он был и неплохим преподавателем.

Амебка – мужчина средних лет, некрасиво сложенный, с узким обезьяньим лбом – был преподавателем естествознания. Свой предмет он любил горячо и всячески старался привить эту любовь и ученикам, однако это удавалось ему с трудом. Ребята ненавидели естествознание, ненавидели и Амебку.

Амебка был слишком мрачный, склонный к педантизму человек, а Шкида таких не любила.

Идет урок в классе.

Амебка рассказывает с увлечением о микроорганизмах. Вдруг он замечает, что последняя парта, где сидит Еонин, не слушает его. Он принимает меры:

– Еонин, пересядь на первую парту.

– Зачем же это? – изумляется Японка.

– Еонин, пересядь на первую парту.

– Да мне и здесь хорошо.

– Пересядь на первую парту.

– Да чего вы привязались? – вспыхивает Японец, но в ответ слышит прежнее монотонное приказание:

– Пересядь на первую парту.

– Не сяду. Халдей несчастный! – озлобленно кричит Еонин. Амебка некоторое время думает, потом начинает все с начала:

– Еонин, выйди вон из класса.

– За что же это?

– Выйди вон из класса.

– Да за что же?

– Выйди вон из класса.

Еонин озлобляется и уже яростно топает ногами. Кнопка носа его краснеет, глаза наливаются кровью.

– Еонин, выйди вон из класса, – невозмутимо повторяет Амебка, и тогда Японец разражается взрывом ругательств:

– Амебка! Халдей треклятый! Чего привязался, тупица деревянная!

Амебка спокойно выслушивает до конца и говорит:

– Еонин, ты сегодня будешь мыть уборные.

На этом обе стороны примиряются.

Вот за такое жуткое спокойствие и не любили Амебку шкидцы. Однако человек он был честный, его побаивались и уважали.

Но самыми яркими фигурами, лучшими воспитателями, на которых держалась школа, являлись два халдея: Сашкец и Костец, дядя Саша и дядя Костя, Алникпоп и Косталмед, а попросту Александр Николаевич Попов и Константин Александрович Меденников.

Оба пришли почти одновременно и сразу же сработались. Сашкец – невысокий, бодрый, пожилой воспитатель. Высокий лоб и маленькая проплешина. На носу пенсне с расколотым стеклом. Небольшая черная бородка, фигура юркая, живая. Громадный, неиссякаемый запас

энергии, силы, знаний и опыта.

Сашкеца в первые дни невзлюбили.

Лишь только появилась его коренастая фигурка в потертой кожаной куртке, шкидцы начали его травить.

Во время перемен за ним носилась стая башибузуков и на все лады распевала всевозможные куплеты, сочиненные старшеклассниками:

Есть у нас один грибок:
Он не низок, не высок.
Он не блошка и не клоп,
Он горбатый Алникпоп…

– Эй, Сашкец, Алникпоп! – надрывались ребята, дергая его за полы куртки, но Сашкец словно бы и не слыхал ничего.

Перед самым носом у него останавливались толпы ребят и, глядя нахально на его порванные и небрежно залатанные сапоги, пели экспромт, тут же сочиненный:

Сапоги у дяди Саши
Просят нынче манной каши…

Бывали минуты, когда хладнокровие покидало нового воспитателя, тогда он резко оборачивался к изводившему его, но тут же брал себя в руки, усмехался и грозил пальцем:

– Ты смотри у меня, гусь лапчатый…

Гусь лапчатый – тоже сделалось одной из многих его кличек.

Однако скоро травля прекратилась. Новичок оказался сильнее воспитанников, выдержал испытание. Выдержка его ребятам

понравилась. Сашкеца признали настоящим воспитателем.

Он был по-воспитательски суров, но знал меру. Ни одна шалость не проходила для ребят без последствий, однако не всегда виновные терпели наказание. Сашкец внимательно разбирал каждый проступок и только после этого или наказывал провинившегося, или отпускал его, прочитав хорошую отповедь.

Не делал он никаких поблажек, был беспощаден и строг только к тем, кто плохо занимался по его предмету – русской истории. Тут он мягкости не проявлял, и лентяи дорого платились за свою рассеянность и нежелание заниматься.

Время шло. Все больше и больше сживались ребята с Алникпопом, и скоро выяснилось, что он не только отличный воспитатель, но и добрый товарищ.

Старшие ребята по вечерам стали усиленно зазывать к себе Алникпопа, потому что с ним можно было очень хорошо и обо многом поговорить. Часто после вечернего чая приходил к ним Алникпоп, усаживался на парту и, горбясь, поблескивая расколотым пенсне, рассказывал – то анекдот, то что-нибудь о последних международных событиях, то вспомнит какой-нибудь эпизод из своей школьной или студенческой жизни, поспорит с ребятами о Маяковском, о Блоке, расскажет о том, как они издавали в гимназии подпольный журнал, или о том, как он работал рецензентом в дешевых пропперовских изданиях. Разговор затягивается и кончается только тогда, когда зазвенит звонок, призывающий спать.

Так постепенно из Сашкеца новый воспитатель превратился в

дядю Сашу, в старшего товарища шкидцев, оставаясь при этом строгим, взыскательным и справедливым халдеем.

Костец пришел месяцем позже.

Пришел он из лавры, где работал несколько месяцев надзирателем, и уже одно это сразу обрезало все поползновения ребят высмеять новичка.

Вид его внушал невольное уважение самому отъявленному бузачу. Львиная грива, коричневато-рыжая борода, свирепый взгляд и мощная фигура в соединении с могучим, грозным, рыкающим голосом сперва настолько всполошили Шкиду, что ученики в панике решили: это какой-то живодер из скотобойни – и окрестили его сразу Ломовиком, однако кличку уже через несколько дней пришлось отменить

Ломовик, в сущности, оказался довольно мягким добродушным человеком, рыкающим и выкатывающим глаза только для того, чтобы напугать.

Скоро к его львиному рычанию привыкли, а когда он брал кого-либо за шиворот, то знали, что это только так, для острастки, да и сам зажатый в мощной руке жмурился и улыбался, словно его щекотали.

Однако грозный вид делал свое.

Гимнастика, бывшая в ведении Косталмеда, проходила отлично. Ребята с удовольствием проделывали упражнения, и только четвертое отделение вечно воевало с дядей Костей, как только можно отлынивая от уроков.

Скоро Костец и Сашкец почувствовали взаимную симпатию и сдружились, считая, вероятно, что их взгляды на воспитание сходятся.

Великан Косталмед и маленький, сутулый Алникпоп принадлежали к числу тех немногих халдеев, которые сумели удержаться в школе и оставили добрый след в истории Шкидской республики, вложив немало сил в великое дело борьбы с детской преступностью.

Власть народу

Кончились вечерние уроки.

Дежурный в последний раз прошел по коридорам, отзвенел последний звонок, и Шкида захлопала партами, затопала, запела, заплясала и растеклась по этажам старого здания.

Младшие отделения высыпали в зал играть в чехарду, другие ринулись на лестницу – кататься на перилах, а кое-кто направился на кухню в надежде поживиться остатками обеда.

Старшие занялись более культурным развлечением. Воробей, например, достал где-то длинную бечевку и, сделав петлю, вышел в столовую. Там он уселся около дыры в полу, разложил петлю и бросил кусок холодной каши. Потом спрятался за скамейку и стал ждать.

Это он ловил крыс. Ловля крыс была последнее время его любимым развлечением. Воробей сам изобрел этот способ, которым очень гордился.

Япошка сидел в классе, пошмыгивал носом и с необычайным упорством переводил стихотворения Шамиссо с немецкого на русский. Перевод давался с трудом, но Японец, заткнув пальцами уши, не уставая подбирал и бубнил вслух неподатливую строку стиха:

Я в своих мечтах, чудесных, легких…

Я в мечтах своих, чудесных, легких…

Я в чудесных, радостных мечтаньях…

Я в мечтаньях, радостных, чудесных…

И так без конца. До тех пор, пока строчка наконец не принимала должного вида и не становилась на место.

Громоносцев долго, позевывая, смотрел в потолок, потом вышел из класса и, поймав какого-то шкета из младшего отделения, привел его в класс. Привязав к ноге малыша веревку, он лениво жмурился, улыбался и приказывал:

– А ну, мопсик, попляши.

Мопсик сперва попробовал сыграть на Колькином милосердии и взвыл:

– Ой, Коленька! У меня нога болит!

Но Громоносцев только посмеивался.

– Ничего, мопсик, попляши.

В углу за классной доской упражнялся в пении недавно пришедший новичок Бобер. Он распевал куплеты, слышанные где-то в кино, и аккомпанировал себе, изо всей силы барабаня кулаками по доске:

Ай! Ай! Петроград –

Распрекрасный град.

Петро-Петро-Петроград –

Чудный град!..

Доска скрипела, ухала и трещала под мощными ударами.

За партой сидел Янкель, рисовал лошадь. Потом рисовать надоело, и, бессмысленно уставившись взором в стенку, он тупо забормотал:

– Дер катер гейт нах хаузе. Дер катер гейт нах хаузе.

Янкель ненавидел немецкий язык, и фраза эта была единственной, которую он хорошо знал, прекрасно произносил и которой оперировал на всех уроках Эланлюм.

В стороне восседали группой одноглазый Мамочка, Горбушка, Косарь и Гога.

Они играли в веревочку.

Перебирая с пальца на палец обрывок веревки, делали замысловатые фигуры и тут же с трудом их распутывали.

Вдруг все, кто находился в классе, насторожились и прислушались. Сверху слышался шум. Над головами топали десятки ног, и стены класса тревожно покряхтывали под осыпающейся штукатуркой.

– Крысу поймали! – радостно выкрикнул Мамочка.

– Крысу поймали! – подхватили остальные и помчались наверх.

В зале царило смятение.

Посреди зала вертелся Воробей и с трудом удерживал длинную веревку, на конце которой судорожно извивалась большая серая крыса.

По стенкам толпились шкидцы.

– Ну, я сейчас ее выпущу, а вы ловите, – скомандовал Воробей.

Он быстро наклонился и надрезал веревку почти у самой шеи крысы.

Раздался визг торжества.

Крыса, оглушенная страшным шумом, заметалась по залу, не зная, куда скрыться, а за ней с хохотом и визгом носилась толпа шкидцев, стараясь затоптать ее ногами.

– О-о-о!!! Лови!

– А-га-а… Бей!

– Души!

– И-и-их!

Зал содрогался под дробным топотом ног и от могучего рева. Тихо позвякивали стекла в высоких школьных окнах.

– О-го-го!!! Лови! Лови!

– Забегай слева-а!

– Ногой! Ногой!

– Над-дай!

Двери зала были плотно закрыты. Щели заткнуты. Все пути отступления серому существу были отрезаны. Тщетно тыкался ее острый нос в углы. Везде стены и стены. Наконец Мамочка, почувствовав себя героем, помчался наперерез затравленной крысе и энергичным ударом ноги прикончил ее.

Мамочка, довольный, гордо оглядел столпившихся ребят, рассчитывая услышать похвалу, но те злобно заворчали. Им вовсе не хотелось кончать такое интересное развлечение.

– Эва! Расхрабрился!

– Сволочь! Надо было убивать?

– Подумаешь, герой, отличился! Этак бы и всякий мог!

Недовольные, расходились шкидцы.

В это время внизу Бобер закончил лихую песенку «Ай-ай, Петроград», загрустил и перешел на романс:

В шумном платье муаровом,

В макинтоше резиновом…

Потом затянул было «Разлуку», но тут же оборвал себя и громко зевнул.

– Пойти потанцевать, что ли, – предложил он скучающим голосом.

– Пойдем, – поддержал Цыган.

– Пойдем, – подхватил Янкель.

– Пошли! Пошли! Танцевать! – оживились остальные.

Янкель помчался за воспитателем и, поймав его где-то в коридоре, стал упрашивать:

– Сыграйте, дядя Сережа. А? Один вальсик и еще что-нибудь.

В Белом зале собралось все взрослое население республики. Шкидцы, как на балу, выбирали партнеров, и пары церемонно устанавливались одна за другой.

Дядя Сережа мечтательно запрокинул голову, ударил по клавишам, и под звуки «Дунайских волн» пары закружились в вальсе.

Собственно, кое-как умела танцевать только одна пара – Цыган и Бобер. Остальные лишь вертелись, топтались и толкали друг друга.

– Синьоры! Медам! Танц-вальс! Верти, крути, наворачивай! – надрывался Янкель, грациозно подхватывая Японца – свою даму – и нежно наступая ему на ногу.

Японец морщился, но продолжал топтаться, удивляясь вслух:

– Черт! Четверть часа вертимся – и все на одном месте!

Вальс сменился тустепом, тустеп – падеспанью.

Веселье постепенно просачивалось в холодные белые двери зала.

В самый разгар танцев, когда Шкида, единодушно закусив удила, дико отплясывала краковяк, ожесточенно притопывая дырявыми казенными сапогами, в дверях показался Викниксор.

– Ребята!

Крякнул вспугнутый рояль и смущенно смолк, захлебнувшись в аккорде.

Не успев в очередной раз притопнуть, остановились насторожившиеся пары. Лицо заведующего сияло какой-то особой торжественностью.

– Ребята, – повторил Викниксор, когда наступила полная тишина, – все немедленно идите в столовую. Сейчас состоится общешкольное собрание.

* * *

В полутемной столовой, пропахшей тюленьим жиром, тревожный гул голосов.

Бритые головы поминутно вертятся в разные стороны, а на лицах застыл вопрос: в чем дело?

Школьное собрание для шкидцев – новость. Это в первый раз.

Все с нетерпением ждут Викниксора: что-то он скажет?

Наконец заведующий входит в столовую.

Несколько минут он стоит, осматриваясь, потом подзывает воспитателя и громко говорит:

– Сергей Иванович, вы будете для первого раза секретарем. Ребята еще не привыкли к самоуправлению.

Воспитатель молча садится, кладет перед собой лист бумаги и ждет, а Викниксор минуту думает и почесывает ухо. Потом он выпрямляется и начинает говорить:

– Ребята! До сих пор у нас в школе нет жизни… Да, постойте!..

Он сбивается.

– Я забыл начать-то. Итак, считаю первое общешкольное собрание открытым. Председателем пока буду я, секретарем Сергей Иванович. В порядке дня – мой доклад о самоуправлении в школе. Итак, я начинаю.

Шкида молчит. Шкида притаилась и ждет, что скажет ее рулевой.

– Итак, прошу внимания. Что такое наша школа? Это – маленькая республика.

– Пожалуй, скорее – монархия, – ехидным шепотом поправляет зава Японец.

– Наша школа – республика, но в республике всегда власть в руках народа. У нас же до сих пор этого но было. Мы имели, с одной стороны, воспитанников, с другой воспитателей, которыми руководил я. Этим, так сказать, нарушалась наша негласная конституция.

– Правильно! – несется приглушенный выкрик из гущи воспитанников.

Викниксор грозно хмурит брови, но тут же спохватывается и

продолжает:

– Теперь этого не будет. Сейчас я изложу перед вами мой план. Школа должна идти в ногу с жизнью, а посему наш коллектив должен ввести у себя самоуправление.

– О-го-го!

– Здорово!

Шкидцы удивлены.

– Да. Самоуправление. Вам непонятно это слово? Слово русское. Вот схема нашей системы самоуправления. Сегодня же мы изберем старост по классам, по спальням, но кухне и по гардеробу. На обязанности их будет лежать назначение дежурных. Дежурные будут назначаться на один день. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий и так далее. Таким образом, все вы постепенно будете вовлечены в общественную жизнь школы. Поняли?

– О-го-го! Поняли!

– Ну, так вот. Старосту мы будем выбирать на месяц или на две недели. Но старосты – это еще но все. Старосты по кухне и по гардеробу нуждаются в контроле. Мы изберем для них тройку. Ревизионную тройку, которая и будет контролировать их работу. Согласны?

– Ясно! Согласны! – гудят голоса.

– Таким образом, мы изживем возможности воровства и отначивания.

– Вот это да! Правильно.

Викниксор чувствует себя прекрасно. Ему кажется, что он

совершил огромный подвиг, сделал большой государственный шаг, ему хочется еще что-нибудь сообщить, и он говорит:

– Кроме того, педагогический совет будет созывать совет старост, и вместе с воспитателями ваши выборные будут обсуждать все наиболее существенные мероприятия школы и ее дальнейшую работу.

Шкида поражена окончательно. Возгласы и реплики разрастаются в рев.

– Ур-ра-а!

Но Викниксор переходит к выборам. Как на аукционе, он выкрикивает названия постов для будущих старост, а в ответ в многоголосом гуле слышатся фамилии выбираемых.

– Староста по кухне. Кого предлагаете? – возглашает Викниксор.

– Янкеля!

– Цыгана!

– Янкеля!

– Даешь Черных!

– Черных старостой!

– Кто за Черных? Поднять руки. Кто против? Против нет. Итак, единодушное большинство за. Черных, ты – староста по кухне.

Уже прозвенел звонок, призывающий спать, а собрание еще только разгоралось.

Наконец, далеко за полночь, Викниксор встал и объявил:

– Все места распределены. Время позднее, пора спать.

Он пошел к дверям, но, вспомнив что-то, обернулся и добавил:

– Собрание считаю закрытым. Между прочим, ребята, за

последнее время вы что-то очень разбузились, поэтому я решил ввести для неисправимых изолятор. Поняли? А теперь – спать.

– Вот вам и конституция! – съязвил за спиной Викниксора Японец.

Но его не слушали.

– Ай да Витя! Ну и молодец! – восхищался Янкель, чувствуя, что пост кухонного старосты принесет ему немало приятного.

– Да-с, здорово.

– Теперь мы равноправные граждане.

– Эй, посторонитесь, гражданин Викниксор!.. Грржданин шкидец идет, – не унимался Японец.

Новый закон Викниксора обсуждали везде.

В спальне, в уборной, в классах.

Бедный дядя Сережа безуспешно пытался угомонить и загнать в спальню своих возбужденных питомцев.

Шкидцы радовались.

Только один Еонин с видом глубоко обиженного, непризнанного пророка презрительно выкрикивал фразы, полные желчи и досады:

– Эх вы! Дураки! Растаяли! Вам дали парламент, но вы получили и каторгу.

Он намекал на старост и изолятор.

– Чего ты ноешь? – возмущались товарищи, однако Японец не переставал. Он закидывал руки вверх и трагически восклицал:

– Народ! О великий шкидский народ! Ты ослеп. Тебя околдовали. Заклинаю тебя, Шкида, не верь словам Викниксора, ибо кто-кто, а он всегда надуть может.

Не было случая, чтобы Еонин поддержал новую идею Викниксора, и всегда в его лице педагоги встречали ярого противника. Но если прежде за ним шло большинство, то теперь его мало кто слушал. Получившие конституцию шкидцы чувствовали себя именинниками.

Великий ростовщик

Слаенов был маленький, кругленький шкет. Весь какой-то сдобный, лоснящийся. Даже улыбался он как-то сладко, аппетитно. Больше всего он был похож на сытого, довольного паучка.

Откуда пришел Слаенов в Шкиду, никто даже не полюбопытствовал узнать, да и пришел-то он как-то по-паучьи. Вполз тихонько, осторожненько, и никто его не заметил.

Пришел Слаенов во время обеда, сел на скамейку за стол и стал обнюхиваться. Оглядел соседей и вступил в разговор.

– А что? У вас плохо кормят?

– Плохо. Одной картошкой живем.

– Здорово! И больше ничего?

– А тебе чего же еще надо? Котлеток? Хорошо, что картошка есть. Это, брат, случайно запаслись. В других школах и того хуже.

Слаенов подумал и притих.

Дежурный с важностью внес на деревянном щите хлеб. За ним вошел, солидно помахивая ключом, староста Янкель. Он уже две недели исправно работал на новом посту и вполне освоился со своими обязанностями.

– Опять по осьмухе дают! – тоскливо процедил Савушка, вечно голодный, озлобленный новичок из второго отделения, но осекся под укоризненным взглядом халдея Сашкеца.

Однако настроение подавленности передалось и двум соседям Савушки, таким же нытикам, как и он сам. Кузя и Коренев вечно ходили озабоченные приисканием пищи, и это сблизило их. Они стали сламщиками. Слаенов приглядывался к тройке скулящих, но сам деликатно молчал. Новичку еще не подобало вмешиваться в семейные разговоры шкидцев.

Янкель обошел два стола, презрительно швыряя «пайки» шкидцам и удивляясь в душе, как это можно так жадно смотреть на хлеб. Сам Янкель чувствовал полное равнодушие к черствому ломтю, возможно потому, что у него на кухне, в столе, лежала солидная краюха в два фунта, оставшаяся от развешивания.

– Янкель, дай горбушку, – жалобно заскулил Кузя.

– Поди к черту, – обрезал его Черных.

Горбушки лежали отдельно, для старшего класса. Розданные пайки исчезали моментально. Только Слаенов не ел своего хлеба. Он равнодушно отложил его в сторону и лениво похлебывал суп.

– Ты что же хлеб-то не ешь? – спросил его Кузя, с жадностью поглядывая на соблазнительную осьмушку.

– Неохота, – так же равнодушно ответил Слаенов.

– Дай мне. Я съем, – оживился Кузя.

Но Слаенов уже прятал хлеб в карман.

– Я его сам на уроке заверну.

Кузя надулся и замолчал.

Когда все именуемое супом было съедено, принесли второе.

Это была жареная картошка.

Липкий, слащавый запах разнесся по столовой. Шкидцы понюхали воздух и приуныли.

– Опять с тюленьим жиром!

– Да скоро ли он кончится? В глотку уже не лезет!

Однако трудно проглотить только первую картофелину. Потом вкус «тюленя» притупляется и едят картошку уже без отвращения, стараясь как можно плотное набить животы.

Этот тюлений жир был гордостью Викниксора, и, когда ребята возмущались, он начинал поучать:

– Зря, ребята, бузите. Это еще хорошо, что у нас есть хоть тюлений жир, – в других домах и этого нет. А совершенно без жиру жить нельзя.

– Истинно с жиру бесятся! – острил Японец, с печальной гримасой поглядывая на миску с картошкой.

Он не мог выносить даже запаха «тюленя».

Вид картошки был соблазнителен, но приторный привкус отбивал всякий аппетит. Еошка минуту боролся, наконец отвращение осилило голод, и, подцепив картошку на вилку, он с озлоблением запустил ею по столу.

Желтенький шарик прокатился по клеенке, оставляя на ней жирный след, и влип в лоб Горбушке, увлекшемуся обедом.

Громкий хохот заставил встрепенуться Сашкеца.

Он обернулся, минуту искал глазами виновника, увидел утирающегося Горбушку, перевел взгляд на Японца и коротко приказал:

– За дверь!

– Да за что же, дядя Саша? – пробовал протестовать Японец, но дядя Саша уже вынимал карандаш и записную книжку, куда записывал замечания.

– Ну и вали, записывай. Халдей!

Еошка вышел из столовой.

Кончился обед, а Кузя все никак не мог забыть осьмушку хлеба в кармане Слаенова.

Он не отходил от него ни на шаг.

Когда стали подниматься по лестнице наверх в классы, Слаенов вдруг остановил Кузю.

– Знаешь что?

– Что? – насторожился Кузя.

– Я тебе дам свою пайку хлеба сейчас. А за вечерним чаем ты мне отдашь свою.

Кузя поморщился.

– Ишь ты, гулевой. За вечерним чаем хлеба по четвертке дают, а ты мне сейчас осьмушку всучиваешь.

Слаенов сразу переменил тон.

– Ну, как хочешь. Я ведь не заставляю.

Он опять засунул в карман вынутый было кусок хлеба.

Кузя минуту стоял в нерешительности. Благоразумие

подсказывало ему: не бери, будет хуже. Но голод был сильнее благоразумия, и голод победил.

– Давай. Черт с тобой! – закричал Кузя, видя, как Слаенов сворачивает в зал.

Тот сразу вернулся и, сунув осьмушку в протянутую руку, уже независимо проговорил:

– Значит, ты мне должен четвертку за чаем.

Кузя хотел вернуть злосчастный хлеб, но зубы уже впились в мякиш.

* * *

Вечером Кузя «сидел на топоре» и играл на зубариках. Хлеб, выданный ему к чаю, переплыл в карман Слаенова. Есть Кузе хотелось невероятно, но достать было негде. Кузя был самый робкий и забитый из всего второго отделения, поэтому так трудно ему было достать себе пропитание.

Другие умудрялись обшаривать кухню и ее котлы, но Кузя и на это не решался.

Вся его фигура выражала унижение и покорность, и прямо не верилось, что в прошлом за Кузей числились крупные кражи и буйства. Казалось, что по своей покорности он взял чью-то вину на себя и отправился исправляться в Шкиду.

Рядом за столом чавкал – до тошноты противно – Кузин сламщик Коренев и, казалось, совсем не замечал, что у его друга нет хлеба.

– Дай кусманчик хлебца. А? – робко попросил Кузя у него, но тот

окрысился:

– А где свой-то?

– А я должен новичку.

– Зачем же должал?

– Ну ладно, дай кусманчик.

– Нет, не дам.

Коренев опять зачавкал, а измученный Кузя обратился, на что-то решившись, через стол к Слаенову.

– До завтра дай. До утреннего чая.

Слаенов равнодушно посмотрел, потом достал Кузину четвертку, на глазах всего стола отломил половину и швырнул Кузе. Вторую половину он так же аккуратно спрятал в карман.

– Эй, постой! Дай и мне!

Это крикнул Савушка. Он уже давно уплел свою пайку, а есть хотелось.

– Дай и мне. Я отдам завтра, – повторил он.

– Утреннюю пайку отдашь, – хладнокровно предупредил Слаенов, подавая ему оставшуюся половину Кузиного хлеба.

– Ладно. Отдам. Не плачь.

* * *

На другой день у Слаенова от утреннего чая оказались две лишние четвертки. Одну он дал опять в долг голодным Савушке и Кузе, другую у него купил кто-то из первого отделения.

То же случилось в обед и вечером, за чаем.

Доход Слаенова увеличился. Через два дня он уже позволил себе роскошь – купил за осьмушку хлеба записную книжку и стал записывать должников, количество которых росло с невероятной быстротой.

Еще через день он уже увеличил себе норму питания до двух порций в день, а через неделю в слаеновской парте появились хлебные склады. Слаенов вдруг сразу из маленького, незаметного новичка вырос в солидную фигуру с немалым авторитетом.

Он уже стал заносчив, покрикивал на одноклассников, а те робко молчали и туже подтягивали ремешка на животах.

Еще бы, все первое и половина второго отделения были уже его должниками.

Уже Слаенов никогда не ходил один, вокруг него юлила подобострастная свита должников, которым он иногда в виде милостыни жаловал кусочки хлеба.

Награждал он редко. В его расчеты не входило подкармливать товарищей, но подачки были нужны, чтобы ребята не слишком озлоблялись против него.

С каждым днем все больше и больше запутывались жертвы Слаенова в долгах, и с каждым днем росло могущество «великого ростовщика», как называли его старшие.

Однако власть его простиралась не далее второго класса: самые могучие и самые крепкие – третье и четвертое отделение – смотрели с презрением на маленького шкета и считали ниже своего достоинства обращать на него внимание.

Слаенов хорошо сознавал опасность такого положения. В любой момент эти два класса или даже один из них могли разрушить его лавочку. Это ему не улыбалось, и Слаенов разработал план, настолько хитрый, что даже самые умные деятели из четвертого отделения не могли раскусить его и попались на удочку.

Однажды Слаенов зашел в четвертое отделение и, как бы скучая, стал прохаживаться по комнате.

Щепетильные старшие не могли вынести такой наглости: чтобы в их класс, вопреки установившемуся обычаю, смели приходить из первого отделения и без дела шляться по классу! Слаенов для них еще ничего особенного не представлял, поэтому на него окрысились.

– Тебе что надо здесь? – гаркнул Громоносцев.

Слаенов съежился испуганно.

– Ничего, Цыганок, я так просто пришел.

– Так? А кто тебя пускал?

– Никто.

– Ах, никто? Ну, так я тебе сейчас укажу дверь, и ты в другой раз без дела не приходи.

– Да я что же, я ничего. Я только думал, я думал… – бормотал Слаенов.

– Что думал?

– Нет, я думал, вы есть хотите. Хочешь, Цыганок, хлеба? А? А то мне его девать некуда.

Цыган недоверчиво посмотрел на Слаенова.

– А ну-ка, давай посмотрим.

При слове «хлеб» шкидцы оглянулись и насторожились, а Слаенов уже спокойно вынимал из-за пазухи четвертку хлеба и протягивал ее Громоносцеву.

– А еще у тебя есть? – спросил, подходя к Слаенову, Японец. Тот простодушно достал еще четвертку.

– На. Мне не жалко.

– А ну-ка, дай и мне, – подскочил Воробей, за ним повскакали со своих мест Мамочка и Горбушка.

Слаенов выдал и им по куску.

Когда же подошли Сорока и Гога, он вдруг сморщился и бросил презрительно:

– Нету больше!

Хитрый паучок почуял сразу, что ни Гога, ни Сорока влиянием не пользуются, а поэтому и тратиться на них считал лишним.

Ребята уже снисходительно поглядывали на Слаенова.

– Ты вали, забегай почаще, – усмехнулся Цыган и, войдя во вкус, добавил: – Эх, достать бы сахаринчику сейчас да чайку выпить!

Слаенов решил завоевать старших до конца

– У меня есть сахарин. Кому надо?

– Вот это клево, – удивился Японец. – Значит, и верно чайку попьем.

А Слаенов уже распоряжался:

– Эй, Кузя, Коренев! Принесите чаю с кухни. Кружки у Марфы возьмите. Старшие просят.

Кузя и Коренев ждали у дверей и по первому зову помчались на

кухню.

Через пять минут четвертое отделение пировало. В жестяных кружках дымился кипяток, на партах лежали хлеб и сахарин. Ребята ожесточенно чавкали, а Слаенов, довольный, ходил по классу и, потирая руки, распространялся:

– Шамайте, ребята. Для хороших товарищей разве мне жалко? Я вам всегда готов помочь. Как только кто жрать захочет, так посылайте ко мне. У меня всегда все найдется. А мне не жалко.

– Ага. Будь спокоен. Теперь мы тебя не забудем, – соглашался Японец, набивая рот шамовкой.

Так было завоевано четвертое отделение.

Теперь Слаенов не волновался. Правда, содержание почти целого класса первое время было для него большим убытком, но зато постепенно он приучал старших к себе.

В то время хлеб был силой, Слаенов был с хлебом, и ему повиновались.

Незаметно он сумел превратить старших в своих телохранителей и создал себе новую могучую свиту.

Первое время даже сами старшие не замечали этого. Как-то вошло в привычку, чтобы Слаенов был среди них. Им казалось, что не они со Слаеновым, а Слаенов с ними. Но вот однажды Громоносцев услышал фразу, с таким презрением произнесенную каким-то первоклассником, что его даже передернуло.

– Ты знаешь, – говорил в тот же день Цыган Японцу, – нас младшие холуями называют. А? Говорят, Слаенову служим.

– А ведь правы они, сволочи, – тоскливо морщился Японец. – Так и выходит. Сами не заметили, как холуями сделались. Противно, конечно, а только трудно отстать… Ведь он, гадюка, приучил нас сытыми быть!

Скоро старшие свыклись со своей ролью и уже сознательно старались не думать о своем падении.

Один Янкель по-прежнему оставался независимым, и его отношение к ростовщику не изменилось к лучшему. Силу сопротивления ему давал хлеб. Он был старостой кухни и поэтому мог противопоставить богатству Слаенова свое собственное богатство.

Однако втайне Янкель невольно чувствовал уважение к паучку-ростовщику. Его поражало то умение, с каким Слаенов покорил Шкиду. Янкель признавал в нем ловкого человека, даже завидовал ему немножко, но тщательно это скрывал.

Тем временем Слаенов подготавливал последнюю атаку для закрепления власти. Незавоеванным оставалось одно третье отделение, которое нужно было взять в свои руки. Кормить третий класс, как четвертый, было убыточно и невыгодно, затянуть его в долги, как первый класс, тоже не удалось. Там сидели не такие глупые ребята, чтобы брать осьмушку хлеба за четвертку.

Тогда Слаенов напал на третье отделение с новым оружием.

Как-то после уроков шкидцы, по обыкновению, собрались в своем клубе побеседовать и покурить.

Клубов у шкидцев было два – верхняя и нижняя уборные. Но в верхней было лучше. Она была обширная, достаточно светлая и более

или менее чистая.

Когда-то здесь помещалась ванна, потом ее сняли, но пробковые стены остались, остался и клеенчатый пол. При желании здесь можно было проводить время с комфортом, и, главное, здесь можно было курить с меньшим риском засыпаться.

В уборных всегда было оживленно и как-то по-семейному уютно.

Клубился дым на отсвете угольной лампочки. Велись возбужденные разговоры, и было подозрительно тепло. На запах шкидцы не обращали внимания.

Уборные настолько вошли в быт, что никакая борьба халдеев с этим злом не помогала. Стоило только воспитателю выгнать ребят из уборной и отойти на минуту в сторону, как она вновь наполнялась до отказа.

В верхней-то уборной и начал Слаенов атаку на независимое третье отделение.

Он вошел в самый разгар оживления, когда уборная была битком набита ребятами. Беспечно махнув в воздухе игральными картами, Слаенов произнес:

– С кем в очко сметать?

Никто не отозвался.

– С кем в очко? На хлеб за вечерним чаем, – снова повторил Слаенов

Худенький, отчаянный Туркин из третьего отделения принял вызов.

– Ну давай, смечем. Раз на раз!

Слаенов с готовностью смешал засаленные карты.

Вокруг играющих собралась толпа. Все следили за игрой Турки. Все желали, чтобы Слаенов проиграл. Туркин набрал восемнадцать очков и остановился.

– Побей. Хватит, – тихо сказал он.

Слаенов открыл свою карту – король. Следующей картой оказался туз.

– Пятнадцать очков, – пронесся возбужденный шепот зрителей.

– Прикупаешь? – спросил Туркин тревожно. Слаенов усмехнулся.

– Конечно.

– Король!

– Девятнадцать очков. Хватит.

Туркин проиграл.

– Ну, давай на завтрашний утренний сыграем, – опять предложил Слаенов.

Толстый Устинович, самый благоразумный из третьеклассников, попробовал остановить.

– Брось, Турка. Не играй.

Но тот уже зарвался.

– Пошел к черту! Не твой хлеб проигрываю. Давай карту, Слаеныч.

Туркин опять проиграл.

Дальше игра пошла лихорадочным темпом. Счастье переходило от одного к другому.

Оторваться темпераментный Турка уже не имел силы, и игра

прерывалась только на уроках и за вечерним чаем.

Потом они играли, играли и играли.

В третьем отделении царило невероятное возбуждение. То и дело в класс врывались гонцы и сообщали новости:

– Туркин выиграл у Слаенова десять паек.

– Туркин проиграл пять.

Уже прозвенел звонок, призывающий ко сну, а игра все продолжалась.

В спальне кто-то предупредительно сделал на кроватях отсутствующих чучела из одеял и подушек…

Утром стало известно: Туркин в доску проигрался. Он за одну ночь проиграл двухнедельный паек и теперь должен был ежедневно отдавать весь свой хлеб Слаенову.

Скоро такая же история случилась с Устиновичем, а дальше началась дикая картежная лихорадка. Очко, как заразная бацилла, распространялось в школе, и главным образом в третьем отделении. Появлялись на день, на два маленькие короли выигрыша, но их сразу съедал Слаенов.

То ли ему везло, то ли он плутовал, однако он всегда был в выигрыше. Скоро третье отделение ужо почти целиком зависело от него.

Теперь три четверти школы платило ему долги натурой.

Слаенов еще больше вырос. Он стал самым могучим в Шкиде. Вечно он был окружен свитой старших, и с широкого лица его не сходило выражение блаженства.

Это время Шкиде особенно памятно. Ежедневно Слаенов задавал пиры в четвертом отделении, откармливая свою гвардию.

В угаре безудержного рвачества росло его могущество. Шкида стонала, голодная, а ослепленные обжорством старшеклассники не обращали на это никакого внимания.

Каждый день полшколы отдавало хлеб маленькому жирному пауку, а тот выменивал хлеб на деньги, колбасу, масло, конфеты.

Для этого он держал целую армию агентов.

Из-за голода в Шкиде начало развиваться новое занятие – «услужение».

Первыми «услужающими» оказались Кузя и Коренев. За кусочек хлеба эти вечно голодные ребята готовы были сделать все, что им прикажут. И Слаенов приказывал.

Он уже ничего не делал сам. Если его посылали пилить дрова, он тотчас же находил заместителя за плату: давал кусок хлеба – и тот исполнял за него работу. Так было во всем.

Скоро все четвертое отделение перешло на положение тунеядцев-буржуев.

Все работы за них выполняли младшие, а оплачивал эту работу Слаенов.

Вечером, когда Слаенов приходил в четвертое отделение, Японец, вскакивая с места, кричал:

– Преклоните колени, шествует его величество хлебный король!

– Ура, ура, ура! – подхватывал класс.

Слаенов улыбался, раскланивался и делал знак

сопровождающему его Кузе. Кузя поспешно доставал из кармана принесенные закуски и расставлял все на парте.

– Виват хлебному королю! – орал Японец. – Да будет благословенна жратва вечерняя! Сдвигайте столы, дабы воздать должное питиям и яствам повелителя нашего!

Мгновенно на сдвинутых партах вырастали горы конфет, пирожные, сгущенное молоко, колбаса, ветчина, сахарин.

Шум и гам поднимались необыкновенные. Начиналась всамделишная «жратва вечерняя». С набитыми ртами, размахивая толстыми, двухэтажными бутербродами, старшие наперебой восхваляли Слаенова.

– Бог! Божок! – надрывался Японец, хлопая Слаенова по жирному плечу. – Божок наш! Телец златой, румяненький, толстенький!

И, припадая на одно колено, под общий исступленный хохот протягивал Слаенову огрызок сосиски и умолял:

– Повелитель! Благослови трапезу.

Слаенов хмыкал, улыбался и, хитро поглядывая быстрыми глазками, благословлял – мелко крестил сосиску.

– Ай черт! – в восторге взвизгивал Цыган. – Славу ему пропеть!

– Носилки королю! На руках нести короля!

Слаенова подхватывали на руки присутствовавшие тут же младшие и носили его по классу, а старшие, подняв швабры – опахала – над головой ростовщика, ходили за ним и ревели дикими голосами:

Славься ты, славься,
Наш золотой телец!

Славься ты, славься,

Слаенов-молодец!..

Церемония заканчивалась торжественным возложением венка, который наскоро скручивали из бумаги.

Доедая последний кусок пирожного, Японец, произносил благодарственную речь.

…Однажды во время очередного пиршества Слаенов особенно разошелся.

Ели, кричали, пели славу. А у дверей толпилась кучка голодных должников.

Слаенов опьянел от восхвалений.

– Я всех могу накормить, – кричал он. – У меня хватит!

Вдруг взгляд его упал на Кузю, уныло стоявшего в углу. Слаенова осенило.

– Кузя! – заревел он. – Иди сюда, Кузя!

Кузя подошел.

– Становись на колени!

Кузя вздрогнул, на минуту смешался; что-то похожее на гордость заговорило в нем. Но Слаенов настаивал.

– На колени. Слышишь? Накормлю пирожными.

И Кузя стал, тяжело нагнулся, будто сломался, и низко опустил голову, пряча от товарищей глаза. Лицо Слаенова расплылось в довольную улыбку.

– На, Кузя, шамай. Мне не жалко, – сказал он, швыряя коленопреклоненному Кузе кусок пирожного. Внезапно новая

блестящая мысль пришла ему в голову.

– Эй, ребята! Слушайте! – Он вскочил на парту и, когда все утихли, заговорил: – Кузя будет мой раб! Слышишь, Кузя? Ты – мой раб. Я – твой господин. Ты будешь на меня работать, а я буду тебя кормить. Встань, раб, и возьми сосиску.

Побледневший Кузя покорно поднялся и, взяв подачку, отошел в угол. На минуту в классе возникла неловкая тишина. Японца передернуло от унизительного зрелища. То же почувствовали Громоносцев и Воробей, а Мамочка открыто возмутился:

– Ну и сволочь же ты, Слаенов.

Слаенов опешил, почувствовал, что зарвался, но уже в следующее мгновение оправился и громко запел, стараясь заглушить ворчание Мамочки.

Рабство с легкой руки Слаенова привилось, и прежде всего обзавелись рабами за счет ростовщика четвертоотделенцы. Все они чувствовали, что поступают нехорошо, но каждый про себя старался смягчить свою вину, сваливая на другого.

Рабство стало общественным явлением. Рабы убирали по утрам кровати своих повелителей, мыли за них полы, таскали дрова и исполняли все другие поручения.

Могущество Слаенова достигло предела.

Он был вершителем судеб, после заведующего он был вторым правителем школы.

Когда оказалось, что хлеба у него больше, чем он мог расходовать, Слаенов начал самодурствовать. Он заставлял для своего

удовольствия рабов петь и танцевать.

При каждом таком зрелище присутствовали и старшие. Скрепя сердце они притворно усмехались, видя кривлянья младших.

Им было до тошноты противно, но слишком далеко зашла их дружба со Слаеновым.

А великий ростовщик бесновался.

Часто, лежа в спальне, он вдруг поднимал свою лоснящуюся морду и громко выкрикивал:

– Эй, Кузя! Раб мой!

Кузя покорно выскакивал из-под одеяла и, дрожа от холода, ожидал приказаний.

Тогда Слаенов, гордо посматривая на соседей, говорил:

– Кузя, почеши мне пятки.

И Кузя чесал.

– Не так… Черт! Пониже. Да не скреби, а потихоньку, – командовал Слаенов и извивался, как сибирский кот, тихо хихикая от удовольствия.

Ежедневно вечером за хлеб нанимал он сказочников, которые должны были говорить до тех пор, пока Слаенов не засыпал.

Доход Слаенова с каждым днем все рос. Он получал каждый день чуть ли не весь паек школы – полтора – два пуда хлеба – и кормил старших. За это старшие устраивали ему овации, называли его «Золотым тельцом» и «Хлебным королем».

Слаенов был первым богачом не только в Шкиде, но, пожалуй, и во всем Петрограде.

Так продолжался разгул Слаенова, а между тем нарастало недовольство.

Все чаще и чаще на кухне у Янкеля собиралась тройка заговорщиков.

Там, за прикрытой дверью, за чаем с хлебом и сахарином, обсуждались деяния Слаенова.

– Ой и сволочь же этот Слаенов, – возмущался Мамочка, поблескивая одним глазом. – Я бы его сейчас отдул, хоть он и сильнее меня!

– И ст-т-оит. И ст-т-оит, – заикался Гога, но Янкель благоразумно увещевал:

– Обождите, ребята, придет время, мы с ним поговорим.

Тройка эта показала Слаенову свои когти. Однажды, когда он попытался заговорить с Мамочкой и ласково предложил ему сахарину, тот возмутился.

Прямолинейный и страшно вспыльчивый Мамочка сперва покрыл Слаенова крепкой руганью, потом начал отчитывать:

– Да я тебя, сволочь несчастная, сейчас кочергой пришибу, ростовщик поганый! Обокрал всю школу. Ты лучше со мной и не разговаривай, парша, а то, гляди, морду расквашу!

Нападение было неожиданным. Мамочка искал только предлога, а Слаенов никак не думал, что противники окажутся такими стойкими и злобными.

Скандал произошел в людном месте. Кругом стояли и слушали рабы и одобрительно, хотя и боязливо, хихикали.

Слаенов так опешил, что даже не нашелся, что сказать, и, посрамленный, помчался в четвертое отделение.

Там он сел в углу и сделал плачущее лицо.

– Ты чего скуксился? – спросил его Громоносцев.

Слаенов обо всем рассказал.

– Понимаешь, Мамочка грозится побить, – говорил он и щупал глазами фигуры своих телохранителей, но те смущенно молчали.

Тут Слаенов впервые почувствовал, что сделал крупный промах.

Он считал себя достаточно сильным, чтобы заставить Громоносцева и всю компанию приверженцев повлиять на их одноклассника Мамочку, но ошибся. Мамочку, по-видимому, никто не решался трогать, и это было большим ударом для Слаенова.

Он сразу почувствовал, во что может превратиться маленькое ядро оппозиции, и поэтому решил раздавить ее в зародыше.

Но начал он уже не с Мамочки.

* * *

Янкель только что вошел в класс. В руках его была солидная краюха хлеба, которая, по обыкновению, осталась от развески.

Он собирался пошамать, но, увидев Слаенова, нахмурился.

– Долго ты здесь будешь шляться еще? – угрюмо спросил он ростовщика среди наступившей гробовой тишины, но вдруг, заметив в руках Слаенова карты, смолк.

В голове родилась идея: а что, если попробовать обыграть?

Расчет Слаенова оказался верен: в следующее же мгновение

Янкель предложил сыграть в очко.

Игра началась.

Через час, после упорной борьбы, Янкель проиграл весь свой запас и начал играть на будущее.

Игра велась ожесточенно. Весь класс чувствовал, что это не просто игра, что это борьба двух стихий. Но Янкелю в этот день особенно не везло. За последующие два часа он проиграл тридцать пять фунтов хлеба, двухмесячный паек. Слаенов предложил прекратить игру, но Янкель настаивал на продолжении.

С трудом удалось его успокоить и увести в спальню.

Маленький, лоснящийся, тихий паучок победил еще раз.

Утром Янкель встал с больной головой. Он с отчаянием вспомнил о вчерашнем проигрыше.

На кухне он заглянул в тетрадку и решил на риск назначить дежурным по кухне вне очереди Мамочку. Так и сделал.

Сходили с ним в кладовую, получили на день хлеб и стали развешивать.

Янкель придвинул весы, поставил на чашку четверточную гирю, собираясь вешать, и вдруг изумился, глядя на Мамочкины манипуляции.

Тот возился, что-то подсовывая под хлебную чашку весов.

– Ты что там делаешь?

– Не видишь, что ли? Весу прибавляю, – рассердился Мамочка.

– Что же, значит, обвешивать ребят будем? Ведь заскулят.

– Не ребят, а Слаенова… Все равно ему пойдет.

Янкель подумал и не стал возражать.

К вечеру у них скопилось пять фунтов, которые и переправились немедленно в парту Слаенова.

Янкель повеселел. Если так каждый день отдавать, то можно скоро отквитать весь долг.

На другой день он по собственной инициативе подложил под весы солидный гвоздь и к вечеру получил шесть фунтов хлеба.

Янкель был доволен.

Тихо посвистывая, он сидел у стола и проверял по птичкам в тетради выданное количество хлеба. Птички ставились в списке против фамилии присутствующих учеников.

Как назло, сегодня отсутствовало около десяти человек приходящих, и Янкель уже высчитал, что в общей сложности от них он получил около фунта убытку: обвешивать можно было только присутствующих.

Вдруг Янкель вскочил, словно решил какую-то сложную задачу.

– Идея! Кто же может заподозрить меня, если я поставлю четыре лишние птички.

Открытие было до смешного просто, а результаты оказались осязательными.

Четыре птички за утренний и за вечерний чай дали два лишних фунта, а четыре за обед прибавили еще маленький довесок в полфунта.

Своим открытием Янкель остался доволен и применил его и на следующий день.

Дальше пошло легко, и скоро оппозиция вновь задрала голову.

От солидного янкелевского долга Слаенову осталось всего пять фунтов, которые он должен был погасить на следующий день.

Но в этот день над Янкелем разразилось несчастье.

После обеда он в очень хорошем настроении отправился на прогулку, а когда пришел обратно в школу, на кухне его встретил новый староста.

За два часа прогулки случилось то, о чем Янкель даже и думать не мог.

Викниксор устроил собрание и, указав на то, что Черных уже полтора месяца работает старостой на кухне, предложил его переизбрать, отметив в то же время, что работа Черных была исправной и безукоризненной.

Старостой под давлением Слаенова избрали Савушку – его вечного должника.

Удар пришелся кстати, и Викниксор невольно явился помощником Слаенова в борьбе с его противниками.

Дни беззаботного существования сменились днями тяжелой нужды. Никогда не голодавшему Янкелю было очень тяжело сидеть без пайка, но долг нужно было отдавать.

Слаенов между тем успокоился.

По его мнению, угрозы его могуществу больше не существовало.

Так же пировал он со старшими, не замечая, что Шкида, изголодавшаяся, измученная, все больше и больше роптала за его спиной.

А ростовщик все наглел. Он уже сам управлял кухней, контролируя Савушку. Слаенов заставлял Савушку подделывать птички, не считаясь с опасностью запороться.

Хлеб ежедневно по десятифунтовой буханке продавался за стенами Шкиды в лавку чухонки. Слаенов стал отлучаться по вечерам в кинематограф. Денег завелось много.

Но злоупотребление птичками не прошло даром.

Однажды за перекличкой Викниксор заметил подделку.

Лицо его нахмурилось, и, подозвав воспитателя, он проговорил:

– Александр Николаевич, разве Воронин был сегодня?

Сашкец ответил без промедления:

– Нет, Виктор Николаевич, не был.

– Странно. Почему же он отмечен в тетради?..

Викниксор углубился в изучение птичек.

– А Заморов был?

– Тоже нет.

– А Данилов?

– Тоже нет.

– Андриянов?

– Нет.

– Позвать старосту.

Савушка явился испуганный, побледневший.

– Вы меня звали, Виктор Николаевич?

– Да, звал. – Викниксор строго поглядел на Савушку и, указав на тетрадь, спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего:

– Почему здесь лишние отметки?

Савушка смутился.

– А я не знаю, Виктор Николаевич.

– А хлеб кто за них получал?

– Я… я никому не давал.

Вид Савушки выдал его с головой. Он то бледнел, то краснел, шмыгал глазами по столовой и, как затравленный, не находя, что сказать, бормотал:

– Не знаю. Не давал. Не знаю.

Голос Викниксора сразу стал металлическим:

– Савин сменяется со старост. Савина в изолятор. Александр Николаевич, позаботьтесь.

Сашкец молча вытащил из кармана ключ и, подтолкнув, повел Савушку наверх.

В столовой наступила грозная тишина.

Все сознавали, что Савушка влип ни за что ни про что. Виноват был Слаенов.

Ребятам стало жалко тихого и покорного Савушку.

А Викниксор, возмущенный, ходил по комнате и говорил:

– Это неслыханно! Это самое подлое и низкое преступление. Обворовывать своих же товарищей. Брать от них последний кусок хлеба. Это гадко!

Вдруг его речь прервал нечеловеческий вопль. Крик несся с лестницы. Викниксор помчался туда.

На лестнице происходила драка.

Всегда покорный Савушка вдруг забузил.

– Не пойду в изолятор. Сволочи, халдеи! Уйди, Сашкец, а то морду разобью!

Сашкец делал героические попытки обуздать Савушку. Он схватил его за талию, стараясь дотащить до изолятора, но Савин не давался.

В припадке ярости он колотил по лицу воспитателя кулаками. Сашкец посторонился и выпустил его. Савушка с громким воплем помчался к двери. В эту минуту в дверях показался Викниксор, но, увидев летящего ураганом воспитанника, отскочил – и сделал это вовремя. Кулак Савина промелькнул у самого его носа…

– А, Витя! Я тебя убью, сволочь! Дайте мне нож…

– Савин, в изолятор! – загремел голос заведующего, но это еще больше раззадорило воспитанника.

– Меня? В изолятор? – взвизгнул Савушка и вдруг помчался на кухню.

Оттуда он выскочил с кочергой.

– Где Витя? Где Витя? – Савушка был страшен. При виде мчащегося на него ученика, яростно размахивающего кочергой, Викниксору сделалось нехорошо.

Стараясь сохранить достоинство, он стал отступать к своей квартире, но в последний момент ему пришлось сделать большой прыжок за дверь и быстро ее захлопнуть.

Кочерга Савушки с треском впилась в высокую белую дверь.

Разозленный неудачным нападением, Савушка кинулся было на

воспитателя, но ярость его постепенно улетучилась. Он бросил кочергу и убежал.

Через четверть часа Сашкец, с помощью дворника, нашел его в классе. Савушка, съежившись, сидел в углу на полу и тихо плакал.

В изолятор он пошел покорный, размякший и придавленный.

Педагоги не знали, что стряслось с Савиным. Они недоумевали. Ведь многих же сажали в изолятор, но ни с кем не было таких припадков буйства, как с Савушкой. Истину знали шкидцы. Они-то хорошо понимали, кто был виноват в преступлении Савина, и Слаенов все больше и больше чувствовал обращенные на него свирепые взгляды.

Страх все сильнее овладевал им. Он понимал, что теперь это не пройдет даром.

Тогда он вновь решил задобрить свою гвардию и устроил в этот вечер неслыханный пир: он поставил на стол кремовый торт, дюжину лимонада и целое кольцо ливерной колбасы. Но холодно и неприветливо было на пиршестве. Угрюмы были старшие.

А там наверху голодная Шкида паломничала к изолятору и утешала Савушку сквозь щелку:

– Савушка, сидишь?

– Сижу.

– Ну, ладно, ничего. Посидишь – и выпустят. Это все Слаенов, сволочь, виноват.

А Савушка, понурившись, ходил, как зверек, по маленькой четырехугольной комнатке и грозился:

– Я этому Слаенову морду расквашу, как выйду.

В верхней уборной собрались шкидцы и, мрачные, обсуждали случившееся.

Турка держал четвертку хлеба и сосредоточенно смотрел на нее. Эта четвертка – его утренний паек, который нужно было отдать Слаенову, но Турка был прежде всего голоден, а кроме того, озлоблен до крайности. Он еще минуту держал хлеб в руке, не решаясь на что-то, и вдруг яростно впился зубами в хлебную мякоть.

– Ты что же это? – удивился Устинович. – А долг?

– Не отдам, – хмуро буркнул в ответ Турка.

– Ну-у? Неужели не отдашь? А старшие?..

Да, старшие могли заставить, и это сразу охладило Турку. Теперь уже был опасен не Слаенов, а его гвардия. Он остановился с огрызком в раздумье – и вдруг услышал голос Янкеля:

– Эх, была не была! И я съем свою четвертку. А долг пусть Слаенов с Гоголя получит.

В этот момент все притихли.

В дверях показался Слаенов. Он раскраснелся. И так всегда красное лицо пылало. Он прибежал с пирушки – на углах рта еще белели прилипшие крошки торта и таяли кусочки крема.

Слаенов почувствовал тревогу и насторожился, но решил держаться до конца спокойно.

Он подошел, пронизываемый десятками взоров, к Турке и спокойно проговорил:

– Гони долг, Турка. За утро.

Туркин молчал.

Молчали и окружающие.

– Ну, гони долг-то! – настаивал Слаенов.

– С Гоголя получи. Нет у меня хлеба, – решительно брякнул Турка.

– Как же нет? А утренняя пайка?

– Съел утреннюю пайку.

– А долг?

– А этого не хотел? – с этими словами Турка сделал рукою довольно невежливый знак. – Не буду долгов тебе отдавать – и все!

– Как это не будешь? – опешил Слаенов.

– Да не буду – и все.

– А-а-а!

Наступила тишина. Все следили за Слаеновым. Момент был критический, но Слаенов растерялся и глупо хлопал глазами.

– Нынче вышел манифест. Кто кому должен, тому крест, – продекламировал Янкель, вдруг разбив гнетущее молчание, и громкий хохот заглушил последние его слова.

– А-а-а! Значит, так вы долги платите?! Ну, хорошо…

С этими словами Слаенов выскочил из уборной, и ребята сразу приуныли.

– К старшим помчался. Сейчас Громоносцева приведет.

Невольно чувствовалось, что Громоносцев должен будет решить дело. Ведь он – сила, и если сейчас заступится за Слаенова, то завтра же вновь Турка будет покорно платить дань великому ростовщику, а с ним будут тянуть лямку и остальные.

– А может, он не пойдет, – робко высказал свои соображения Устинович среди всеобщего уныния. Все поняли, что под «ним» подразумевается Громоносцев, и втайне надеялись, что он не пойдет за Слаеновым.

Но он пришел. Пришел вместе со Слаеновым.

Слаенов гневно и гордо посмотрел на окружающих и проговорил, указывая пальцем на Туркина:

– Вот, Цыганок, он отказывается платить долги!

Все насторожились. Десяток пар глаз впился в хмурое лицо Цыгана, ожидая чего-то решающего.

Да или нет?

Да или нет?..

А Слаенов жаловался:

– Я пришел. Давай, говорю, долг, а он смеется, сволочь, и на Гоголя показывает.

Громоносцев молчал, но лицо его темнело все больше и больше. Узенькие ноздри раздулись, и вдруг он, обернувшись к Слаенову, скверно выругался.

– Ты что же это?.. Думаешь, я держиморда или вышибала какой? Я вовсе не обязан ходить и защищать твою поганую морду, а если ты еще раз обратишься ко мне, я тебя сам проучу! Сволота несчастная!

Хлопнула дверь, и Слаенов остался один в кругу врагов, беспомощный и жалкий.

Ребята зловеще молчали. Слаенов почувствовал опасность и вдруг ринулся к двери, но у двери его задержал Янкель и толкнул обратно.

– Попался, голубчик, – взвизгнул Турка, и тяжелая пощечина с треском легла на толстую щеку Слаенова.

Слаенов охнул. Новый удар по затылку заставил его присесть.

Потом кто-то с размаху стукнул кулаком по носу, еще и еще раз…

Жирный ростовщик беспомощно закрылся руками, но очередной удар свалил его с ног.

– За что бьете? Ребята! Больно! – взвыл он, но его били.

Били долго, с ожесточением, словно всю жизнь голодную на нем выколачивали. Наконец отрезвились.

– Хватит. Ну его к черту, паскуду! – отдуваясь, проговорил Турка.

– Хватит! Ну его! Пошли…

Слаенов, избитый, жалкий, сидел в углу у стульчака, всхлипывал и растирал рукавом кровь, сочившуюся из носа.

Ребята вышли.

Весть о случившемся сразу облетела всю Шкиду.

Старшие в нижней уборной организовали митинг, где вынесли резолюцию: долги считать ликвидированными, рабство уничтоженным – и впредь больше не допускать подобных вещей.

Почти полтора месяца голодавшая Шкида вновь вздохнула свободно и радостно.

Вчерашние рабы ходили сегодня довольные, но больше других были довольны старшие.

Сразу спал гнет, мучивший каждого из них. Они сознавали, что во многом были виноваты сами, и тем радостней было сознание, что они же помогли уничтожить сделанное ими зло.

Падение Слаенова совершилось быстро и неожиданно. Это была катастрофа, которой он и сам не ожидал. Сразу исчезли все доходы, сразу он стал беспомощным и жалким, но к этому прибавилось худшее: он не имел товарищей. Все отшатнулись от него, и даже Кузя, еще недавно стоявший перед ним на коленях, смотрел теперь на него с презрением и отвращением.

Через два дня из изолятора выпустили Савушку и сняли с него вину.

Школа, как один человек, встала на его защиту, а старшеклассники рассказали Викниксору о деяниях великого ростовщика.

Савушка, выйдя из изолятора, тоже поколотил Слаенова, а на другой день некогда великий, могучий ростовщик сам был заключен в изолятор, но никто не приходил к нему, никто не утешал его в заключении.

Еще через пару дней Слаенов исчез. Дверь изолятора нашли открытой. Замок был сорван, а сам Слаенов бежал из Шкиды.

Говорили, что он поехал в Севастополь, носились слухи, что он живет на Лиговке у своих старых товарищей-карманников, но все это были толки.

Слаенов исчез навсегда.

Так кончились похождения великого ростовщика – одна из тяжелых и грязных страниц в жизненной книге республики Шкид.

Долго помнили его воспитанники, и по вечерам «старички», сидя у печки, рассказывали «новичкам» бесконечно прикрашенные легенды

о деяниях великого, сказочного ростовщика Слаенова.

Стрельна трепещет

Первое мая.

Маленькую республику захлестнул поток звуков, знамен, людей и солнца.

С утра вокруг стен Шкиды беспрестанно перекатывались волны демонстрантов.

Никогда еще шкидцы не были так возбуждены. Они столпились у раскрытых окон и кричали демонстрантам «ура». Они сами хотели быть там и шагать рядами на площадь, но в этом году детей в демонстрацию почему-то не допустили.

Весна улыбалась первым маем. Первый май улыбался сайками. Белыми, давно не виданными сайками.

Их раздавали за утренним чаем. За обедом Викниксор сказал речь о празднике, потом шкидцы пели «Интернационал».

Вечером все от младшего до старшего ходили в город, смотрели иллюминацию, слушали музыку и толкались, довольные, в повеселевшей праздничной толпе.

Шкидцы радостно встретили весну, а еще радостней им стало, когда узнали, что губоно разыскало для своих питомцев дачу.

Когда окончательно стало известно, что для ребят отвоевана дача где-то в Стрельне и что пора переезжать, вся Шкида высыпала на улицу и наполнила ее воплем и гамом.

Переезжать нужно было трамвайным путем.

С утра мобилизованы были все силы.

Воспитанники вязали тюки белья, свертывали матрацы и переносили вниз кровати.

Ребята с рвением взялись за дело. Даже самые крохотные первоотделенцы прониклись важностью момента и работали не хуже больших.

– Эй, ты! – кричал маленький пузыреподобный Тырновский на своего товарища. – Куда край-то заносишь? Левей, левей. А то не пролезешь.

Они несли койку.

Внизу укладкой вещей занимались Янкель, Цыган и Япошка, а вместе с ними был граф Косецкий.

Граф Косецкий – халдей, но его молодость и чисто товарищеское отношение к ребятам сблизили с ним шкидцев. Графом Косецким его звали за спиной. Он был косым, отсюда и пошла эта кличка.

Завоевал Косецкий доверие у старших с первого дня.

Вот как это получилось.

Косецкий только что явился в школу и вечером стал знакомиться с учениками.

Сидели в классе. Косецкий долго распространялся о том, что он хороший физик и что он будет вести практические занятия.

– Это хорошо! – воскликнул в восторге Японец. – А у нас физических пособий до черта. Вон целый шкап стоит.

С этими словами он указал на шкаф, приютившийся в углу класса.

– Где? Покажите, – оживился Косецкий. Глаза его заблестели, и он кинулся к шкафу.

– Да он закрыт.

– Не трогайте, Афанасий Владимирович! Витя запретил его трогать!

Ребята сами испугались поведения Косецкого, а он, беспечно улыбаясь, говорил:

– Черт с ним, что ваш Витя запретил, а мы откроем и посмотрим.

– Не надо!

– Попадет, запоремся!

Однако Косецкий отвинтил перочинным ножичком скобу и, не тронув висячего замка, открыл шкаф.

Он вытащил динамо и стал с увлечением объяснять его действие.

В школе царила полная тишина.

Младшие классы уже спали, и только маленькая группа старшеклассников бодрствовала.

Ребята слушали объяснения, но сами тревожно насторожились, подстерегая малейший шорох.

Вдруг на лестнице стукнула дверь.

– Прячьте! Викниксор!

– Прячьте!

Динамо боком швырнули в шкаф, прикрыли дверь, едва успели всунуть винты и отскочили.

В класс вошел Викниксор.

Он делал свой очередной обход.

– А, вы еще здесь?

– Да, Виктор Николаевич. Договариваемся о завтрашних занятиях.

Сейчас пойдем спать.

– Пора, пора, ребята.

Викниксор походил несколько минут по комнате, почесал за ухом, попробовал пальцем пыль на партах и подошел спокойно к шкафу.

Ребята замерли.

Взоры тревожно впились в пальцы Викниксора, а тот пощупал машинально замок – и, по близорукости не разглядев до половины торчащих винтов, вышел.

Вздох облегчения вырвался сразу у всех из груди.

– Пронесло!

Потом, когда уже улеглись в кровати, Цыган долго восторгался:

– Ну и смелый этот Косецкий. Я – и то сдрейфил, а ему хоть бы хны.

После этого случая Косецкий прочно завоевал себе доверие среди старших и даже сошелся с ними близко, перейдя почти на товарищеские отношения.

И вот теперь он вместе с ребятами весело занимался упаковкой вещей. В минуты перерыва компания садилась на ступеньки парадной лестницы и задирала прохожих.

– Осторожней, гражданин. Здесь лужа.

– Эй, торговка, опять с лепешками вышла. Марш, а не то в милицию сведем! – покрикивал Цыган.

Косецкий сидел в стороне и насвистывал какой-то вальс, блаженно жмурясь на солнце.

Наконец там, наверху в школе, все успокоились.

Вещи, необходимые на даче, были перетащены вниз.

Дожидались только трамвая.

Прождали целый день. Викниксор звонил куда-то по телефону, ругался, но платформу и вагон подали лишь поздно вечером, когда в городе уже прекратилось трамвайное движение.

Спешно погрузились, потом расселись по вагону, и республика Шкид тронулась на новые места.

У Нарвских ворот переменили моторный вагон с дугой на маленький пригородный вагончик с роликом. Места в этом вагончике всем не хватило, и часть ребят перелезла на платформы.

Зажурчали колеса, скрипнули рельсы, и снова понеслись вагоны, увозя стадо молодых шпаргонцев.

На платформе устроились коммункой старшие. Сидели, и под тихий свист ролика следили за убегающими деревянными домиками заставы.

Уже проехали последнее строение на окраине города, некогда носившее громкое и загадочное название «Красный кабачок», и помчались среди зеленеющих полей.

Трамвай равномерно подпрыгивал на скрепах и летел все дальше без остановок.

Шкидцам стало хорошо-хорошо, захотелось петь. Постепенно смолк смех, и вот под ровный гул движения кто-то затянул:

Высоко над нивами птички поют,

И солнце их светом ласкает,

А я горемыкой на свет родился

И ласк материнских не знаю.

Пел Воробей. Песенка, грустная, тихая, тягучая, вплелась в мерный рокот колес.

Сердитый и злобный, раз дворник меня

Нашел под забором зимою,

В приют приволок меня, злобно кляня,

И стал я приютскою крысой.

Медленно-медленно плывет мотив, и вот уже к Воробью присоединился Янкель, сразу как-то притихший. Ему вторит Цыган.

Влажный туман наползает с поля. А трамвай все идет по прямым, затуманившимся рельсам, и остаются где-то сзади обрывки песни.

Я ласк материнских с рожденья не знал,

В приюте меня не любили,

И часто смеялися все надо мной,

И часто тайком колотили.

Притихли ребята. Даже Япончик, неугомонный бузила Япончик, притаился в уголке платформы и тоже, хоть и фальшиво, но старательно подтягивает.

Летят поля за низеньким бортом платформы, изредка мелькнет огонек в домике, и опять ширь и туман.

Уж лето настало, цветы зацвели,

И птицы в полянах запели.

А мне умереть без любви суждено

В приютской больничной постели.

Вдруг надоело скучать. Янкель вскочил и заорал диким голосом, обрывая тихий тенорок Воробья:

Солнце светит высоко,

А в канаве глубоко

Все течет парное молоко-о-о…

Сразу десяток глоток подхватил и заглушил шум трамвая. Дикий рев разорвал воздух и понесся скачками в разные стороны – к полю, к дачам, к лесу.

Сахар стали все кусать,

Хлеб кусманами бросать,

И не стали корочек соса-а-ать…

– Вот это да!

– Вот это дернули, по-шкидски по крайней мере!

Вагоны, замедляя ход, пошли в гору.

С площадки моторного что-то кричала Эланлюм, но ребята не слышали.

Ее рыжие волосы трепались по ветру, она отчаянно жестикулировала, но ветер относил слова в сторону. Наконец ребята поняли.

Скоро Стрельна.

После подъема Янкель вдруг вытянул шею, вскочил и дико заорал:

– Монастырь! Ребятки, монастырь!

– Ну и что ж такого?

– Как что? Ведь я же год жил в нем. Год! – умилялся Янкель, но,

заметив скептические усмешки товарищей, махнул рукой.

– Ну вас к черту. Если б вы понимали. Ведь монастырь. Кладбище, могилки. Хорошо. Кругом кресты.

– И покойнички, – добавил Япончик.

– И косточки, и черепушечки, – вторил ему, явно издеваясь над чувствительным Янкелем, Цыган – и так разозлил парня, что тот плюнул и надулся.

Трамвай на повороте затормозил и стал.

– Приехали!..

– Ребята, разгружайте платформу. Поздно. Надо скорее закончить разгрузку! – кричала Эланлюм, но ребята и сами работали с небывалым рвением.

Им хотелось поскорее освободиться, чтобы успеть осмотреть свои новые владения.

Втайне уже носились в бритых казенных головах мечты о далекой осени и о соблазнительной картошке со стрельнинских огородов, но первым желанием ребят было ознакомиться с окрестностями.

Однако из этого ничего не вышло. Весь вечер и часть ночи таскали воспитанники вещи и расставляли их по даче.

На рассвете распределили спальни и тут же сразу, расставив кое-как железные койки, завалились спать.

Дача оказалась славная. Ее почти не коснулись ни время, ни разруха минувших лет. Правда, местные жители уже успели, как видно, не один раз навестить этот бывший графский или княжеский

особняк, но удовольствовались почему-то двумя – тремя снятыми дверьми, оконными стеклами да парой медных ручек. Все остальное было на месте, даже разбитое запыленное пианино по-прежнему украшало одну из комнат.

К новому месту шкидцы привыкли быстро. Дача стояла на возвышенности; с одной стороны проходило полотно ораниенбаумского трамвая, а с трех сторон были парк и лес, видневшийся в долине.

Рядом находился пруд – самое оживленное место летом. С утра до позднего вечера Шкида купалась. Иногда и ночью, когда жара особенно донимала и горячила молодые тела, ребята крадучись, на цыпочках шли на пруд и там окунались в теплую, но свежую воду.

Викниксор и здесь попытался ввести систему. С первых же дней он установил расписание. Утром гимнастика на воздухе, до обеда уроки, после обеда купание, вольное время и вечером опять гимнастика.

Но из этого плана ничего не вышло.

Прежде всего провалилась гимнастика, так как на летнее время, в целях экономии, у шкидцев отобрали сапоги, а без сапог ребята отказывались делать гимнастику, ссылаясь на массу битых стекол.

Уроки были, но то и дело к педагогам летели просьбы:

– Отпустите в уборную.

– Сидеть не могу.

Стоило парня отпустить, как он уже мчался к пруду, сбрасывал на ходу штаны и рубаху и купался долго, до самозабвения.

Лето, как листки отрывного календаря, летело день за днем, быстро-быстро.

Как-то в жаркий полдень, когда солнце невыносимо жгло и тело и лицо, Янкель, Японец и Воробей, забрав с собой ведро воды, полезли на чердак обливаться.

Но на чердаке было душно. Ребята вылезли на крышу и здесь увидели загоравшую на вышке немку.

– А что, ребята? Не попробовать ли и нам загорать по Эллушкиному методу? А? – предложил Янкель.

– А давайте попробуем.

Ребята, довольные выдумкой, моментально разделись и улеглись загорать.

– А хорошо, – лениво пробормотал Воробей, ворочаясь с боку на бок.

– И верно, хорошо, – поддержали остальные.

Их примеру последовали другие, и скоро самым любимым занятием шкидцев стало загорать на вышке.

Приходили в жаркие дни и сразу разваливались на горячих листах железной крыши.

Скоро, однако, эти однообразные развлечения стали приедаться воспитанникам.

Надоело шляться с Верблюдычем по полям, слушать его восторженные лекции о незабудках, ловить лягушек и червяков, надоело тенями ходить из угла в угол по даче и даже купаться прискучило.

Все больше и больше отлеживались на вышке. Младшие еще находили себе забавы, лазили по деревьям, катались на трамвае, охотились с рогатками на ворон, но старшие ко всему потеряли интерес и жаждали нового.

Когда-то в городе, сидя за уроками, они предавались мечтам о теплом лете, а теперь не знали, как убить время.

– Скучно, – лениво тянул Японец, переворачиваясь с боку на бок под жгучими лучами солнца.

– Скучно, – подтягивали в тон ему остальные. Все чаще и чаще собирались на вышке старшие и ругали кого-то за скуку.

А солнце весело улыбалось с ярко-синего свода, раскаляло железную крышу и наполняло духотой, скукой и ленью притихшую дачу.

– Ску-учно, – безнадежно бубнил Японец.

…Вечерело. Сизыми хлопьями прорезали облачка красный диск солнца. Начинало заметно темнеть. Со стороны леса потянуло сыростью и холодом. Шкидцы сидели на вышке и, притихшие, ежась от ветерка, слушали рассказы Косецкого о студенческой жизни.

– Бывало, вечерами такие попойки задавали, что небу жарко становилось. Соберемся, помню; сперва песни разные поем, а потом на улицу…

Голос Косецкого от сырости глуховат. Он долго с увлечением рассказывает о фантастических дебошах, о любовных интрижках, о веселых студенческих попойках. Шкидцы слушают жадно и только изредка прерывают речь воспитателя возгласами восхищения:

– Вот это здорово!

– Ай да ребята!

Сумерки сгустились. Внизу зазвенел колокольчик.

– Тьфу, черт, уже спать! – ворчит Воробей.

Ребята зашевелились. Косецкий тоже нехотя поднялся. Сегодня он дежурил и должен был идти в спальни укладывать воспитанников. Но спать никому не хотелось.

– Может, посидим еще? – нерешительно предложил Янкель, но халдей запротестовал:

– Нет, нет, ребята! Нельзя! Витя нагрянет, мне попадет! Идемте в спальню. Только дайте закурить перед сном.

Ребята достали махорку, и, пока Косецкий свертывал папиросу, они один за другим спускались вниз.

– Вы к нам заходите, в спальню побеседовать, когда младших уложите, – предложил Громоносцев.

– Хорошо, забегу

Уже внизу, в спальне, ребята, укладываясь, гуторили между собой:

– Вот это парень!..

Последнее время Косецкий особенно близко сошелся со старшими. Они вместе курили, сплетничали про зава и его помощницу. Теперь ребята окончательно приняли в свою компанию свойского Косецкого и даже не считали его за воспитателя.

Ночь наступила быстро. Скоро стало совсем темно, а ребята еще лежали и тихо разговаривали. Косецкий, уложив малышей, пришел скоро, сел на одну из кроватей, закурил и стал делиться с ребятами

планами своей будущей работы.

– Вы, ребята, со мной не пропадете. Мы будем работать дружно. Вот скоро я свяжусь с обсерваторией, так будем астрономию изучать.

– Бросьте! – лениво отмахнулся Японец.

– Что это бросьте? – удивился Косецкий.

– Да обсерваторию бросьте.

– Почему?

– Да все равно ничего не сделаете, только так, плешь наводите. Уж вы нам много чего обещали.

– Ну и что ж? Что обещал, то и сделаю! Я не такой, чтобы врать. Сказал – пойдем, и пойдем. Это же интересно. Будем звездное небо изучать, в телескопы посмотрим…

– Есть что-то хочется, – вдруг со вздохом проговорил все время молчавший Янкель и, почему-то понюхав воздух, спросил Косецкого:

– А вы хотите, Афанасий Владимирович?

– Чего?

– Да шамать!

– Шамать-то… шамать… – Косецкий замялся. – Признаться, ребятки, я здорово хочу шамать. А что? Почему это ты спросил? – обратился он к Янкелю, но тот улыбнулся и неопределенно изрек, обращаясь неизвестно к кому.

– И это жизнь! Хочешь угостить дорогого воспитателя плотным обедом – и нельзя.

– Почему? – оживился Косецкий.

– Собственно, угостить, пожалуй, можно… но… – робко

пробормотал Японец.

– Но требуется некоторая ловкость рук и так далее, – закончил Янкель, глядя в потолок.

– Ах, вот в чем дело! – Косецкий понял. – А где же это?

– Что?

– Обед.

– Обед на кухне!

Потом вдруг все сразу оживились. Обступили плотной стеной Косецкого и наперебой посвящали его в свои планы.

– Поймите, остаются обеды… Марта их держит в духовой… Сегодня много осталось. Спальня сыта будет, и вы подкормитесь. Все равно до завтра прокиснет… А мы в два счета, только вы у дверей на стреме постойте…

Косецкий слушал, трусливо улыбаясь, потом захохотал и хлопнул по плечу Громоносцева.

– Ах, черти! Ну, валите, согласен!

– Вот это да! Я же говорил, – захлебывался Янкель от восторга, – я же говорил: вы не воспитатель, Афанасий Владимирович, а пройдоха первостатейный.

Налет проводили организованно. Цыган, Японец и Янкель на цыпочках пробрались на кухню, а Косецкий прошел по всем комнатам дачи и, вернувшись, легким свистом дал знать, что все спокойно.

Тотчас все трое уже мчались в спальню, кто со сковородкой, кто с котлом.

Ели вместе из одного котла и тихо пересмеивались.

– Хе-хе! С добрым утром, Марта Петровна! За ваше здоровье!

– Хороший суп! Солидно подсадили куфарочку нашу, – отдуваясь, проговорил Косецкий, а Воробышек, деловито оглядев посудину, изрек:

– Порций двенадцать слопали.

Нести котлы обратно не хотелось, и лениво развалившийся после сытного обеда Косецкий посоветовал:

– Швырните в окно, под откос.

Так и сделали.

Сытость располагает к рассуждениям, и вот Янкель, кувырнувшись на кровати, нежно пропел:

– Кто бы мог подумать, что вы такой милый человек, Афанасий Владимирович, а я-то, мерзавец, помню, хотел вам чернил в карман налить.

– Ну вот. Разве можно такие гадости делать своему воспитателю? – улыбнулся благодушно Косецкий, но Япончик захохотал.

– Да какой же вы воспитатель?

– А как же? А кто же?

– Ладно! Бросьте арапа заправлять!

Косецкий обиделся.

– Ты, Еонин, не забывайся. Если я с вами обращаюсь по-товарищески, то это еще не значит, что вы можете говорить все, что вздумается.

Теперь захохотала вся спальня.

– Хо-хо-хо!

– Бросьте вы, Афанасий Владимирович. – Воспитатель! Ха-ха-ха! Вот жук-то!

А Япошка уже разошелся и, давясь от смеха, проговорил:

– Не лепи горбатого, Афоня. Да где же это видано, чтобы воспитатель на стреме стоял, пока воспитанники воруют картошку с кухни! Хо-хо-хо!

Косецкий побледнел. И, вдруг подскочив к Японцу, схватил его за шиворот:

– Что ты сказал? Повтори!

Япошка, под общий хохот, бессильно барахтаясь, пробовал увильнуть:

– Да я ничего!..

– Что ты сказал? – шипел Косецкий, а спальня, принявшая сперва выходку воспитателя за шутку, теперь насторожилась.

– Что ты сказал?

– Больно! Отпустите! – прохрипел Японец, задыхаясь, и вдруг, обозлившись, уже рявкнул: – Пусти, говорю! Что сказал? Сказал правду! Воруешь с нами, так нечего загибаться, а то распрыгался, как блоха.

– Блоха? А-а-а! Так я блоха?.. Ну хорошо, я вам покажу же! Если вы не понимаете товарищеского отношения, я вам покажу!.. Молчать!

– Молчим-с, ваше сиятельство, – почтительно проговорил Громоносцев. – Мы всегда-с молчим-с, ваше сиятельство, где уж нам разговаривать…

– Молчать!!! – дико взревел халдей. – Я вам покажу, что я воспитатель, я заставлю вас говорить иначе. Немедленно спать, и

чтобы ни слова, или обо всем будет доложено Викниксору!

Дверь хрястнула, и все стихло.

Спальня придушенно хохотала, истеричный Японец, задыхаясь в подушке, не выдержал и, глухо всхлипывая, простонал:

– Ох! Не могу! Уморил Косецкий!

Вдруг дверь открылась, и раздался голос халдея:

– Еонин, завтра без обеда.

– За что? – возмутился Японец.

– За разговоры в спальне.

Дверь опять закрылась. Теперь смеялась вся спальня, но без Еонина. Тому уже смешно не было.

Минут через пять, когда все успокоились, Цыган вдруг заговорил вполголоса:

– Ребята, Косецкий забузил, поэтому давайте переменим ему кличку, вместо графа Косецкого будем звать граф Кособузецкий!

– Громоносцев, без обеда завтра! – донеслось из-за двери, и тотчас послышались удаляющиеся шаги.

– Сволочь. У дверей подслушивал!

– Ну и зараза!

– Сам ворует, а потом обижается, ишь гладкий какой, да еще наказывает!

– Войну Кособузецкому! Войну!

Возмущение ребят не поддавалось описанию. Было непонятно, почему вдруг халдей возмутился, но еще больше озлобило подслушивание у дверей.

Подслушивать даже среди воспитанников считалось подлостью, а тут вдруг подслушивает воспитатель.

– Ну, ладно же. Без обеда оставлять, да еще легавить! Хорошо же. Попомнишь нас, Косецкий. Попомнишь, – грозился озлобленный Цыган.

Тут же состоялось экстренное совещание, на котором единогласно постановили: с утра поднять бузу во всей школе и затравить Косецкого.

– Попомнишь у нас! Попомнишь, Кособузецкий!..

Спальня заснула поздно, и, засыпая, добрый десяток голов выдумывал план мести халдею.

* * *

Резкий звонок и грозный окрик «вставайте» сразу разбудил спальню старших.

– Если кто будет лежать к моему вторичному приходу, того без чаю оставлю! – выкрикнул Косецкий и вышел.

– Ага. Он тоже объявил войну, – ухмыльнулся Янкель, но не стал ожидать «вторичного прихода» халдея, а начал поспешно одеваться. Однако почти половина спальни еще лежала в полудремоте, когда вновь раздался голос Косецкого.

Он ураганом ворвался в спальню и, увидев лежащих, начал свирепо сдергивать одеяла, потом подлетел к спавшему Еонину и стал его трясти:

– Еонин, ты еще в кровати? Без чаю!

Япончик сразу проснулся. Он хотел было вступить в спор с халдеем, но того уже не было.

– Без чаю? Ну ладно! Мы тебе так испортим аппетит, что у тебя и обед не полезет в рот, – заключил он злорадно.

Спальня была возбуждена. Лишь только встали, сейчас же начали раскачивать сложную машину бузы.

Воробей помчался агитировать к младшим, те сразу же дали согласие. Главные агитаторы – Янкель, Японец и Цыган – отправились в третье отделение и скоро уже выступали там с успехом.

Война началась с утреннего умывания.

Косецкий стоял на кухне и отмечал моющихся в тетрадке.

Вдруг со стороны столовой показалась процессия. Шло человек пятнадцать, вытянувшись в длинную цепочку. Они бодро махали полотенцами.

Потом ребята стали важно проходить мимо халдея, выкрикивая по очереди:

– Здрав–

– ствуйте,

– Афа–

– насий

– Влади–

– мирович,

– граф

– Ко–

– со–

– бу–

– зецкий! – смачно закончил последний.

Халдей оторопел, дернулся было в расчете поймать виновника, но, вспомнив, что бузит не один, а все, сдержался и ограничился предупреждением:

– Если это повторится, весь класс накажу.

В ответ послышалось дружное ржание всех присутствующих:

– О-го-го! Аника-воин!

– Подожди. Заработаешь!

Несмотря на эти угрозы, Косецкий не отступился от своего. Еонин остался без чаю, и это еще больше озлобило ребят. Они начали действовать.

День выдался хороший. Солнце пекло как никогда, но у пруда стояло затишье. Обычного купания не было. Зато у перелеска царило необычайное оживление.

Проворные шкидцы карабкались по дубовым стволам за желудями, сбивали их палками, каменьями и чем только было можно.

Тут же внизу другая партия ползала по земле и собирала крепкие зеленые ядра в кепки, в наволочки и просто в карманы.

Зачем готовились такие запасы желудей, выяснилось немного позже.

Косецкий, довольный внезапной тишиной в школе, решил, что ребята успокоились. Откровенно говоря, он ожидал длительной и тяжелой борьбы и был чрезвычайно удивлен и обрадован, что все так скоро кончилось.

Тихо посвистывая, он вышел во двор, прошел к пруду и сел на берегу, жмурясь под ярким солнцем.

Ему вдруг захотелось выкупаться.

Недолго думая, он тут же разделся и бросился в воду.

Свежая влага приятно холодила тело. Косецкий доплыл до середины пруда и, как молодой, резвящийся тюлень, окунулся, стараясь достать до дна.

Наконец он решил, что пора вылезать, и повернул к берегу.

Вдруг что-то с силой стукнуло его по затылку. Боль была как от удара камнем. Косецкий оглянулся, но вокруг было все спокойно и неподвижно. Тут взор его упал на качающийся на поверхности воды маленький желтенький желудь.

«Желудем кто-то запустил», – подумал халдей, но новый удар заставил его действовать и думать быстрее.

Он поплыл к берегу.

Щелк. Щелк. Сразу два желудя ударили его в висок и в затылок. Положение становилось критическим.

«Нужно поскорее одеться. Тогда можно будет изловить негодяев», – подумал Косецкий. Однако размышления его прервал новый удар в висок, настолько сильный, что желудь, отлетев от головы, вдруг запрыгал по воде, а сам Косецкий пробкой выскочил на берег.

По-прежнему кругом стояла мертвая тишина.

– Погодите же! – пробормотал Косецкий и бросился к кустику, за которым лежало белье.

– О, черт!

Раз за разом в спину ему ударилось пять или шесть крепких как камень желудей.

«Скорей бы одеться», – подумал воспитатель, добежав до куста, и вдруг холодная дрожь передернула его тело.

Белья за кустом не было.

Косецкий, вне себя от ярости, огляделся вокруг, все еще не веря, что одежда его пропала.

Он остановился, беспомощный, не зная, что делать. Он чувствовал, что на него глядят откуда-то десятки глаз, наблюдают за ним и смеются.

Как бы в подтверждение его мысли, где-то поблизости прокатилось сатанинское злорадное гоготанье, и новый желудь шлепнулся в плечо халдея.

Теперь он понял, что началось сражение, исход которого будет зависеть от выдержки и стойкости той или другой стороны.

Лично для него начало не предвещало ничего хорошего.

Белья не было. Косецкий ужаснулся. Ведь он был беспомощен перед своими врагами. А между тем желуди все чаще и чаще свистели вокруг него.

Тогда халдей лихорадочно бросился искать белье. Он обшарил соседние кусты, стараясь не высовываться из-за зелени, служившей ему прикрытием, но белья не было. В отчаянии он выпрямился, но тотчас же снова присел. Добрый десяток желудей, как пули из пулемета, посыпались ему в спину.

Косецкому было и больно, и стыдно. Он, воспитатель, принужден сидеть нагишом и прятаться от мстительных воспитанников. Он знал, что так просто они его не отпустят.

Теперь он желал только одного: разыскать белье. Напрасно шарили глаза вокруг, белья не было. И вдруг радостный крик. Косецкий увидел белье, но уже в следующее мгновение он разразился проклятием:

– Сволочи! Негодяи!

Белье, сияя своей белизной, тихо покоилось на высоченном дереве.

«Что делать?!»

Ведь если лезть на дерево, то его закидают желудями, а палкой не достать. Чуть не плача, но полный решимости, он пополз по стволу. Но едва только выпрямился, как снова тело обожгли удары.

Бессознательно, руководимый только чувством самосохранения, Косецкий снова присел и услышал торжествующий рев невидимых врагов.

«А-а-а, смеются!»

Вопль отчаяния и злобы невольно вырвался из горла, и уже в следующее мгновение халдей, с решимостью осужденного на смерть, полез на дерево, осыпаемый желудями.

Кора до боли царапала тело, два раза желуди попадали в лоб и причиняли такую боль, что халдей невольно закрывал глаза и приостанавливал путешествие, но потом, собравшись с силами, лез дальше.

Наконец он у цели.

Обратно Косецкий не слез, а как-то бессильно сполз, поцарапав при этом грудь и руки, но удовлетворенный победой.

Однако с бельем ему еще пришлось помучиться. Рукава нижней рубашки и штанины кальсон оказались намоченными и туго завязанными узлом.

На шкидском языке это называлось «сухариками», и Косецкий долго работал и руками и зубами, пока удалось развязать намокшие концы.

Наконец он оделся и вышел на берег, ожидая нового обстрела, но на этот раз вокруг было тихо.

Вне себя от обиды и злобы халдей помчался на дачу, решив немедленно переговорить с заведующим, но и здесь его постигла неудача: Викниксор уехал в город.

Проходя по комнатам, Косецкий ловил насмешливые взгляды ребят и сразу угадал, что все они только что были свидетелями его позора.

Подошел обед, и здесь халдей вновь почувствовал себя в силе. Громоносцев, Еонин и еще пять – шесть воспитанников были лишены обеда.

После обеда шкидцы устроили экстренное собрание и, глубоко возмущенные, решили продолжать борьбу.

Теперь Косецкий, наученный горьким опытом, никуда не отлучался с дачи, но это не помогло. Снова началась бомбардировка. Стоило только ему отвернуться, как в спину его летел желудь. Он был

бессилен и нервничал все больше и больше, а тут, как бы в довершение всех его невзгод, со всех сторон слышалась только что сочиненная ребятами песенка:

На березу граф Косецкий
Лазал с видом молодецким,
Долго плакал и рыдал,
Все кальсоны доставал.

Напрасно Косецкий метался, стараясь отыскать уголок, где можно было бы скрыться, везде его встречали желуди и песенка, песенка и желуди.

Он решил наконец отсидеться в воспитательской комнате и помчался туда. Вдруг взгляд его приковала стена.

На стене у входа в воспитательскую висел тетрадочный развернутый лист бумаги, вверху которого красовалось следующее:

Бузовик

Стенная газета

Орган бузовиков республики Шкид

Экстренный выпуск по поводу

косых направлений в Шкиде

Дальше замелькали названия: «Граф Косецкий», «Сенсационный роман», «Купание в пруду», «Долой графов».

В глазах халдея потемнело. Он сорвал листок с твердым намерением показать его Викниксору.

В комнате воспитателей Косецкого ожидал новый сюрприз.

Едва он открыл дверь, как прислоненная к косяку щетка и надетый на нее табурет с грохотом обрушились ему на голову.

Косецкий не выдержал. Слезы показались у него на глазах, и, повалившись на кровать, он громко зарыдал.

Скоро по Шкиде пронеслась весть: с Косецким истерика.

Янкель и Япошка – редакторы первой шкидской газеты «Бузовик» – приостановили работу на половине, не докончив номера.

Настроение сразу упало.

– Косецкий в истерике.

– Что-то будет?

Ребята ожидали грозы, но ничуть не боялись ее. Они чувствовали себя правыми.

Явилась Эланлюм.

– Что у вас вышло с Афанасием Владимировичем? – грозно спросила она, но, когда узнала, что Косецкий сам вел себя не лучше ребят, предложила замять всю историю и не доводить до сведения Викниксора.

На этом и порешили. Ребята выслали делегацию к халдею, и они помирились. До Викниксора дошел только маленький скомканный листок газеты «Бузовик».

* * *

На другой день Янкелю и Японцу сообщили, что их зовет Викниксор.

Прежде чем пойти к заву, ребята перебрали в уме все свои проступки за неделю и, не найдя ничего страшного, кроме замятого скандала с Косецким, бодро отправились в кабинет.

– Можно войти?

– Войдите. А, это вы!

Викниксор сидел в кресле. В руках он держал номер «Бузовика».

Ребята переглянулись и замерли.

– Ну, садитесь. Поговорим.

– Да мы ничего, Виктор Николаевич. Постоим. – Янкель тревожно вспоминал все ругательства по адресу Косецкого, которыми был пересыпан текст «Бузовика».

– Так вот, ребята, – начал Виктор Николаевич. – Я, как видите, имел возможность прочесть вашу газету. На мой взгляд, в ней один недостаток: она пахнет бульварщиной. Она груба, хотя, говоря откровенно, в ней есть немало и остроумного.

Викниксор вслух перебрал ряд удачных и неудачных заметок и, увлекшись, продолжал:

– Почему бы вам в самом деле не издавать настоящей, хорошей школьной газеты? Видите ли, я сам в свое время пробовал натолкнуть ребят на это и даже выпустил один номер газетки «Ученик», но воспитанники не отозвались, и газета заглохла. Вы, я вижу, интересуетесь этим, а поэтому валите-ка, строчите. Название, разумеется, надо переменить. Ну… ну… хотя бы «Зеркало»… и с эпиграфом можно: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

– Мы-то уж давно хотели, – вставил Японец.

– Ну, а коли хотели, то и делайте. Я даже рад буду, – закончил Викниксор.

Через четверть часа газетчики вышли из кабинета, нагруженные бумагой, чернилами, тушью, перьями, карандашами и красками.

Все случившееся было так неожиданно, что только у дверей спальни ребята опомнились и сообразили, в чем дело.

– Здорово вышло! – воскликнул восхищенный Янкель.

– Да, – протянул Япончик. – Ожидали головомойки, а получили поощрение…

На другой день на вышке готовился первый номер шкидской школьной газеты «Зеркало». Янкель, подложив под лист папку, разрисовывал заголовок. Япончик писал передовицу «от редакции». На краю крыши сидел согнувшись Цыган, вызвавшийся редактировать отдел шарад и ребусов. Тут же, впав в поэтический транс, Воробей строчил стихи о закате солнца – «На горизонте шкидской дачи…»

Покончив с заголовком, Янкель уселся рядом с Японцем, и вдвоем они принялись за составление стихотворной передовицы, в которой нужно было изложить программу нового органа.

Стишки были слабые, но начинающих стенгазетчиков они вполне устраивали, и поэтому Янкель немедля стал переписывать их в колонку стенгазеты.

Первый номер «Зеркала» вышел на другой день утром.

Редколлегия была в восторге и все время вертелась около толпы читающих шкидцев. Повесили номер в столовой. За обедом Викниксор в своей обычной речи отметил новый этап в жизни школы – появление

«Зеркала», – передал привет сияющим редакторам и пожелал им дальнейших успехов.

Стенгазета понравилась всем, но больше всего Янкелю. Тот раз десять подкрадывался к ней, с тайным удовлетворением перечитывая свои стихи:

Наша «Зеркало»-газета –
Орган школы трудовой,
В ней хотим ребят потешить,
Показать наш быт простой.

Успех первого номера окрылил редакцию, и скоро выпорхнул номер второй, уже более обширный и более богатый материалами, за ним третий, четвертый.

Так из бузы, из простой шалости родилось здоровое начинание.

А лето незаметно меняло краски.

Уже предательски поблескивали робкие желтенькие листики на деревьях, и темными, слишком темными становились ночи.

К шкидской даче неслышно подкрадывалась осень…

* * *

Однажды случилась заминка с продуктами. То ли в складе оказалась недостача, то ли с ордерами запоздали, но следствием этого явилось резкое сокращение и так уже незначительного пайка.

Перестали совершенно выдавать к обеду хлеб, а вечернюю порцию сократили с четверти фунта до осьмушки.

Шкида погрузилась в уныние. Такой паек не предвещал ничего

хорошего; к тому же, по слухам, увеличение предвиделось не скоро.

«Зеркало», развернувшееся к этому времени в газету большого формата, забило тревогу. Появились запросы, обращения к педагогическому совету с приглашением осветить через газету причину недостатка продуктов.

Викниксор вызвал редакторов и имел с ними по этому поводу беседу, результатом которой явилась большая статья-интервью, которая никого не насытила.

Шкидцев охватила паника, но, пока третье и четвертое отделения ломали головы, ища выхода, первое и второе уже нашли его и втихомолку блаженствовали.

Выход был прост. Подходила осень, по соседству находились огромные стрельнинские огороды, в которых поспевал картофель. Огороды почти не охранялись, и проныРливым малышам ничего не стоило устраивать себе ужин из печеного, вареного и даже жареного картофеля. Для этого ходившие в отпуск выклянчивали дома и привозили в Шкиду – кто жир, кто жировар, а кто и настоящее коровье масло.

Скоро примеру младших последовали и старшие.

Паломничество в чужие огороды росло и ширилось, пока не охватило всю школу.

Прекратились сразу жалобы на скверный паек, на жидкий суп, потому что картошка, хорошая, розовая, молодая картошка, насытила всех.

Жидкий суп становился густым, как только его разливали по

тарелкам. Печеная картошка сыпалась в тощий тресковый бульон, и получалось довольно приличное питательное блюдо.

На даче печек не топили, топилась только плита, но вокруг было так много густых перелесков, что в печках нужды и не чувствовалось.

Лишь только солнце переставало светить и, побледневшее, окуналось в дымчатые дали горизонта, вокруг шкидской дачи вместе с поднимающимся туманом со всех сторон выпархивали узенькие, сизоватые струйки прозрачного дыма.

Они рождались где-то там внизу, в лесу, у выдолбленных старых пней и высохшей травы.

Маленькие костры весело мигали, шипели сырыми сучьями и манили продрогших в сыром тумане ночных похитителей стрельнинской картошки.

Те приходили партиями, выгружали добычу и пекли в золе круглые катышки, приносящие довольство и сытость.

С дачи эти дымки в долине были хорошо видны, но первое время на них не обращали внимания, пока однажды Викниксор, выглянув из окна кабинета, не обнаружил возле этих дымящихся костров движение каких-то загадочных существ и не отправился исследовать это таинственное явление.

Загадочные существа в лесу вовремя заметили его длинную фигуру и в панике скрылись в чащу, а он нашел только десятка полтора костров и горы сырой и печеной картошки. Вызвав воспитанников, Викниксор велел им перенести все найденное картофельное богатство в кладовую для общего котла, а сам остался

тушить костры.

Потом он вернулся на дачу, заперся у себя в кабинете и задумался.

Собственно, думать много не пришлось. Ясно было, что костры разводили воспитанники для того, чтобы печь картошку, которую они же воровали с огородов.

Надо было принять меры.

Викниксор вызвал прежде всего Янкеля и Япончика, как представителей печати, и предложил им начать кампанию в «Зеркале» против воровства, но «печать» скромно потупила очи, и последующие номера газеты ни словом не заикнулись о картошке.

Тогда завшколой сам сказал нужное слово. Он предупредил воспитанников коротко и веско:

– Кто попадется в краже картошки с чужих огородов, тот немедленно переводится в лавру.

Угроза подействовала. Картошки стали воровать меньше, но зато ударились в близлежащие огороды за репой и брюквой.

Скоро разыгрался крупный скандал.

Пришли жаловаться. Сначала пришел один огородник, за ним второй… В общей сложности за три дня к Викниксору явилось шесть делегаций с категорическим требованием обуздать учеников

Викниксор издал вторичный приказ по школе, еще более грозный, и запугивал шкидцев до отказа.

То тут, то там стали раздаваться голоса:

– Ну ее к черту, эту картошку!

– Еще запорешься!

Правда, еще находились смельчаки, которые по-прежнему ходили на отхожие промыслы, но благоразумные постепенно отставали.

– Ша! Бросаем, пока не влопались.

Так же говорили Янкель и Япончик:

– Довольно. С завтрашнего дня ни одной картошки с чужих огородов. А сегодня… Сегодня надо сходить в последний раз.

И пошли.

Было это после обеда.

День выдался пасмурный и холодный. Только что прошел дождь, и трава была сырая, леденящая. Но Янкеля и Японца это не остановило.

Захватили по наволочке с подушек, решив набрать побольше.

Вышли на трамвайную линию и зашагали по шпалам.

Япончик ругался и подпрыгивал, согревая посиневшие ноги.

– Черт! В такую погоду – да картошку копать.

– Ничего не поделаешь. Последний раз, – успокаивал его Янкель.

Наконец пришли к цели. Огород был большой и знакомый. Стенгазетчики уже привыкли к нему, так как оттуда они не раз таскали картошку. С минуту ребята постояли на дороге, оглядываясь и набираясь сил, потом Янкель нагнулся и юркнул в ботву. За ним последовал Японец.

Сразу же оба выругались. Действительность превзошла все ожидания. Дождь оставил заметный след: в грядах стояли лужи,

глинистая земля превратилась в липкую кашу.

Зато копать было легко. Прямо руками дергали ребята мокрую ботву, и она покорно вылезала вместе с целым гнездом картошки.

Работали молча, изредка вполголоса перекликаясь, чтобы не терять друг друга из виду, и наконец, когда наволочки вздулись до отказа и не могли больше вместить ни одной картофелины, ребята выползли на дорогу. Но тут, взглянув друг на друга, они не на шутку испугались. Чистенькие белые рубашки стали серыми от глины.

– Здорово обработались, – сокрушенно проговорил Янкель, но Япошка только свирепо взглянул на него и дал знак отправляться обратно.

Подходили к даче.

– Как бы не засыпаться! Мимо Витиных окошек идти надо. – предупредил Янкель, но Японец и тут проявил беззаботность.

– Пустяки. Он слепой. Не заметит.

Ребята благополучно дошли до веранды, как вдруг в дверях показался Викниксор.

Оба редактора юркнули под веранду и притаились.

Шаги приближались.

– Не заметил, – успокоил себя дрожащий Японец и вдруг сжался.

– Еонин! Вылезай немедленно! – раздался окрик сверху.

Оба молчали.

– Еонин! Ну живей!.. Кому я говорю!

– Вылезай, Япошка, – забеспокоился Янкель. – Запоролись, вылезай.

Тщедушное тельце Япончика показалось на свет, и, виновато моргая, он остановился перед Викниксором.

– А картошка где? – грозно спросил заведующий.

– Какая картошка?

– Доставай картошку, каналья! – заревел гневно Викниксор.

От слова до слова все это слышал Янкель, и, дрожа всем телом, он стал поспешно отсыпать картошку из наволочки; в голове его тем временем проносились мысли одна другой ужаснее.

«Засыпались… Позор… В лавру отправят… Прощай, Стрельна… Прощай, Шкида… и прощай… прощай, газета «Зеркало»!..

– Доставай картошку! – гремело наверху.

Потом Янкель услышал непривычно тихий голос Япончика:

– Сейчас, Виктор Николаевич. – И сам Еонин показался перед щелью. Янкель молча сунул ему в руки наполовину опустошенную наволочку, и тот полез обратно.

Наверху завозились, и две пары ног, дробно отстукивая по настилу веранды, удалились.

Янкель осторожно вылез и огляделся. В таком грязном виде идти в школу нельзя. Надо было вымыться и выстирать рубаху. Дрожа от холода, он помчался к пруду, скинул белье и стал стирать его, потом тщательно выжал и надел. От мокрой рубахи стало еще холодней. Зубы выбивали барабанную дробь. Янкель побегал, чтобы согреться и обсушить белье на теле, потом постарался придать себе беззаботный вид и, насвистывая, направился к даче.

У дверей его встретили ребята и предупредительно насовали в

руки желудей.

– Скажи, что желуди собирал. Витя искал тебя.

Однако желуди не понадобились. Лишь только он пришел в столовую, на него наскочили воспитатели.

– Черных, в спальню немедленно.

– Зачем?

– Иди, не разговаривай.

В спальне сидел Викниксор. При виде Янкеля он нахмурился.

– Раздевайся и ложись.

Янкель не понял, зачем он должен ложиться, но понял, что запирательства не помогут.

– Где наволочка?

– Сейчас принесу, Виктор Николаевич.

Вместе с картошкой появилась на свет и грязная, замусоленная наволочка.

Потом редакторов раздели, попросту отняли штаны, заставив их таким образом лежать в кроватях под домашним арестом.

Летом это было очень тяжелым наказанием, но теперь на дворе уже бродила осень, и наказание подействовало мало.

Много передумали Японец и Янкель, лежа в кроватях. Днем к ним забегали и сообщали последние новости:

– Вас в лавру направляют!

– Викниксор выхлопатывает сопроводительные документы!

Новости были одна печальнее другой, и парочка приуныла. Потом постепенно к мысли об уходе привыкли. Горе стало казаться

привычным, и преступники уже перестали считать себя шкидцами.

На третий или четвертый день ожидания Янкель предложил:

– Давай выпустим прощальный номер «Зеркала».

Японец согласился.

Нелегко было делать последнюю газету.

Японец написал забавный фельетон под названием «Гроза огородов». Читая, оба смеялись над злополучными похождениями двух бандитов, а когда прочли, задумались. Грустно стало.

Фельетон пустили гвоздем номера. Это было своевременно. Вопрос о переводе Янкеля и Японца был злободневным вопросом, и вопросом спорным. На педагогическом совете мнения разделились. Одни стояли за перевод ребят в лавру, другие за оставление.

Янкель украсил фельетон карикатурами, потом написал грустное лирическое стихотворение – описание осени. Принес стихотворение и Финкельштейн – Кобчик, – недавно появившийся, но уже знаменитый в Шкиде поэт.

Прибавили ряд заметок, и наконец прощальный номер вышел.

Об отъезде в газете не было ни слова, но номер вышел на этот раз невеселый.

Наконец наступил последний день.

Янкелю и Японцу выдали белье и велели собираться. Серое, тусклое утро стояло за окном, накрапывал дождь, но когда одетые в пальто и сапоги ребята уложили свои пожитки и вышли на веранду, вся Шкида дожидалась их там.

Ребята попрощались.

Вышел Викниксор, сухо бросил:

– Пошли.

Вот уже и Петергофское шоссе. Блестят влажные трамвайные рельсы. В последний раз оглянулись ребята на дачу, где оставили своих товарищей, халдеев и – «Зеркало», любимое детище, взращенное их собственными руками…

Сели в трамвай.

Всю дорогу Викниксор молчал.

У Нарвских ворот ребята вылезли, ожидая дальнейших распоряжений.

Викниксор, не глядя на них, процедил:

– Зайдем в школу.

Пошли по знакомым улицам. В городе осень чувствовалась еще больше. Панели потемнели от дождя и грязи, с крыш капала вода, хотя дождя уже не было.

Показалось знакомое желтое здание Шкиды. Сердца у ребят екнули.

Они прошли двор, поднялись по лестнице во второй этаж.

Дверь открыл дворник.

Шаги непривычно гулко отдавались в пустынных комнатах. Странно выглядели пустые, мертвые классы, где зимой ни одной минуты не было тихо, где постоянно был слышен визг, хохот, треск парт, пение.

Викниксор оставил ребят и прошел к себе в кабинет.

Янкель и Японец переглянулись. Жалко было расставаться со

Шкидой, к которой они так привыкли, а теперь стало и совсем невтерпеж – особенно когда они увидели знакомые парты с вырезанными ножиком надписями «Янкель-дурак», «Япошка-картошка».

Оскорбительные когда-то слова вдруг приобрели необычайную прелесть.

Ребята долго разглядывали эти надписи. Потом Янкель умиленно произнес:

– Это Воробей вырезал.

– Да, это он, – мечтательно поддакнул Японец и вдруг посмотрел на товарища и сказал: – Давай попытаемся? Может, оставит.

Янкель понял.

Раздались шаги. Вошел Викниксор, Он деловито осмотрел комнату и сказал:

– Парты запылились. Возьмите тряпки и вытрите хорошенько.

Ребята кинулись на кухню, принесли мокрые тряпки и стали обтирать парты.

Кончив, твердо решили:

– Пойдем к Викниксору, попытаемся.

На робкий стук последовало:

– Войдите.

Увидев ребят, Викниксор встал.

– Виктор Николаевич, вы, может, оставите нас? – заканючил Янкель.

– Оставите, может? – как эхо повторил Еонин.

Викниксор строго посмотрел через головы ребят куда-то в угол, пошевелил губами и спокойно сказал:

– Да, я вас оставляю. За вас поручилась вся школа, а сюда я вас привез только для того, чтобы вы почистили помещение к приезду школы. Завтра она переезжает с дачи.

* * *

Шкида переехала с треском. Едва трамвайные платформы остановились у дома и ребята начали разгрузку, уличная шпана окружила их.

– Эге-ге! Приютские крысы приехали.

– Крысы приехали!

– Эй вы, голодные! Крысенята!..

Воробей возмутился и подскочил к одному, особенно старавшемуся.

– Как ты сказал, стерва? Повтори!

Тот усмехнулся и, заложив руки в карманы, поглядел в сторону своих.

– А вот как сказал, так и сказал.

– А ну, повтори!

– Голодные крысы!

В следующее мгновение кулак Воробья беззвучно прилип к носу противника. Брызнула кровь.

– А-а-а! Наших бить!

Шпана смяла Воробья, но подоспела выручка. Шкидцев было

больше. Они замкнули круг, и началась драка. Шпана сразу же оказалась в невыгодном положении. Их окружили плотной стеной. Сперва они бились отчаянно храбро, но скоро из десятка храбрецов половина лежала, а вторая половина уже не дралась, а только заслонялась руками от сыпавшихся ударов.

– О-ой! Больно!

– Хватит!

– Не бейте!

Шкида уже не слышала стонов. Она рассвирепела, и десятки рук по-прежнему без жалости опускались на головы врагов.

Побоище прекратил Викниксор. Увидев из окна, что питомцы его дерутся, он выскочил, взбешенный, на улицу, однако при виде его шкидцы брызнули во все стороны, оставив на поле битвы лишь избитых противников и Воробья, который был здорово помят и даже не в силах был убежать.

Это событие имело свои последствия. Едва шкидцы устроились и расставили в здании мебель, как получился приказ заведующего: «Никого гулять не выпускать». Ребята приуныли, пробовали протестовать, но приказ отменен не был. А на следующий день законодательство республики Шкид обогатилось двумя новыми параграфами.

В этот день состоялось общее собрание, на которое Викниксор явился с огромной толстой книгой в руках.

Притихшая аудитория с испуганным видом уставилась на эту глыбу в черном коленкоровом переплете, а заведующий поднял книгу

над головой, открыл ее и показал всем первый лист, на котором акварельными красками было четко выведено:

ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЫ

ИМЕНИ ДОСТОЕВСКОГО

– Ребята, – торжественно начал Викниксор. – Отныне у нас будет школьная «Летопись». Сюда будут записываться замечания воспитанникам, все ваши проступки будут отмечаться здесь, в этой книге. Все провинности, все безобразия воспитанников будут на учете у педагогов; по книге мы будем судить о вашем поведении. Бойтесь попасть в «Летопись», это позорная книга, и нам неприятно будет открывать ее лишний раз. Однако сегодня же при вас я вынужден сделать первую запись.

Викниксор достал карандаш и, отчетливо произнося вслух каждое слово, записал на чистом, девственном листе:

«Черных уличен в попытке присвоить казенные краски».

Ребята притихли, и все взоры обратились на Янкеля. А Янкель опустил глаза, не зная, огорчаться ему или радоваться, что его имя первым попало в этот исторический документ.

Возражать Викниксору он не мог. Накануне, когда переносили вещи, Гришка с особенным рвением таскал по лестнице тюки с одеялами и подушками, связки книг, посуду и другое школьное имущество. В коридоре, у входа в учительскую, один из пакетов развязался и оттуда выпали два начатых тюбика краски. Будь это что-

нибудь другое – может быть, Янкель и задумался бы, но перед этим соблазном его сердце художника устоять не могло. Он сунул тюбики в карман и в тот же миг услыхал над головой голос Викниксора.

– Что у тебя в кармане, Черных?

Янкелю ничего не оставалось делать, как извлечь из кармана злополучные тюбики.

Викниксор взял тюбики, брезгливо посмотрел на Черных и сказал:

– Неужели ты, каналья, успел забыть, что тебя только что простили и что тебе угрожал перевод в реформаторий?!

– Они сами упали, Виктор Николаевич, – пролепетал Янкель.

– Упали в карман?

Викниксор приказал Янкелю немедленно отправляться в класс. Просить извинения на этот раз Янкель и не пытался. Никому не сказав о случившемся, он прошел в класс и весь вечер пребывал в самом ужасном унынии. Но вот миновала томительная бессонная ночь, наступил следующий день, и Янкель начал понемногу успокаиваться: может быть, Викниксор в суматохе забыл о нем? Оказалось, однако, что Викниксор не забыл. И теперь Янкель сидел под устремленными на него взглядами ребят и думал, что отделался он, пожалуй, дешево.

А Викниксор записью в «Летопись» не ограничился. Расхаживая по столовой с толстенной книгой в руках, он, чтобы внушить трепет и уважение к этой книге, растолковывал воспитанникам смысл и значение только что сделанного замечания.

– Вот я записал Черных, ребята: Черных хотел присвоить краски.

Эта запись останется в «Летописи» навсегда. Кто знает, может быть, когда-нибудь впоследствии Черных сделается знаменитым художником. И вот он будет сидеть в кругу своих знакомых и почитателей, и вдруг появится «Летопись». Кто-нибудь откроет ее и прочтет: «Черных уличен в попытке присвоить казенные краски». Тогда все отшатнутся от него, ему скажут: «Ты вор – тебе нет места среди честных людей».

Викниксор вдохновляется, но, вдруг вспомнив что-то, оставляет бедного Янкеля в покое и говорит:

– Да, ребята, я отвлекся. Кроме «Летописи», у нас вводятся также и разряды. Вы хотите знать, что это такое? Это, так сказать, мерка вашего поведения. Разрядов у нас будет пять. В первом разряде будут числиться те ученики, которые в течение месяца не получат ни одного замечания в «Летописи». Перворазрядник – это примерный воспитанник, образец, на который все мы должны равняться. Он будет среди прочих в положении привилегированном. Перворазрядники беспрепятственно пользуются установленным отпуском, в вакационные часы они свободно ходят на прогулку, перворазрядники в первую очередь ходят в театры и в кинематограф, получают лучшее белье, обувь и одежду.

– Аристократия, одним словом, – с ехидным смешком выкрикнул с места Япошка.

– Да, если хочешь – это аристократия. Но аристократия не по крови, не наследственная, не паразитическая, а получившая свои привилегии по заслугам, добившаяся их честным трудом и

примерным поведением. Желаю тебе, кстати, Еонин, стать когда-нибудь таким аристократом.

– Где уж нам уж, – деликатно ухмыльнулся Японец.

– Теперь выясним, что такое второй разряд, – продолжал Викниксор. – Второй разряд – это ученики, не получившие замечания в течение недели. Второй разряд тоже пользуется правом свободных прогулок и отпусков, все же остальное он получает во вторую очередь, после перворазрядников. Для того чтобы попасть в первый разряд, нужно месяц пробыть во втором без замечания. Третий разряд – это середняки, ребята, получившие одно или два не очень серьезных замечания, но третий разряд уже лишается права свободных прогулок, третьеразрядники ходят только в отпуск. Из третьего разряда во второй воспитанник переводится в том случае, если в течение недели у него не было замечаний, если же есть хоть одно замечание, он по-прежнему остается в третьем.

Шкидцы сидели придавленные и ошарашенные. Они не знали, что эта громоздкая на первый взгляд система очень скоро войдет в их повседневный быт и станет понятной каждому из них – от первоклассника до «старичка».

А Викниксор продолжал растолковывать новый шкидский «табель о рангах»;

– Теперь дальше. Все, кто получил свыше трех замечаний за неделю, попадают в штрафной разряд – четвертый – и на неделю лишаются отпусков и прогулок. Но… – Викниксор многозначительно поднял брови. – Но если за неделю пребывания в штрафном, четвертом

разряде воспитанник не получит ни одного замечания, он снова поднимается в третий. Понятно?

– Понятно, – отозвались не очень дружные голоса.

– А пятый? – спросил кто-то.

– Да, ребята, – сказал Викниксор, и брови его снова поползли вверх. – Остается пятый разряд. Пятый разряд – это особый разряд. В него попадают воры и хулиганы. Кто проворуется, того мы не только лишаем на месяц отпусков и прогулок, мы изолируем его от остальных воспитанников, а в тетрадях его будет стоять буква «В».

Янкель похолодел. Безобидное замечание в «Летописи» вдруг сразу приобрело страшный, угрожающий смысл. Он плохо слышал, о чем говорил Викниксор дальше. А тот говорил много и долго. Между прочим, он объявил, что, кроме общих собраний, в школе учреждаются еще и еженедельные классные, на которых воспитатели в присутствии учеников будут производить пересортировку в разрядах. Тут же были установлены дни – особые для каждого класса, – когда должна происходить эта пересортировка.

И вот в ближайшую пятницу в четвертом отделении состоялось собрание, на котором отделенный воспитатель Алникпоп объявил, кто в какой разряд попадет. Большинство, не успевшее еще заработать замечаний, оказалось во втором разряде. В списке третьеразрядников числились Янкель и Воробей. В четвертый разряд попал Япошка, умудрившийся за неделю получить пять замечаний, и все «за дерзость и грубость». Тут же на собрании он заработал новое замечание, так как публично назвал новую викниксоровскую систему «халдейскими

штучками».

Янкель, к удивлению товарищей, ликовал. Зато рвал на себе волосы от обиды и негодования бедный Воробышек, получивший единственное замечание «за драку на улице», за ту самую драку, в которой он и без того потерпел самый большой урон.

Остальные ждали, что будет дальше, куда понесет их судьба и собственное поведение: наверх или вниз?

С «Летописью» – зоркой, как часовой, – начала свой новый учебный год Шкида.

Лето прошло…

Кауфман фон Офенбах

В классе четвертого отделения слабо мерцают угольные лампочки… По стенам прыгают серые бесформенные тени.

У раскаленной печки сидят Мамочка, Янкель и Цыган. Они вполголоса разговаривают и, по очереди затягиваясь папиросным окурком, пускают дым в узкое жерло топки.

Пламя топящейся печки бросает на их лица красный заревой отсвет.

Остальные шкидцы разбрелись по разным углам класса; обладающие хорошим зрением читают, другие бузят – возятся, третьи, прикрывшись досками парт, дуются в очко. Горбушка играет с Воробьем в шахматы, получает мат за матом и по неопытности не ведает, что Воробей его надувает.

Данилов и Ворона, усевшись на пол у классной доски, нашли

игру, более для себя интересную – «ножички», – бросают по очереди перочинный нож.

– С ладошки! – кричит Ворона и подбрасывает нож.

Нож впивается в зашарпанную доску пола.

Потом бросает Данилов. У него – промах.

– С мизинчика! – снова кричит Ворона и опять вбивает нож.

Сделав несколько удачных бросков, он разницу прощелкивает Данилову по лбу крепкими, звонкими щелчками. Широкоплечий Данилов, нагнув голову, тупо смотрит в пол, при каждом щелчке вздрагивает и моргает.

В классе не шумно, но и не тихо, – голоса сливаются в неровный гул…

Заходит воспитатель… Он нюхает воздух, замечает дым и спрашивает:

– Кто курил?

Никто не отвечает.

– Класс будет записан, – объявляет халдей и выходит.

После его ухода игры прекращаются, все начинают скулить на тройку, сидящую у печки. Те в свою очередь огрызаются на играющих в очко.

Золотушный камчадал Соколов, по кличке Пьер, кончив чтение, подходит к играющим в шахматы и начинает приставать к Воробью.

– Уйди, – говорит Воробей.

– Никак нет-с, – отвечает Пьер.

– В зубы дам.

– Дай-с.

Но щуплый Воробей в зубы не дает, а углубляется в обдумывание хода.

Пьеру становится скучно, он садится за парту и, пристукивая доской, начинает петь:

Спи, дитя мое родное,
Бог твой сон хранит…
Твоя мама-машинистка
По ночам не спит.
Брат ее убит в Кронштадте,
Мальчик молодой…

В это время в классе появляется Викниксор. Все вскакивают. Картежники украдкой подбирают рассыпавшиеся по полу карты, а Янкель, не успевший спрятать папиросу, тушит ее носком сапога.

Вместе с Викниксором в класс вошел здоровенный детина, одетый в узкий, с золотыми пуговицами, мундирчик… Мундир у детины маленький, а сам детина большой, поэтому рукава едва доходят ему до локтя, а на животе отсутствует золотая пуговица и зияет прореха.

– Новый воспитанник, – говорит Викниксор. – Мстислав Офенбах… Мальчик развитой и сильный. Обижать не будете… Правда, мальчик?

– У-гу, – мычит Офенбах таким басом, что не верится, будто голос этот принадлежит ему, а не тридцатилетнему мужчине.

– Мальчик, – насмешливо шепчет кто-то, – ничего себе мальчик. Небось сильнее Цыгана…

Когда Викниксор уходит, все обступают новичка.

– За что пригнали? – любопытствует Япошка.

– Бузил… дома, – басит Офенбах. – Меня мильтоны вели, так бы не пошел.

Он улыбается. Улыбка у него детская, не подходящая к мужественному, грубому лицу.. Сразу все почему-то решают, что Офенбах хотя и сильный, но незлой.

– Сколько тебе лет? – спрашивает Цыган, уже почуявший в новичке конкурента по силе.

– Четырнадцать, – отвечает Офенбах. – Сегодня как раз именинник… Это мне мамаша подарочек сделала, что пригнала сюда.

Он осматривает серые стены класса и грустно усмехается.

– Ничего, – говорит Японец. – Подарочек не так уж плох… Сживемся.

– Неужели тебе четырнадцать лет? – задумчиво говорит Янкель. – Четырнадцать лет, а вид гужбанский – прямо купец приволжский какой-то.

– И верно, – говорит Воробей. – Купец…

– Купец, – подхватывает Горбушка.

– Купец, – ухмыляется Офенбах, не ведая, что получает эту кличку навеки.

– А что это у тебя за полупердончик? – спрашивает Янкель, указывая на мундир.

– Это – кадетская форма, – отвечает Купец. – Я ведь до революции в кадетском учился. В Петергофском, потом в Орловском.

– Эге! – восклицает Янкель. – Значит, благородного происхождения?

– Да, – отвечает Купец, но без всякой гордости, – благородного… Отец мой офицер, барон остзейский… Фамилия-то моя полная – Вольф фон Офенбах.

– Барон?!. – ржет Янкель. – Здорово!..

– Да только жизнь-то моя не лучше вашей, – говорит Купец, – тоже с детства дома не живу.

– Ладно, – заявляет Япошка. – Пускай ты барон, нас не касается. У нас – равноправие.

Потом все усаживаются к печке.

Купец садится, как индейский вождь, посредине на ломаный табурет.

Он чувствует, что все смотрят на него, самодовольно улыбается и щурит и без того узкие глаза.

– Значит, ты тово… кадет? – спрашивает Янкель.

– Кадет, – отвечает Купец и, ухмыляясь, добавляет: – Бывший.

Несколько мгновений длится молчание. Потом Мамочка тонким, пискливым голосом спрашивает:

– У вас ведь все князья да бароны обучались… Да?

– Фактически, – басит Купец, – все дворянского звания. Не ниже.

– Ишь ты, – говорит Воробей. – Князей, значит, видел. За ручку, может быть, здоровался.

– И не только князей. Я и самого Николая видел.

– Николая? – восклицает Горбушка. – Царя!

– Очень даже просто. Он к нам в корпус приезжал, а потом я его часто видел, когда в дворцовой церкви в алтаре прислуживал. Эх, жисть тогда была – малина земляничная!..

Купец вздыхает:

– Просвирками питался!

– Просвирками?

– Да, просвирками, – говорит Купец. – Вкусные просвирки были в дворцовой церкви, замечательные просвирки. Напихаешь их, бывало, штук двадцать за пазуху, а после с товарищами жрешь. С маслом ели. Вкусно…

Он мечтательно проводит рукою по лбу и снова вздыхает:

– Только засыпался очень неприятно!

– Расскажи, – говорит Японец.

– Расскажи, расскажи! – подхватывают ребята.

И Купец начинает:

– Обыкновенно я, значит, в корпус таскал просвирки, – там их и шамали… А тут пожадничал, захватил маслица, думаю – в алтаре, где-нибудь в ризнице, позавтракаю. Ну вот… На амвоне служба идет, дьякон «Спаси, господи, люди…» запевает, а я перочинный ножичек вынул и просвирочки разрезаю. Нарезал штук пять, маслом намазал, склеил, хотел за пазуху класть, а тут, значит, батюшка, отец Веньямин, входит, чтоб ему пусто… Ну я, конечно, все просвирки на блюдо и глаза в потолок. А он меня на дворцовую кухню за кипятком для причастия посылает. Прихожу оттуда с кипятком – нет просвирок, унесли уже. Сдрейфил я здорово. Все сидел в ризнице и дрожал. А потом батя

входит. В руках просвирка. Рука трясется, как студень. «Это что такое? – спрашивает. – А?» Ну, безусловно, меня в три шеи, и в корпусе, в карцере, двое суток пропрел. Оказывается, батя Николаю, самодержцу всероссийскому, стал подавать просвирку, а половинка отклеилась – и на пол… Конфузу, говорят, было… Потеха!

Ребята хохочут. В это время трещит звонок.

– Спать хряемте, – говорит Воробей.

– Что это? – удивляется Купец. – Так рано спать?

– Да, – отвечает Японец. – У нас законы суровые. Хотя не суровее, конечно, кадетских, а все-таки…

В спальне вспоминают, что Купец не получил от кастелянши постельное белье. Кастелянша работает до шести часов, и позже белье не получить.

– Пустяки, – говорит Японец. – Соберем с бору по сосенке… Выспится.

Коек пустых много, собирают белье: кто подушку, кто одеяло, кто простыню дает. Из подушек делают матрац, и постель у Купца получается не хуже, чем у других.

Купец укладывается, завертывается в серое мохнатое одеяло и басит:

– Спокойной ночи, робя!

Потом засыпает, храпит, как боров, и не слышит приглушенных разговоров ребят, которые тянутся за полночь…

Утром дежурный проходит по спальне, звонит в серебристый колокольчик. Воспитанники вскакивают, быстро одеваются и бегут в

умывальню. Когда вся спальня уже на ногах, все постели убраны, одеяла сложены вчетверо и лежат на подушках, дежурный замечает, что новый воспитанник четвертого отделения спит.

Дежурный – первоклассник Козлов, маленький, гнусавый, – бежит к офенбаховской кровати и звонит над самым ухом Купца. Тот просыпается, вскакивает и недоумевающе смотрит в лицо дежурного.

– Ты чего, сволочь?

– Вставай, пора… Все уже встали, чай идут пить.

Купец скверно ругается, снова залезает под одеяло и поворачивается спиной к Козлову.

– Да вставай же! – тянет Козел.

Ему попадет, он получит запись в «Летопись», если не все воспитанники будут разбужены.

– Вставай, ты… – гнусит он.

Купец внезапно вскакивает, сбрасывает с себя одеяло и с размаху ударяет Козла по щеке. Козел взвизгивает, хватается за щеку и, выбегая из спальни, кричит:

– Накачу! Будешь драться, сволочь!

Но жаловаться Козел не идет – фискалов в Шкиде не любят.

Через минуту Козел возвращается в спальню с Японцем, призванным для воздействия на Купца.

– Эй, барон, вставай! – говорит Японец, дергая Купца за плечо.

Купец высовывает голову из-под одеяла.

– Пошли вы подальше, а не то…

Но он уже проснулся.

– Что будите-то? – хмуро басит он. – Который час?

– Восемь, начало девятого, – отвечает Японец.

– Черт, – тянет Купец, но уже добродушно. – Раненько же вас поднимают. У нас в корпусе и то полдевятого зимой будили.

– Ладно, – говорит Японец, – вставай.

– А я вот раз дядьку избил, – вспоминает Купец. – Кузьмичом звали. Уж зорю проиграли, а я сплю… Он меня будит. А я ему раз – в ухо…

Купец мечтательно улыбается и высовывает из-под одеяла ноги.

– Идем умываться, – говорит Японец, когда Купец, напялив мундирчик, застегивает сохранившиеся на нем золотые пуговицы.

В умывальне домываются лишь два человека. Костец стоит у окна и отмечает в тетрадке птичками вымывшихся.

– Как фамилия? – спрашивает он у Купца, потом добавляет: – Сними куртку.

Купец нехотя снимает мундир и нехотя, лениво ополаскивает лицо и шею.

Халдей осматривает вымывшегося для первого раза снисходительно и ставит в тетрадь птичку.

– Ну, ребята, – говорит после чая товарищам Японец. – Барон-то наш – вышибалистый… Держимордой будет, хотя и добродушен.

А добродушие Купца выясняется в тот же день.

Купец идет в гардеробную получать белье. Там он снимает с себя кадетский мундир и потрепанные брюки клеш и облачается в казенное – холщовые рубаху и штаны.

Кастелянша Лимкор (Лимонная корочка) или Амвон (Американская вонючка) – старая дева, любящая подчас от скуки побеседовать с воспитанниками, – расспрашивает Купца о его жизни.

– Животных любишь? – спрашивает она, сама страстно обожающая собак и кошек.

– Люблю, – отвечает Купец. – Я всех животных люблю – и собак, и кошек, и людей.

Амвон рассказывает об этом воспитателям, а те товарищам Купца.

За Купцом остается репутация сильного, вспыльчивого, но добродушного парня.

В Шкиде, а особенно в четвертом отделении, он получает диктаторские полномочия и пользуется большим влиянием в делах, решающихся силой. Однокашники зовут его шутливо-почтительно Купа, а воспитатели – «лодырем первой гильдии».

Учиться Купец не любит.

Пожар

Десять часов вечера. Хрипло пробрякали часы. Звенит звонок.

Утомленная длинным, слепым зимним днем с бесконечными уроками и ноской дров, Шкида идет спать.

Затихает здание, погружаясь в дремоту.

Дежурная воспитательница – немка Эланлюм – очень довольна. Сегодня воспитанники не бузят. Сегодня они бесшумно укладываются в постели и сразу засыпают. Не слышно диких выкриков, никто не дерется подушками, все вдруг стали послушными, спокойными и

тихими…

Такое настроение у воспитанников бывает редко, и Эланлюм чрезвычайно рада, что это случилось как раз в ее дежурство.

Ее помощник – воспитатель, полный, белокурый, женоподобный мужчина, по прозвищу Шершавый, – уже спит.

Шершавый – скверный воспитатель из породы «мягкотелых». Он благодушен, не быстр в движениях и близорук, – это позволяет шкидцам в его присутствии бузить до бесчувствия.

Сегодня Шершавый утомлен. Он не только воспитатель, но и фельдшер, лекпом, лекарский помощник. Сегодня был медицинский осмотр, и Шершавый очень устал, перещупав и перестукав полсотни воспитанников.

Шершавый спит, но Эланлюм не сердится на него. Ей кажется, что она и без помощника уложила всех спать.

Эланлюм смотрит на часы – четверть одиннадцатого. Она решает еще раз обойти здание, заходит в четвертый класс и застревает в дверях.

Весь класс сидит на партах. Вид у ребят заговорщицкий.

При входе немки все вскакивают и замирают, потом к ней подходит Еонин и с не свойственной ему робостью говорит:

– Элла Андреевна, сегодня мы справляем юбилей – выход двадцать пятого номера «Зеркала». Элла Андреевна, мы бы хотели отпраздновать это важное для нас событие устройством маленького банкета и поэтому всем классом просим вас разрешить нам остаться здесь до двенадцати часов. Мы обещаем вам вести себя тихо. Можно?

Глаза всего класса впились в воспитательницу.

Немка растрогана.

– Хорошо, сидите, но чтобы было тихо.

Она уходит. В классе начинаются приготовления. Выдвинут на середину круглый стол, уставленный скромными яствами, средства на которые собирались всем классом в течение двух недель. Мамочка ставит на стол чайник с кипятком и, расставив кружки, развязным голосом говорит:

– Прошу к столу.

Ребята чинно рассаживаются за столом. Янкель пробует сказать речь:

– Братишки, итак, вышел двадцать пятый номер нашего «Зеркала»…

Он хочет продолжать, но не находит слов. Да и без слов все ясно. Он достает из парты комплект «Зеркала» и раскладывает его по партам. Двадцать пять номеров пестрой лентой раскинулись на черном крашеном дереве, двадцать пять номеров – двадцать пять недель усиленного труда, – это лучше всяких слов говорит об успехе редакции.

Класс с уважением смотрит на газету, класс разглядывает старые номера, как какую-нибудь музейную реликвию. Только Купец не интересуется «Зеркалом»; забравшись в угол, он расправляется с колбасой. Он тоже взволнован, но не газетой, а шамовкой.

Потом ребята вновь усаживаются за стол, пьют чай, хрустят галетами, едят бутерброды с маслом и колбасой.

В классе жарко.

Поставленная на время холодов чугунка топится с утра дровами, наворованными у дворника. От чая и от жары все размякли и, лениво развалившись, сидят, не зная, о чем говорить.

Третьеклассник Бобер, случайно затесавшийся на банкет, начинает тихо мурлыкать «Яблочко»:

Эх, яблочко на подоконничке,
В Петрограде появилися покойнички.

Но «Яблочко» – не очень подходящая к случаю песня. Ребятам хочется спеть что-нибудь более торжественное, величавое, и вот Янкель затягивает школьный гимн:

Мы из разных школ пришли,
Чтобы здесь учиться,
Братья, дружною семьей
Будем же труди-и-ться.

Ребята подхватывают:

Бросим прежнее житье,
Позабудем, что прошло.
Смело к но-о-вой жизни!
Смело к но-о-овой жизни!

Один Купец не поет. Он считает, что греться у буржуйки гораздо приятнее. Улыбаясь широкой улыбкой, он сидит около пузатой железной печки, помешивая кочергой догорающие угли и головешки.

– Мамочка, сходи посмотри, который час, – говорит Янкель.

Но в эту минуту дверь отворяется и входит Эланлюм.

– Пора спать, ребята. Уже половина первого.

Никто не возражает ей. Шкидцы вскакивают. Бесшумно расставляются по местам столы, табуретки и стулья, убираются остатки юбилейного ужина, складывается на железный поднос посуда. Янкель бережно и любовно укладывает в свою парту виновника торжества – комплект «Зеркала» – и вместе с другими на цыпочках идет к выходу.

В дверях его останавливает Эланлюм. Кивком головы она показывает на чугунку.

Янкель возвращается. Наспех поковыряв кочергой и видя, что головешек нет, он закрывает трубу.

Выходя из класса, он замечает, что на полу у самой стены прижался крохотный уголек, случайно выскочивший из чугунки. Надо бы подобрать или затоптать его, но возвращаться Янкелю лень.

«Авось ничего не случится. Погаснет скоро», – мысленно решает он и выходит из класса.

В спальне тихо. Все спят. Воздух уже достаточно нагрелся и погустел от дыхания, но почему-то теплая густота делает спальню уютней. Пахнет жильем.

Слабо мерцает угольная лампочка, свесившаяся с потолка, настолько слабо, что через запушенные инеем окна виден свет уличного фонаря, пробивающийся в комнату и освещающий ее.

В спальне тихо.

Изредка кто-нибудь из ребят, самый беспокойный, увидев что-то страшное во сне, слабо вскрикнет и заворочается испуганно на кровати.

Потом вскинет голову, сядет, увидит, что он не в клетке с тиграми, не на уроке математики и не на краю пропасти, а в родной шкидской спальне, и вновь успокоится.

И в комнате опять тихо.

* * *

Янкель проснулся, перевернулся на другой бок, зевнул и огляделся. Было еще темно. Все спали, так же бледно светила лампочка, но фонарь за окном уже не горел.

«Часа три – четыре», – подумал Янкель и собирался уже опять уткнуться в подушку, как вдруг его внимание приковало маленькое сизое облачко вокруг лампочки.

«Что за черт, кто бы мог курить в спальне», – невольно мелькнуло в голове.

Но думать не хотелось, хотелось спать. Он опять укрылся с головой одеялом и притих.

Вдруг из соседней комнаты кто-то позвал воспитателя, тот повертелся на кровати и, кряхтя, поднялся.

– Кто меня зовет? – прохрипел Шершавый, болезненно морщась и хватаясь за голову.

Кричал Газенфус – самый длинный и тощий из всех шкидцев и в то же время самый трусливый.

– Дым идет откуда-то! Воспитатель, а даже не посмотрит – откуда, – надрывался он.

Теперь заинтересовался дымом и Янкель и тоже набросился на

несчастного фельдшера:

– Что же вы, дядя Володя, в самом деле? Пойдите узнайте, откуда дым.

Но Шершавый расслабленно простонал в ответ:

– Черных, видишь, я болен. Пойди сам и узнай.

Янкель разозлился.

– Идите вы к черту! Что я вам – холуй бегать?

Он решительно повернулся на бок, собираясь в третий раз уснуть, как вдруг дверь с треском распахнулась – и в спальню ворвалось густое облако дыма. Когда оно слегка рассеялось, Янкель увидел Викниксора. Тот тяжело дышал и протирал глаза. Потом, оправившись, спокойным голосом громко сказал:

– Ребята, вставайте скорее.

Однако говорить было не нужно. Половина шкидцев уже проснулась и, почуяв неладное, торопливо одевалась. Викниксор, увидев полуодетого Янкеля, подозвал его и тихо сказал:

– Попробуй пройти к Семену Ивановичу, к кладовой. Дыму много. Возьми подушку.

Янкель молча кивнул и, схватив подушку, двинулся к двери.

– Ты куда? – окликнул его одевавшийся Бобер.

И, сразу поняв все, сказал:

– Я тоже пойду.

– Пойдем, – согласился Янкель.

Спальня уже гудела, как потревоженный улей. Будили спавших, одевались.

Подходя к двери, Янкель услышал за спиной голос недовольного Купца. Его тормошили, кричали на ухо о пожаре, а он сердито, истерично смеялся.

– Уйдите, задрыги! О-го-го! Не щекочите! Отстаньте!

Натягивая на ходу свой нарядный, принесенный «с воли» полушубок, Бобер нагнал Янкеля.

– Ну, пойдем.

– Пойдем.

Они переглянулись. Потом Янкель решительно дернул дверь и вышел, наклоняя голову и закрывая подушкой рот.

Сразу почувствовался противный запах гари. Дым обступил их плотной стеной.

Держась за руки, они на ощупь вышли в зал. Янкель открыл на минуту глаза и сквозь жуткий мрак увидел едва мерцающий глазок лампочки.

Обычно светлый зал теперь был темен, как черное покрывало.

Ребята миновали зал, свернули в коридор, по временам открывая глаза, чтобы ориентироваться по лампочкам. От дыма, пробивавшегося сквозь подушку, начало першить в горле, глаза слезились. Было страшно идти вперед, не зная, где горит.

– А вдруг мы идем на огонь?

Но вот за поворотом мелькнул яркий свет, дыму стало меньше. Эконом уже стоял у дверей, встревоженный запахом гари.

– Пожар, Семен Иванович! – разом выкрикнули Янкель и Бобер, с жадностью глотая свежий воздух. – Пожар!

Эконом засуетился.

– Так что же вы! Бегите скорей в пожарную команду. Погодите, я открою черную лестницу.

Звякнула цепочка. Ключ защелкал по замку, прыгая в дрожащих руках старика.

– Пойдем? – спросил Янкель, нерешительно поглядывая на Бобра.

– Конечно. Надо же!

Если не считать подушки, которую Янкель держал в руках, на нем была только нижняя рубашка, пара брюк и незашнурованные ботинки. Он минуту потоптался, поглядывая на одежду товарища. Облаченному в полушубок Бобру колебаться было нечего.

– Идти или не идти?

Янкель хотел было отказаться, но потом решил:

– Ладно. Пойдем.

Быстро сбежали по лестнице, татарин-дворник Мефтахудын открыл ворота, и ребята выскочили на Курляндскую.

– Поглядим, где горит! – задыхаясь, крикнул Янкель.

Вышли на середину улицы и, поглядев в окна, ахнули.

Четыре окна нижнего этажа школы, освещенные ярко-красным светом, бросали отсвет на снег.

Янкель завыл:

– Наш класс. Сгорело все! «Зеркало» сгорело!

И, ни слова больше не сказав, оба шкидца ринулись во мрак.

Несмотря на мороз и на более чем легкий костюм, Янкель почти не чувствовал холода. Только уши пощипывало.

Вокруг царила тишина, на улицах не видно было ни души – было время самой глубокой ночи.

Бежали долго по прямому, как стрела, Старо-Петергофскому проспекту. Проскочили мимо ярко освещенной фабрики. Потом устали, запыхались и перешли на быстрый шаг.

Обоих мучил вопрос: что-то делается там, в Шкиде?

Вдруг Янкель, не убавляя хода, шепнул Бобру:

– Ой, гляди! Кто-то крадется.

Оба взглянули на развалины дома и увидели серую тень, спешившую перерезать им дорогу. Бобер побледнел.

– Живые покойники! Полушубок снимут.

– Идем скорее, – оборвал Янкель. Ему-то бояться было нечего. Пожалуй, он ничем не рисковал, так как вряд ли какой бандит решится снять последнюю рубаху, и притом нижнюю, грязную и старую.

Стиснув зубы и скосив глаза, шкидцы прибавили шагу, с намерением проскочить мимо зловещей тени, но маневр не удался.

Из-за груды кирпичей с револьвером в руках появился человек в серой шинели.

– Стой! Руки вверх!

Ребята остановились и послушно подняли руки. Солдат, не опуская револьвера, спросил, подозрительно оглядывая шкидцев:

– Куда идете?

У Бобра прошло чувство страха, и он, почуяв, что это не налетчик, бодро сказал;

– В пожарную часть.

– Откуда?

– Из интерната. Пожар у нас.

Серая шинель минуту нерешительно потопталась, потом, спрятав револьвер и уже смягчаясь, пробурчала:

– Пойдемте. Я вас провожу.

По дороге разговорились – человек с револьвером оказался агентом.

– А я вас, чертенята, за налетчиков принял, – засмеялся он.

– А мы – вас, – осмелев, признался агенту Янкель.

– Меня?!

– Да. Мы думали, что вы – живой покойник.

– Ну, этих субчиков в Питере уже не осталось. Всех давно выловили, – сказал чекист. Тут он обратил внимание на жалкий костюм Янкеля, скинул шинель и сказал:

– На, накинь, а то простудишься.

Пришли в часть. Едва успели подняться на второй этаж и сообщить о пожаре, как ребят уже позвали вниз.

Там уже мелькали ярко-рыжие факелы, блестели медные пожарные каски, хрипели гривастые лошади.

Пожарные посадили ребят на возок, и вся часть рванулась вперед, разрывая сгустившуюся ночную тишину звоном, перепевом сигнального рожка, хрястом подков и лошадиным ржанием.

Когда подъехали к школе, там уже стояла довольно большая толпа зевак.

Почти одновременно приехала еще одна пожарная часть. Янкель

и Бобер по черной лестнице потопали было наверх, но эконом выгнал их, несмотря на самые горячие протесты.

В это время в спальне разыгрывалась трагедия.

Много времени прошло, пока удалось разбудить спящих, а когда все наконец проснулись, в комнате уже стоял густой дым. Он пробивался из всех щелей, быстро заполняя помещение.

Началась паника. Кто-то из малышей заплакал. Треснуло где-то выдавленное стекло.

Ребята вдруг все сразу забегали, громко закричали, заметались. В этот момент распахнулась дверь и в спальню ворвалась Эланлюм.

– Дети! Берите подушки. Все ко мне!

Как стадо баранов к пастуху, прихлынули к немке воспитанники, ожидая от нее чуда, и даже Купа, нерешительно почесав затылок и спокойно докурив папироску, приблизился к ней.

Эланлюм повысила голос, стараясь перекричать гудевшую массу.

– Закройте рты подушками. Все идите за мной. Чтобы не растеряться, держитесь друг за друга.

Пожар разрастался. Это было видно по дыму, густому-густому и черному. Эланлюм раскрыла двери настежь и смело вышла навстречу черной завесе.

За ней двинулись остальные.

Идти было недалеко. Нужно было лишь свернуть направо, сделать три шага по площадке лестницы и открыть дверь в квартиру немки, где имелся выход на другую лестницу.

Уже вся школа толпилась на лестничной площадке, нетерпеливо

дожидаясь, когда откроют заветную дверь, но передние что-то замешкались.

Искали ручку – медную дверную ручку – и не находили. Десятки рук шарили по стенам, хватаясь за карнизы, мешая друг другу, – ручки не было.

Искали на ощупь. Открытые глаза все равно мало помогли бы – дым, черный как сажа, слепил глаза, вызывая слезы.

Послышались сдавленные выкрики:

– Скорей!

– Задыхаемся!

Кто-то не выдержал, закашлялся и, глотнув дым, издал протяжный вопль. Стало страшно.

Купец, мрачно стоявший у стенки, наконец не выдержал и, растолкав сгрудившихся на лестнице товарищей, медленно провел рукой по стене, нащупав планку, опять провел и наткнулся на ручку.

Брызнул яркий свет из открытой двери, и обессилевшие, задыхающиеся шпингалеты, шатаясь, ввалились в коридор. Эланлюм пересчитала воспитанников. Все были на месте.

Она облегченно вздохнула, но тут же опять побледнела.

– Ребята! А где воспитатель?

Мертвым молчанием ответили ей шкидцы.

– Где воспитатель? – снова, и уже с тревогой, переспросила немка.

Тогда Купец, добродушно улыбнувшись, сказал:

– А он там в спальне еще лежит, чудак. Охает, а не встает. Потеха!

Эланлюм взвизгнула и, схватившись за голову, кинулась в дымный коридор по направлению к спальне. Минут через пять раздался громкий стук в дверь.

Когда шкидцы поспешили открыть ее, им представилось невиданное зрелище.

Немка волокла за руку Шершавого, а тот бессильно полз по полу в кальсонах и нижней рубахе. Язык у него вылез наружу, в глазах светилось безумие – он задыхался.

Общими усилиями обоих втащили в коридор. Шершавый безжизненно упал на пол, а Эланлюм, тяжело дыша, прислонилась к стене.

Через минуту она уже оправилась, и снова голос ее загремел под сводами коридора:

– Все на лестницу! На улицу не выходите. Все идите в дворницкую к Мефтахудыну.

Ребята высыпали во двор, но к дворнику никто но пошел. Забыв о запрете, все выскочили на улицу.

Дрожа от холода, шкидцы уставились на горящие окна, страх прошел, было даже весело.

А у забора стояли Япончик и Янкель и чуть не плакали, глядя на окна.

Вот зазвенело стекло, и пламя столбом вырвалось наружу, согревая мерзлую штукатурку стены.

За углом запыхтела паровая машина, начавшая качать воду, надулись растянутые по снегу рукава.

Мимо пробежали топорники, слева от них поднимали лестницу, и проворный пожарный, поблескивая каской, уже карабкался по ступенькам вверх. Жалобно звякнули последние стекла в горящем этаже; фыркая и шипя, из шлангов рванулась мощная струя воды.

– Наш класс горит. Сволочи! – выругался Цыган, подходя к Японцу и Янкелю.

Но те словно не слышали и, стуча зубами от холода и возбуждения, твердили одно слово:

– «Зеркало»!

– «Зеркало»!

А Янкель иногда сокрушенно добавлял:

– Моя бумага! Мои краски!

– Марш в дворницкую! – вдруг загремел голос Викниксора над их головами.

В последний раз с грустью взглянув на горящий класс, ребята юркнули под ворота.

Там уже толпились полуодетые, дрожащие от холода шкидцы.

Дворницкая была маленькая, и ребята расселись кто на подоконниках, кто прямо на полу. С улицы доносился шум работы, и шкидцам не сиделось на месте, но у дверей стоял Мефтахудын, которому строго-настрого запретили выпускать учеников за ворота.

Мефтахудын – татарин, добродушный инвалид, беспалый, – приехал из Самары, бежал от голода и нашел приют в Шкиде. До сих пор ребята его любили, но сегодня возненавидели.

– Пусти, Мефтахудын, поглядеть, – горячился Воробей.

Ласково отпихивая парня, дворник говорил, растягивая слова:

– Сиди, поджигала! Чиво глядеть? Нечиво глядеть. Сиди на месте.

То и дело то Эланлюм, то Викниксор втискивали в двери новых и новых воспитанников, пойманных на улице, и снова уходили на поиски.

Ребята сидели сгрудившись, угнетенные и придавленные. Сидели долго-долго. Уже забрезжил в окнах бледный рассвет, а шкидцы сидели и раздумывали. Каждый по-своему строил догадки о причинах пожара:

– Жарко чугунку натопили в четвертом отделении, вот пол и загорелся.

– Электрическую проводку слишком давно не меняли.

– Курил кто-нибудь. Чинарик оставил…

Но настоящую причину знал один Янкель: маленький красный уголек все время то потухал, то вспыхивал перед глазами.

Наступило утро.

Уехали пожарные, оставив грязные лужи и кучи обгорелых досок на снегу.

Печально глядели шесть оконных впадин, копотью, дымом и гарью ударяя в нос утренним прохожим.

Сгорели два класса, и выгорел пол в спальне.

Утром старшие ходили по пепелищу, с грустью поглядывая на обгорелые бревна, на почерневшие рамы и закоптелые стены. Разыскивали свои пожитки, стараясь откопать хоть что-нибудь. Бродили вместе с другими и Янкель с Японцем, искали «Зеркало», но,

как ни искали, даже следов обнаружить не могли.

Они уже собирались уходить, как вдруг Янкель нагнулся над кучей всякого горелого хлама, сунул в эту кучу руку и извлек на свет что-то бесформенное, мокрое и лохматое.

Замелькали исписанные печатными буквами знакомые листы.

– Ура! Цело!

С величайшими предосторожностями, чуть ли не всем классом откапывали любимое детище и наконец извлекли его, но в каком виде предстало перед ними это детище! Обгорели края, пожелтела бумага. Полному уничтожению «Зеркала» помешала вода и, по-видимому, обвалившаяся штукатурка, придавившая шкидскую газету, и заживо похоронившая ее в развалинах.

Редакция ликовала.

Потом Викниксор устроил собрание, опрашивал воспитанников, интересовался их мнением, и все сошлись на одном:

– Виновата буржуйка.

Тотчас же торжественным актом буржуйки были уничтожены по всей школе.

* * *

Дня через два третий и четвертый классы возобновили занятия, перебравшись во вновь оборудованные классы наверху. Классы были не хуже прежних, но холодно и неприветливо встретили воспитанников новые стены. И не скоро привыкли к ним ребята.

Янкель и Японец как-то сразу вдруг утратили любовь к старому

«Зеркалу» и смотрели на него, как на калеку, с отвращением.

Долго не могли собраться с духом и выпустить двадцать шестой номер газеты, а потом вдруг, посовещавшись, решили:

«Поставим крест на старом «Зеркале».

Недели через две вышел первый номер роскошного многокрасочного журнала «Зеркало», который ничем не был похож на своего хоть и почтенного, но бесцветного родителя.

А республика Шкид, покалеченная пожаром, долго не могла оправиться от нанесенной ей раны, как не может оправиться от разрушений маленькая страна после большой войны.

Ленька Пантелеев

Вскоре после пожара Шкидская республика приняла в свое подданство еще одного гражданина.

Этот мрачный человек появился на шкидском горизонте ранним зимним утром. Его не привели, как приводили многих; пришел он сам, постучался в ворота, и дворник Мефтахудын впустил его, узнав, что у этого скуластого, низкорослого и густобрового паренька на руках имеется путевка комиссии по делам несовершеннолетних.

В это время шкидцы под руководством самого Викниксора пилили во дворе дрова. Паренек спросил, кто тут будет Виктор Николаевич, подошел и, смущаясь, протянул Викниксору бумагу.

– А-а-а, Пантелеев?! – усмехнулся Викниксор, мельком заглядывая в путевку. – Я уже слыхал о тебе. Говорят, ты стихи пишешь? Знакомьтесь, ребята, – ваш новый товарищ Алексей

Пантелеев. Между прочим, сочинитель, стихи пишет.

Эта рекомендация не произвела на шкидцев большого впечатления. Стихи писали в республике чуть ли не все ее граждане, начиная от самого Викниксора, которому, как известно, завидовал и подражал когда-то Александр Блок. Стихами шкидцев удивить было трудно. Другое дело, если бы новенький умел глотать шпаги, или играть на контрабасе, или хотя бы биография у него была чем-нибудь замечательная. Но шпаг он глотать явно не умел, а насчет биографии, как скоро убедились шкидцы, выудить из новенького что-нибудь было совершенно невозможно.

Это была на редкость застенчивая и неразговорчивая личность. Когда у него спрашивали о чем-нибудь, он отвечал «да» или «нет» или просто мычал что-то и мотал головой.

– За что тебя пригнали? – спросил у него Купец, когда новенький, сменив домашнюю одежду на казенную, мрачный и насупившийся, прохаживался в коридоре.

Пантелеев не ответил, сердито посмотрел на Купца и покраснел, как маленькая девочка.

– За что, я говорю, пригнали в Шкиду? – повторил вопрос Офенбах.

– Пригнали… значит, было за что, – чуть слышно пробормотал новенький. Кроме всего, он еще и картавил: вместо «пригнали» говорил «пгигнали».

Разговорить его было трудно. Да никто и не пытался этим заниматься. Заурядная личность, решили шкидцы. Бесцветный какой-

то. Даже туповатый. Удивились слегка, когда после обычной проверки знаний новенького определили сразу в четвертое отделение. Но и в классе, на уроках, он тоже ничем особенным себя не проявил: отвечал кое-как, путался; вызванный к доске, часто долго молчал, краснел, а потом, не глядя на преподавателя, говорил:

– Не помню… забыл.

Только на уроках русского языка он немножко оживлялся. Литературу он знал.

По заведенному в Шкиде порядку первые две недели новички, независимо от их поведения, в отпуск не ходили. Но свидания с родными разрешались. Летом эти свидания происходили во дворе, в остальное время года – в Белом зале. В первое воскресенье новенького никто не навестил. Почти весь день он терпеливо простоял на площадке лестницы у большого окна, выходившего во двор. Видно было, что он очень ждет кого-то. Но к нему не пришли.

В следующее воскресенье на лестницу он уже не пошел, до вечера сидел в классе и читал взятую из библиотеки книгу – рассказы Леонида Андреева.

Вечером, перед ужином, когда уже возвращались отпускники, в класс заглянул дежурный:

– Пантелеев, к тебе!

Пантелеев вскочил, покраснел, уронил книгу и, не сдерживая волнения, выбежал из класса.

В полутемной прихожей, у дверей кухни, стояла печальная заплаканная дамочка в какой-то траурной шляпке и с нею курносенькая

девочка лет десяти – одиннадцати. Дежурный, стоявший с ключами у входных дверей, видел, как новенький, оглядываясь и смущаясь, поцеловался с матерью и сестрой и сразу же потащил их в Белый зал. Там он увлек их в самый дальний угол и усадил на скамью. И тут шкидцы, к удивлению своему, обнаружили, что новенький умеет не только говорить, но и смеяться. Два или три раза, слушая мать, он громко и отрывисто захохотал. Но, когда мать и сестра ушли, он снова превратился в угрюмого и нелюдимого парня. Вернувшись в класс, он сел за парту и опять углубился в книгу.

Минуты через две к его парте подошел Воробей, сидевший в пятом разряде и не ходивший поэтому в отпуск.

– Пожрать не найдется, а? – спросил он, с заискивающей улыбкой заглядывая новенькому в лицо.

Пантелеев вынул из парты кусок серого пирога с капустой, отломил половину и протянул Воробью. При этом он ничего не сказал и даже не ответил на улыбку. Это было обидно, и Воробей, приняв подношение, не почувствовал никакой благодарности.

* * *

Быть может, новенький так и остался бы незаметной личностью, если бы не одно событие, которое взбудоражило и восстановило против него всю школу.

Почти одновременно с Пантелеевым в Шкиде появилась еще одна особа. Эта особа не числилась в списке воспитанников, не принадлежала она и к сословию халдеев. Это была дряхлая старуха,

мать Викниксора, приехавшая к нему, неизвестно откуда и поселившаяся в его директорской квартире. Старуха эта была почти совсем слепа. Наверно, именно поэтому шкидцы, которые каждый в отдельности могли быть и добрыми, и чуткими, и отзывчивыми, а в массе, как это всегда бывает с ребятами, были безжалостны и жестоки, прозвали старуху Совой. Сова была существо безобидное. Она редко появлялась за дверью викниксоровской квартиры. Только два-три раза в день шкидцы видели, как, хватаясь свободной рукой за стену и за косяки дверей, пробирается она с какой-нибудь кастрюлькой или сковородкой на кухню или из кухни. Если в это время поблизости не было Викниксора и других халдеев, какой-нибудь шпингалет из первого отделения, перебегая старухе дорогу, кричал почти над самым ее ухом:

– Сова ползет!.. Дю! Сова!..

Но старуха была еще, по-видимому, и глуховата. Не обращая внимания на эти дикие выкрики, с кроткой улыбкой на сером морщинистом лице, она продолжала свое нелегкое путешествие.

И вот однажды по Шкиде пронесся слух, что Сова жарит на кухне какие-то необыкновенные лепешки. Было это в конце недели, когда все домашние запасы у ребят истощались и аппетит становился зверским. Особенно разыгрался аппетит у щуплого Японца, который не имел родственников в Петрограде и жил на одном казенном пайке и на доброхотных даяниях товарищей.

Пока Сова с помощью кухарки Марты священнодействовала у плиты, шкидцы толпились у дверей кухни и глотали слюни.

– Вот так смак! – раздавались голодные завистливые голоса.

– Ну и лепешечки!

– Шик-маре!

– Ай да Витя! Вкусно питается…

А Японец совсем разошелся. Он забегал на кухню, жадно втягивал ноздрями вкусный запах жареного сдобного теста и, потирая руки, выбегал обратно в коридор.

– Братцы! Не могу! Умру! – заливался он. – На маслице! На сливочном! На натуральненьком!..

Потом снова бежал на кухню, становился за спиной Совы на одно колено, воздымал к небу руки и кричал:

– Викниксор! Лукулл! Завидую тебе! Умру! Полжизни за лепешку.

Ребята смеялись. Японец земно кланялся старухе, которая ничего этого не видела, и продолжал паясничать.

– Августейшая мать! – кричал он. – Порфироносная вдова! Преклоняюсь…

В конце концов Марта выгнала его.

Но Японец уже взвинтил себя и не мог больше сдерживаться. Когда через десять минут Сова появилась в коридоре с блюдом дымящихся лепешек в руках, он первый бесшумно подскочил к ней и так же бесшумно двумя пальцами сдернул с блюда горячую лепешку. Для шкидцев это было сигналом к действию. Следом за Японцем к блюду метнулись Янкель, Цыган, Воробей, а за ними и другие. На всем пути следования старухи – и в коридоре, и на лестнице, и в Белом зале – длинной цепочкой выстроились серые бесшумные тени.

Придерживаясь левой рукой за гладкую алебастровую стену, старуха медленно шла по паркету Белого зала, и с каждым ее шагом груда аппетитных лепешек на голубом фаянсовом блюде таяла. Когда Сова открывала дверь в квартиру, на голубом блюде не оставалось ничего, кроме жирных пятен.

А шкидцы уже разбежались по классам.

В четвертом отделении стоял несмолкаемый гогот. Запихивая в рот пятую или шестую лепешку и облизывая жирные пальцы, Японец на потеху товарищам изображал, как Сова входит с пустым блюдом в квартиру и как Викниксор, предвкушая удовольствие плотно позавтракать, плотоядно потирает руки.

– Вот, кушай, пожалуйста, Витенька. Вот сколько я тебе, сыночек, напекла, – шамкал Японец, передразнивая старуху. И, вытягивая свою тощую шею, тараща глаза, изображал испуганного, ошеломленного Викниксора…

Ребята, хватаясь за животы, давились от смеха. У всех блестели и глаза, и губы. Но в этом смехе слышались и тревожные нотки. Все понимали, что проделка не пройдет даром, что за преступлением вот-вот наступит и наказание.

И тут кто-то заметил новичка, который, насупившись, стоял у дверей и без улыбки смотрел на происходящее. У него одного не блестели губы, он один не притронулся к лепешкам Совы. А между тем многие видели его у дверей кухни, когда старуха выходила оттуда.

– А ты чего зевал? – спросил у него Цыган. – Эх ты, раззява! Неужели ни одной лепешки не успел слямзить?!

– А ну вас к чегту, – пробормотал новенький.

– Что?! – подскочил к нему Воробей. – Это через почему же к черту?

– А потому, что это – хамство, – краснея, сказал новенький, и губы у него запрыгали. – Скажите – гегои какие: на стагуху напали!..

В классе наступила тишина.

– Вот как? – мрачно сказал Цыган, подходя к Пантелееву. – А ты иди к Вите – накати.

Пантелеев промолчал.

– А ну, иди – попробуй! – наступал на новичка Цыган.

– Сволочь такая! Легавый! – взвизгнул Воробей, замахиваясь на новенького. Тот схватил его за руку и оттолкнул.

И хотя оттолкнул он не Японца, а Воробья, Японец дико взвизгнул и вскочил на парту.

– Граждане! Внимание! Тихо! – закричал он. – Братцы! Небывалый случай в истории нашей республики! В наших рядах оказалась ангелоподобная личность, монашенка в штанах, пепиньерка из института благородных девиц…

– Идиот, – сквозь зубы сказал Пантелеев. Сказано это было негромко, но Японец услышал. Маленький, вечно красный носик его еще больше покраснел. Несколько секунд Еошка молчал, потом соскочил с парты и быстро подошел к Пантелееву.

– Ты что, друг мой, против класса идешь? Выслужиться хочешь?

– Ребята, – повернулся он к товарищам, – ни у кого не осталось лепешки?..

– У меня есть одна, – сказал запасливый Горбушка, извлекая из кармана скомканную и облепленную табачной трухой лепешку.

– А ну, дай сюда, – сказал Японец, выхватывая лепешку. – Ешь! – протянул он ее Пантелееву.

Новенький отшатнулся и плотно сжал губы.

– Ешь, тебе говорят! – побагровел Еонин и сунул лепешку новенькому в рот.

Пантелеев оттолкнул его руку.

– Уйди лучше, – совсем тихо сказал он и взялся за ручку двери.

– Нет, не смоешься! – еще громче завизжал Японец. – Ребята, вали его!..

Несколько человек накинулись на новенького. Кто-то ударил его под колено, он упал. Цыган и Купец держали его за руки, а Японец, пыхтя и отдуваясь, запихивал новенькому в рот грязную, жирную лепешку. Новенький вывернулся и ударил головой Японца в подбородок.

– Ах, ты драться?! – заверещал Японец.

– Вот сволочь какая!

– Дерется, зануда! А?

– В темную его!

– Даешь темную!..

Пантелеева потащили в дальний угол класса. Неизвестно откуда появилось пальто, которое накинули новенькому на голову. Погасло электричество, и в наступившей тишине удары один за другим посыпались на голову непокорного новичка.

Никто не заметил, как открылась дверь. Ярко вспыхнуло электричество. В дверях, поблескивая пенсне, стоял и грозно смотрел на ребят Викниксор.

– Что здесь происходит? – раздался его раскатистый, но чересчур спокойный бас.

Ребята успели разбежаться, только Пантелеев сидел на полу, у классной доски, потирая кулаком свой курносый нос, из которого тоненьким ручейком струилась кровь, смешиваясь со слезами и с прилипшими к подбородку остатками злополучной лепешки.

– Я спрашиваю: что здесь происходит? – громче повторил Викниксор. Ребята стояли по своим местам и молчали. Взгляд Викниксора остановился на Пантелееве. Тот уже поднялся и, отвернувшись в угол, приводил себя в порядок, облизывая губы, глотая слезы и остатки лепешки. Викниксор оглядел его с головы до ног и как будто что-то понял. Губы его искривила брезгливая усмешка.

– А ну, иди за мной! – приказал он новенькому.

Пантелеев не расслышал, но повернул голову в сторону зава.

– Ты! Ты! Иди за мной, я говорю.

– Куда?

Викниксор кивком головы показал на дверь и вышел. Не глядя на ребят, Пантелеев последовал за ним. Ребята минуту подождали, переглянулись и, не сговариваясь, тоже ринулись из класса.

Через полуотворенную дверь Белого зала они видели, как Викниксор открыл дверь в свою квартиру, пропустил туда новенького, и тотчас высокая белая дверь шумно захлопнулась за ними.

Ребята еще раз переглянулись.

– Ну уж теперь накатит – факт! – вздохнул Воробей.

– Ясно, накатит, – мрачно согласился Горбушка, который и без того болезненно переживал утрату последней лепешки.

– А что ж. Накатит – и будет прав, – сказал Янкель, который, кажется один во всем классе, не принимал участия в избиении новичка.

Но, независимо от того, кто как оценивал моральную стойкость новичка, у всех на душе было муторно и противно.

И вдруг произошло нечто совершенно фантастическое. Высокая белая дверь с шумом распахнулась – и глазам ошеломленных шкидцев предстало зрелище, какого они не ожидали и ожидать не могли: Викниксор выволок за шиворот бледного, окровавленного Пантелеева и, протащив его через весь огромный зал, грозно зарычал на всю школу:

– Эй, кто там! Староста! Дежурный! Позвать сюда дежурного воспитателя!

Из учительской уже бежал заспанный и перепуганный Шершавый.

– В чем дело, Виктор Николаевич?

– В изолятор! – задыхаясь, прохрипел Викниксор, указывая пальцем на Пантелеева. – Немедленно! На трое суток!

Шершавый засуетился, побежал за ключами, и через пять минут новенький был водворен в тесную комнатку изолятора – единственное в школе помещение, окно которого было забрано толстой железной решеткой.

Шкидцы притихли и недоумевали. Но еще большее недоумение

произвела на них речь Викниксора, произнесенная им за ужином.

– Ребята! – сказал он, появляясь в столовой и делая несколько широких, порывистых шагов по диагонали, что, как известно, свидетельствовало о взволнованном состоянии шкидского президента. – Ребята, сегодня в стенах нашей школы произошел мерзкий, возмутительный случай. Скажу вам откровенно: я не хотел поднимать этого дела, пока это касалось лично меня и близкого мне человека. Но после этого произошло другое событие, еще более гнусное. Вы знаете, о чем и о ком я говорю. Один из вас – фамилии его я называть не буду, она вам всем известна – совершил отвратительный поступок. Он обидел старого, немощного человека. Повторяю, я не хотел говорить об этом, хотел промолчать. Но позже я оказался свидетелем поступка еще более омерзительного. Я видел, как вы избивали своего товарища. Я хорошо понимаю, ребята, и даже в какой-то степени разделяю ваше негодование, но… Но надо знать меру. Как бы гнусно ни поступил Пантелеев, выражать свое возмущение таким диким, варварским способом, устраивать самосуд, прибегать к суду Линча, то есть поступать так, как поступают потомки американских рабовладельцев, – это позорно и недостойно вас, людей советских, и притом почти взрослых…

Оседлав своего любимого конька – красноречие, – Викниксор еще долго говорил на эту тему. Он говорил о том, что надо быть справедливым, что за спиной у Пантелеева – темное прошлое, что он – испорченный улицей парень, ведь в свои четырнадцать лет он успел посидеть и в тюрьмах, и в исправительных колониях. Этот парень

долго находился в дурном обществе, среди воров и бандитов, и все это надо учесть, так сказать, при вынесении приговора. А кроме того, может быть, он еще и голоден был, когда совершил свой низкий, недостойный поступок. Одним словом, надо подходить к человеку снисходительно, нельзя бросать в человека камнем, не разобравшись во всех мотивах его преступления, надо воспитывать в себе выдержку и чуткость…

Викниксор говорил долго, но шкидцы уже не слушали его. Не успели отужинать, как в четвертом отделении собрались старшеклассники.

Ребята были явно взволнованы и даже обескуражены.

– Ничего себе – монашенка в штанах! – воскликнул Цыган, едва переступив порог класса.

– Н-да, – многозначительно промычал Янкель.

– Что же это, братцы, такое? – сказал Купец. – Не накатил, значит?

– Не накатил – факт! – поддакнул Воробей.

– Ну, положим, это еще не факт, а гипотеза, – важно заявил Японец. – Хотелось бы знать, с какой стати в этой ситуации Викниксор выгораживает его?!

– Ладно, Япошка, помолчи, – серьезно сказал Янкель. – Кому-кому, а тебе в этой ситуации заткнуться надо бы.

Японец покраснел, пробормотал что-то язвительное, но все-таки замолчал.

Перед сном несколько человек пробрались к изолятору. Через замочную скважину сочился желтоватый свет пятисвечовой угольной

лампочки.

– Пантелей, ты не спишь? – негромко спросил Янкель. За дверью заскрипела железная койка, но ответа не было.

– Пантелеев! Ленька! – в скважину сказал Цыган. – Ты… этого… не сердись. А? Ты, понимаешь, извини нас. Ошибка, понимаешь, вышла.

– Ладно… катитесь к чегту, – раздался из-за двери глухой, мрачный голос. – Не мешайте спать человеку.

– Пантелей, ты жрать не хочешь? – спросил Горбушка.

– Не хочу, – отрезал тот же голос.

Ребята потоптались и ушли.

Но попозже они все-таки собрались между собой и принесли гордому узнику несколько ломтей хлеба и кусок сахару. Так как за дверью на этот раз царило непробудное молчание, они просунули эту скромную передачу в щелку под дверью. Но и после этого железная койка не скрипнула.

* * *

Разговорчивым Ленька никогда не был. Ему надо было очень близко подружиться с человеком, чтобы у него развязался язык. А тут, в Шкиде, он и не собирался ни с кем дружить. Он жил какой-то рассеянной жизнью, думая только о том, как и когда он отсюда смоется.

Правда, когда он пришел в Шкиду, эта школа показалась ему непохожей на все остальные детдома и колонии, где ему привелось до сих пор побывать. Ребята здесь были более начитанные. А главное –

здесь по-хорошему встречали новичков, никто их не бил и не преследовал. А Ленька, наученный горьким опытом, уже приготовился дать достойный отпор всякому, кто к нему полезет.

До поры до времени к нему никто не лез. Наоборот, на него как будто перестали даже обращать внимание, пока не произошел этот случай с Совой, который заставил говорить о Пантелееве всю школу и сделал его на какое-то время самой заметной фигурой в Шкидской республике.

Ленька попал в Шкиду не из института благородных девиц. Он уже давно не краснел при слове «воровство». Если бы речь шла о чем-нибудь другом, если бы ребята задумали взломать кладовку или пошли на какое-нибудь другое, более серьезное дело, может быть, он из чувства товарищества и присоединился бы к ним. Но когда он увидел, что ребята напали на слепую старуху, ему стало противно. Такие вещи и раньше вызывали в нем брезгливое чувство. Ему, например, было противно залезть в чужой карман. Поэтому на карманных воров он всегда смотрел свысока и с пренебрежением, считая, по-видимому, что украсть чемодан или взломать на рынке ларек – поступок более благородный и возвышенный, чем карманная кража.

Когда ребята напали на Леньку и стали его бить, он не очень удивился. Он хорошо знал, что такое приютские нравы, и сам не один раз принимал участие в «темных». Он даже не очень сопротивлялся тем, кто его бил, только защищал по мере возможности лицо и другие наиболее ранимые места. Но когда в класс явился Викниксор и, вместо

того чтобы заступиться за Леньку, грозно на него зарычал, Ленька почему-то рассвирепел. Тем не менее он покорно проследовал за Викниксором в его кабинет.

Викниксор закрыл дверь и повернулся к новенькому, который по-прежнему шмыгал носом и вытирал рукавом окровавленное лицо. Викниксор, как заядлый Шерлок Холмс, решил с места в карьер огорошить воспитанника.

– За что тебя били товарищи? – спросил он, впиваясь глазами в Ленькино лицо.

Ленька не ответил.

– Ты что молчишь? Кажется, я тебя спрашиваю: за что тебя били в классе?

Викниксор еще пристальнее взглянул новенькому в глаза:

– За лепешки, да?

– Да, – пробурчал Ленька.

Лицо Викниксора налилось кровью. Можно было ожидать, что сейчас он закричит, затопает ногами. Но он не закричал, а спокойно и отчетливо, без всякого выражения, как будто делал диктовку, сказал:

– Мерзавец! Выродок! Дегенерат!

– Вы что ругаетесь! – вспыхнул Ленька, – Какое вы имеете право?.

И тут Викниксор подскочил и заревел на всю школу:

– Что-о-о?! Как ты сказал? Какое я имею право?! Скотина! Каналья!

– Сам каналья, – успел пролепетать Ленька.

Викниксор задохнулся, схватил новичка за шиворот и поволок его к двери.

Все остальное произошло уже на глазах ошеломленных шкидцев.

* * *

Ленька третьи сутки сидел в изоляторе и не знал, что его судьба взбудоражила и взволновала всю школу.

В четвертом отделении с утра до ночи шли бесконечные дебаты.

– Все-таки, ребята, это хамство, – кипятился Янкель. – Парень взял на себя вину, страдает неизвестно за что, а мы…

– Что же ты, интересно, предлагаешь? – язвительно усмехнулся Японец.

– Что я предлагаю? Мы должны всем классом пойти к Викниксору и сказать ему, что Пантелеев не виноват, а виноваты мы.

– Ладно! Дураков поищи. Иди сам, если хочешь.

– Ну и что? А ты что думаешь? И пойду…

– Ну и пожалуйста. Скатертью дорога.

– Пойду и скажу, кто был зачинщиком всего этого дела. И кто натравил ребят на Леньку.

– Ах, вот как? Легавить собираешься?

– Тихо, робя! – пробасил Купец. – Вот что я вам скажу. Всем классом идти – это глупо, конечно. Если все пойдем – значит, все и огребем по пятому разряду…

– Жребий надо бросить, – пропищал Мамочка.

– Может быть, оракула пригласить? – захихикал Японец.

– Нет, робя, – сказал Купец. – Оракула приглашать не надо. И жребий тоже не надо. Я думаю вот чего… Я думаю – должен пойти один и взять всю вину на себя.

– Это кто же именно? – поинтересовался Японец.

– А именно – ты!

– Я?

– Да… пойдешь ты!

Сказано это было тоном категорического приказа.

Японец побледнел.

Неизвестно, чем кончилась бы вся эта история, если бы по Шкиде не пронесся слух, что Пантелеев выпущен из изолятора. Через несколько минут он сам появился в классе. Лицо его, разукрашенное синяками и подтеками, было бледнее обычного. Ни с кем не поздоровавшись, он прошел к своей парте, сел и стал собирать свои пожитки. Не спеша он извлек из ящика и выложил на парту несколько книг и тетрадок, начатую пачку папирос «Смычка», вязаное, заштопанное во многих местах кашне, коробочку с перышками и карандаши, кулечек с остатками постного сахара – и стал все это связывать обрывком шпагата.

Класс молча наблюдал за его манипуляциями.

– Ты куда это собрался, Пантелей? – нарушил молчание Горбушка.

Пантелеев не ответил, еще больше нахмурился и засопел.

– Ты что – в бутылку залез? Разговаривать не желаешь? А?

– Брось, Ленька, не сердись, – сказал Янкель, подходя к новенькому. Он положил руку Пантелееву на плечо, но Пантелеев движением плеча сбросил его руку.

– Идите вы все к чегту, – сказал он сквозь зубы, крепче затягивая

узел на своем пакете и засовывая этот пакет в парту.

И тут к пантелеевской парте подошел Японец.

– Знаешь, Ленька, ты… это самое… ты – молодец, – проговорил он, краснея и шмыгая носом. – Прости нас, пожалуйста. Это я не только от себя, я от всего класса говорю. Правильно, ребята?

– Правильно!!! – загорланили ребята, обступая со всех сторон Ленькину парту. Скуластое лицо новенького порозовело! Что-то вроде слабой улыбки появилось на его пересохших губах.

– Ну, что? Мировая? – спросил Цыган, протягивая новичку руку.

– Чегт с вами! Миговая, – прокартавил Ленька, усмехаясь и отвечая на рукопожатие.

Обступив Леньку, ребята один за другим пожимали ему руку.

– Братцы! Братцы! А мы главного-то не сказали! – воскликнул Янкель, вскакивая на парту. И, обращаясь с этой трибуны к новенькому, он заявил: – Пантелей, спасибо тебе от лица всего класса за то… что ты… ну, ты, одним словом, сам понимаешь.

– За что? – удивился Ленька, и по лицу его было видно, что он не понимает.

– За то… за то, что ты не накатил на нас, а взял вину на себя.

– Какую вину?

– Как какую? Ты же ведь сказал Вите, будто лепешки у Совы ты замотал? Ладно, не скромничай. Ведь сказал?

– Я?

– Ну да! А кто же?

– И не думал.

– Как не думал?

– Что я, дурак, что ли?

В классе опять наступила тишина. Только Мамочка, не сдержавшись, несколько раз приглушенно хихикнул.

– Позвольте, как же это? – проговорил Янкель, потирая вспотевший лоб. – Что за черт?! Ведь мы думали, что тебя за лепешки Витя в изолятор посадил.

– Да. За лепешки. Но я-то тут при чем?

– Как ни при чем?

– Так и ни при чем.

– Тьфу! – рассердился Янкель. – Да объясни ты наконец, зануда, в чем дело!

– Очень просто. И объяснять нечего. Он спрашивает: «За что тебя били? За лепешки?» Я и сказал: «Да, за лепешки…»

Пантелеев посмотрел на ребят, и шкидцы впервые увидели на его скуластом лице веселую, открытую улыбку.

– А что? Газве не пгавда? – ухмыльнулся он. – Газве не за лепешки вы меня били, чегти?..

Дружный хохот всего класса не дал Пантелееву договорить.

Был заключен мир. И Пантелеев был навсегда принят как полноправный член в дружную шкидскую семью.

Узелок его с перышками, кашне и постным сахаром был в тот же день распакован, и содержимое его легло по своим местам. А через некоторое время Ленька и вообще перестал думать о побеге. Ребята его полюбили, и он тоже привязался ко многим своим новым товарищам.

Когда он немного оттаял а разговорился, он рассказал ребятам свою жизнь.

И оказалось, что Викниксор был прав: этот тихенький, неразговорчивый и застенчивый паренек прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Он рано растерял семью и несколько лет беспризорничал, скитался по разным городам республики. До Шкиды он успел побывать в четырех или пяти детдомах и колониях; не раз ему приходилось ночевать и в тюремных камерах, и в арестных домах, и в железнодорожных Чека… За спиной его было несколько приводов в угрозыск.

В Шкиду Ленька пришел по своей воле; он сам решил покончить со своим темным прошлым. Поэтому прозвище Налетчик, которое дали ему ребята вместо не оправдавшей себя клички Монашенка, его не устраивало и возмущало. Он сердился и лез с кулаками на тех, кто его так называл. Тогда кто-то придумал ему новую кличку – Лепешкин…

Но тут опять произошло событие, которое не только прекратило всякие насмешки над новеньким, но и вознесло новообращенного шкидца на совершенно недосягаемую высоту.

* * *

Как-то, недели за две до поступления в Шкиду, Ленька смотрел в кинематографе «Ампир» на Садовой американский ковбойский боевик. Перед сеансом показывали дивертисмент: выступали фокусники, жонглеры, похожая на рыбу певица в чешуйчатом платье спела два

романса, две девушки в матросских штанах сплясали матлот, а под конец выступил куплетист, который исполнял под аккомпанемент маленького аккордеона «частушки на злобу дня». Ленька прослушал эти частушки, и ему показалось, что он сам может написать нисколько не хуже. Вернувшись домой, он вырвал из тетради листок и, торопясь, чтобы не растерять вдохновение, за десять минут набросал шесть четверостиший, среди которых было и такое:

Курсы золота поднялись
По причине нэпа.
В Петрограде на Сенной
Три лимона репа.

Все это сочинение он озаглавил «Злободневные частушки». Потом подумал, куда послать частушки, и решил послать их в «Красную газету». Несколько дней после этого он ждал ответа, но ответ не последовал. А потом события Ленькиной жизни завертелись с быстротой американского боевика, и ему уже было не до частушек и не до «Красной газеты». Он забыл о них.

Скоро он очутился в Шкиде.

И вот однажды после уроков в класс четвертого отделения с шумом ворвался взволнованный и запыхавшийся третьеклассник Курочка. В руках он держал скомканный газетный лист.

– Пантелеев! Это не ты? – закричал он, едва переступив порог.

– Что? – побледнел Ленька, с трудом вылезая из-за парты. Сердце его быстро-быстро заколотилось. Ноги и руки похолодели.

Курочка поднял над головой, как знамя, газетный лист.

– Ты стихи в «Красную газету» посылал?

– Да… посылал, – пролепетал Ленька.

– Ну, вот. Я так и знал. А ребята спорят, говорят – не может быть.

– Покажи, – сказал Ленька, протягивая руку. Его обступили. Буквы в глазах у него прыгали и не складывались в строчки.

– Где? Где? – спрашивали вокруг.

– Да вот. Ты внизу смотри, – волновался Курочка. – Вон, где написано «Почтовый ящик»…

Ленька нашел «Почтовый ящик», отдел, в котором редакция отвечала авторам. Где-то на втором или третьем месте в глаза ему бросилась его фамилия, напечатанная крупным шрифтом. Когда в глазах у него перестало рябить, он прочел:

> «АЛЕКСЕЮ ПАНТЕЛЕЕВУ. Присланные Вам «злободневные частушки» – не частушки, а стишки Вашего собственного сочинения. Не пойдет».

На несколько секунд похолодевшие Ленькины ноги отказались ему служить. Вся кровь прилила к ушам. Ему казалось, что он не сможет посмотреть товарищам в глаза, что сейчас его освистят, ошельмуют, поднимут на смех.

Но ничего подобного не случилось. Ленька поднял глаза и увидел, что обступившие его ребята смотрят на него с таким выражением, как будто перед ними стоит если не Пушкин, то по крайней мере Блок иди Демьян Бедный.

– Вот так Пантелей! – восторженно пропищал Мамочка.

– Ай да Ленька! – не без зависти воскликнул Цыган.

– Может, это не он? – усомнился кто-то.

– Это ты? – спросили у Леньки.

– Да… я, – ответил он, опуская глаза – на этот раз уже из одной скромности.

Газета переходила из рук в руки.

– Дай! Дай! Покажи! Дай позексать! – слышалось вокруг.

Но скоро Курочка унес газету. И Ленька вдруг почувствовал, что унесли что-то очень ценное, дорогое, унесли частицу его славы, свидетельство его триумфа.

Он разыскал дежурного воспитателя Алникпопа и слезно умолил отпустить его на пять минут на улицу. Сашкец, поколебавшись, дал ему увольнительную. На углу Петергофского и проспекта Огородникова Ленька купил у газетчика за восемнадцать тысяч рублей свежий номер «Красной газеты». Еще на улице, возвращаясь в Шкиду, он раз пять развертывал газету и заглядывал в «Почтовый ящик». И тут, как и в Курочкином экземпляре, черным по белому было напечатано: «Алексею Пантелееву…»

Ленька стал героем дня.

До вечера продолжалось паломничество ребят из младших отделений. То и дело дверь четвертого отделения открывалась и несколько физиономий сразу робко заглядывало в класс.

– Пантелей, покажи газетку, а? – умоляюще канючили малыши. Ленька снисходительно усмехался, доставал из ящика парты газету и давал всем желающим. Ребята читали вслух, перечитывали снова, качали головами, ахали от изумления.

И все спрашивали у Леньки:

– Это ты?

– Да, это я, – скромно отвечал Ленька.

Даже в спальне, после отбоя, продолжалось обсуждение этого из ряда вон выходящего события.

Ленька засыпал пресыщенный славой.

Ночью, часа в четыре, он проснулся и сразу вспомнил, что накануне произошло что-то очень важное. Газета, тщательно сложенная, лежала у него под подушкой. Он осторожно достал ее и развернул. В спальне было темно. Тогда он босиком, в одних подштанниках, вышел на лестницу и при бледном свете угольной лампочки еще раз прочел:

> «Алексею Пантелееву. Присланные Вами частушки – не частушки, а стишки Вашего собственного сочинения. Не пойдет».

Так в Шкидской республике появился еще один литератор, и на этот раз литератор с именем. Прошло немного времени, и ему пришлось проявить свои способности уже на шкидской арене – на благо республики, которая стала ему родной и близкой.

О «Шестой державе»

Кто поверит теперь, что в годы блокады, голодовки и бумажного кризиса, когда население Совроссии читало газеты только на стенах домов, в Шкидской маленькой республике с населением в шестьдесят человек выходило 60 (шестьдесят) периодических изданий – всех

сортов, типов и направлений?

Случилось так.

Выходило «Зеркало», старейший печатный орган Шкидской республики. Крепко стала на ноги газета, аккуратно еженедельно появлялись ее номера на стенке, и вдруг пожар уничтожил ее.

Газета умерла, но на смену ей появился журнал. Тот же Янкель печатными буквами переписывал материал, тот же Японец писал статьи, и то же название осталось – «Зеркало». Только размах стал пошире.

И никто не предполагал, что блестящему «Зеркалу» в скором времени суждено будет треснуть и рассыпаться на десятки осколков и осколочков.

Катастрофа эта произошла из-за несходства взглядов двух редакторов журнала. Не поладили Янкель с Япончиком.

Япончик – журналист серьезный, с «направлением». Япончику не нравится обычный еженедельный ученический журнал, освещающий жизнь и быт школы в стихах и рассказах. Нет, Япончик мечтает из «Зеркала» сделать ежемесячник, толстый, увесистый и солидный журнал со статьями и рефератами по истории, искусству, философии. Япончик гнет все время свою линию, и лицо журнала меняется. Количество страниц увеличивается до тридцати, потом журнал становится двухнедельным, потом десятидневным, а школьная хроника и юмор изгоняются прочь. Им не место в «умном» журнале. Зато Еонин пишет большой исторический труд с продолжениями: «Суд в Древней Руси».

Увесистый труд разделен на три номера «Зеркала» и в каждом номере занимает от пятнадцати до двадцати страниц.

Янкель окончательно забит: он превращается в ходячую типографию. Ему остается только техническая часть: печатать, рисовать и выпускать номер. Но Янкелю очень скучно без конца переписывать статьи о Древней Руси. Он знает прекрасно, что никто не прочтет их, кроме автора и несчастного типографа. Янкель выбился из сил. Тридцать страниц аккуратно переписать печатными буквами, разрисовать, прибавить виньетки, и все – за шесть-восемь дней. Тяжело! Янкель отупел от технической работы. Она ему опротивела.

Выпустив семь номеров журнала, Янкель призадумался. Ему также хотелось творить – писать стихи, рассказы, сочинять веселые фельетоны из школьной жизни, а времени не хватало. Япончик съел время «Древней Русью». Тогда Янкель решил отступиться от журнала, бросить его. «Ну его к черту!» – подумал он, что относилось в равной степени и к Японцу, и к суду Древней Руси.

Несколько дней Янкель не брался за журнал. «Зеркало» лежало на столе, до половины исписанное, а вторая половина улыбалась чистыми листами. Японец злился и нервничал. У него уже были готовы три новые статьи, а Янкель только ходил да посвистывал.

Приближался срок выхода журнала. Наконец Японец не выдержал и решительно подошел к Янкелю:

– Писать надо. Журнал пора выпускать.

Янкель поморщился, потянулся и сказал спокойно:

– А ну его к черту. Неохота!

– Как это неохота?

– А так. Очень просто. Неохота – и все.

Япончик разозлился.

– Ты вообще-то будешь работать или нет?

Но Янкель так же спокойно ответил:

– А тебе-то что?

– Как что? Ты редактор или не редактор?

– Ну, редактор.

– Работать будешь?

– Неохота.

– Значит, не будешь?!

– Ну и не буду.

– Почему?

– Надоело.

Японец покраснел, пошмыгал носиком.

– Ну, валяй как хочешь, – сказал он, надувшись и отходя в сторону.

Тихо посмеивался класс, наблюдая, как распри разъедают крепкую редакцию.

С тех пор «Зеркало» больше не выходило. Республика осталась без прессы. Даже Викниксор встревожился – приходил, спрашивал: почему? Но ребята отнекивались, мялись, обещали, что скоро опять будет все по-прежнему. Однако прежнее ушло навсегда. Неделю редакторы наслаждались покоем, ходили на прогулки вместе с классом, а потом вдруг и тому и другому стало скучно, словно не хватало чего. Приуныли.

Объединяться вновь уже ни тому, ни другому но хотелось. Опротивели друг другу. И класс стал замечать, как, уткнувшись в бумажные листы, каждый за своей партой, снова зацарапали по бумаге Янкель и Япончик. Заинтересовались: что это вдруг увлекло так обоих?

Однажды после уроков Янкель, сидевший около печки, оживился.

Достал веревку, заходил вокруг печки, что-то вымерил, высчитал, потом вбил между двумя кафельными плитками пару гвоздей и натянул на этих гвоздях веревку.

– Ты это зачем? – удивлялись ребята, но Гришка улыбался многозначительно и говорил загадочно:

– Не спешите. Узнаете.

Потом он долго рисовал акварельными красками какой-то плакат и наконец торжественно наклеил это произведение на печку около своей парты. Яркий плакат, в углу которого было изображено какое-то носатое насекомое, гласил:

Издательство «Комар»

Пониже Янкель пристроил вторую вывеску:

Редакция еженедельного юмористического журнала

«КОМАР»

А где-то сбоку прилепилась третья:

Типография издательства «КОМАР»

Тут же на веревке был торжественно вывешен первый номер сатирического и юмористического журнала «Комар», форматом в

тетрадочный лист и размером в восемь страничек.

– Это что же такое? – спрашивали ребята, с любопытством рассматривая и ощупывая работу Янкеля. Тот улыбался и снисходительно объяснял:

– А это новый журнал «Комар». Еженедельный. Выходит, как «Огонек» или «Красная панорама», раз в неделю и даже чаще.

– А почему он такой тоненький? – пробасил Купец, с презрением щупая четыре листа журнала.

– Тоненький? Потому и тоненький, что не толстый, – огласил свою первую остроту редактор юмористического журнала.

Читали «Комара» всем классом – понравился. Только Япончик даже взглядом не удостоил новый журнал, он сидел, уткнувшись в парту, и, шмыгая носом, что-то быстро писал. Японец решил во что бы то ни стало осуществить свою идею о толстом ежемесячнике и на другой день после выхода «Комара» дал о себе знать. Повсюду на стенах – в залах, в классах и даже в уборных – появились неумело, от руки написанные объявления:

ВНИМАНИЕ!!!

Организуется новое книгоиздательство

«ВПЕРЕД»

В скором времени выходит №1 ежемесячного

журнала «ВПЕРЕД»

В журнале постоянно сотрудничают Г. Еонин,

К. Финкельштейн, Н. Громоносцев и др.

Кроме ежемесячника «Вперед» книгоиздательство

выпускает еженедельную газету «Неделя»

Газета выходит при участии

Н. Громоносцева, К. Финкельштейна, Г. Еонина и др.

ЧИТАЙТЕ!! ЧИТАЙТЕ!!!

ЧИТАЙТЕ!!!

СКОРО!

СКОРО!

СКОРО!

Новое издательство заработало энергично, и в тот же день появился первый номер «Недели». Неказистый вид этой новой газеты возмещался богатством ее содержания и обилием сотрудников, которые обещали выступать на ее страницах. Среди сотрудников, скрывавшихся под таинственным шифром «и др.», находился и новичок Пантелеев: в первом номере были опубликованы его знаменитые «злободневные частушки», столь легкомысленно отвергнутые в свое время «Красной газетой». Япончик торжествовал. Теперь он с удвоенным рвением взялся за подготовку ежемесячника. Размах был грандиозный. Номер решили выпускать в шесть или семь тетрадей толщиной, с вкладными иллюстрациями.

Янкелю оставалось только злиться. Он был бессилен

перещеголять новое издательство. Он был один.

Все чаще и чаще прибегали из других классов к Япончику с вопросами:

– Скоро «Неделя» выйдет?

– «Вперед» скоро появится?

И Япончик, горделиво скосив глаза на Янкеля, нарочно громко говорил:

– Газета и журнал выходят и будут выходить своевременно, в объявленные сроки!

Однако Черных решил не сдаваться, он долго обдумывал создавшееся положение и твердо решил: «Буду бороться. Надо почаще выпускать «Комара»…»

Началась горячка. Ежевечерне после невероятных дневных трудов Янкель с гордостью вывешивал на веревочку у печки все новые и новые номера. Улучшил технику, стал делать рисунки в красках и добился своего. Ребятам надоело дожидаться толстого ежемесячника, они все больше привыкали к «Комару». Уже вошло в привычку утром приходить в четвертое отделение и читать свежий номер журнала. «Комар» победил. Но Янкелю эта победа досталась недешево. Он осунулся, похудел, потерял сон и аппетит…

Через неделю вышел второй номер Еошкиной «Недели». На этот раз газета не привлекла внимания читателей, так как была без рисунков и написана от руки карандашом. Зато неудача Япончика повлекла за собой неожиданные последствия.

Всю неделю Купец ходил погруженный в какие-то размышления,

а когда увидел серенькую и неприглядную Япошкину газетку, громогласно на весь класс заявил:

– Какого черта! И я такую выпущу. И даже лучше. И даже не газету, а журнал!

Заявление Купца было неожиданным – тем более что всего десяток дней назад он смеялся над чудаками редакторами:

– Охота вам время терять, кедрилы-мученики! Ведь денег за это не платят.

И вдруг Купец – редактор журнала «Мой пулемет» – собирает штат сотрудников. «Мой пулемет», по заявлению редактора, называется так потому, что будет выходить очень часто, как пулемет стреляет. Тотчас же вокруг нового органа создалось ядро журналистов из малоизвестных начинающих литераторов – Мамочки и Горбушки, – а скоро и Ленька Пантелеев порвал с Япончиком и также перешел в молодое, но многообещающее издательство Купца. «Мой пулемет» пошел в гору.

Уже беспрерывно выходили три органа: «Комар» Янкеля, «Неделя» Японца и «Мой пулемет» Купца, но ни один из них не отвечал требованиям Цыгана.

– Что же это за издания, сволочи! Ни ребусов, ни задач не помещают. Барахло!

Цыган был полон негодования. Он пробовал ввести свой отдел во всех трех органах, но ему везде вежливо отказывали. Тогда Громоносцев внес свое предложение в издательство «Вперед», где был одним из редакторов и деятельным сотрудником:

– Ребята, Япончик, Кобчик! Предлагаю в журнале ввести отдел «Головоломка». Я буду редактором.

Поэт Костя Финкельштейн – Кобчик – запротестовал первый:

– Не надо. У нас журнал научно-литературный, солидный ежемесячник. Не надо.

– Не стоит, – подтвердил и Японец, чем окончательно вывел из себя любителя шарад и головоломок.

– Хорошо, – заявил тот. – Не хотите – не надо. Обойдусь и без вас.

Цыган вышел из редакции «Вперед», и в скором времени в «Комаре» появилось объявление:

На днях выходит новый журнал шарад, ребусов

и загадок

«ГОЛОВОЛОМКА»

Редактор-издатель Н. Громоносцев

«Головоломка» вышла на другой день. Потом столь же неожиданно Мамочка и Горбушка вышли из состава купцовского «Пулемета» и начали издавать свои собственные журналы. Мамочка выпустил журнал с умным названием «Мысль», а как лозунг поставил вверху первой страницы известный афоризм Цыгана, впервые изреченный им на уроке русского языка. Когда Громоносцева спросили, что такое мысль, он, нахально улыбаясь, ответил: «Мысль – это интеллектуальный эксцесс данного индивидуума». С тех пор это нелепое изречение везде и всюду ходило за ним, пока наконец не запечатлелось в виде лозунга над высокохудожественным

Мамочкиным органом.

Горбушка, презиравший рассуждения о высоких материях, был больше поэтом и назвал свой журнал исключительно поэтично:

ЗОРИ

Однако Горбушка при всех своих поэтических талантах был безграмотен и уже с первого номера скандально опростоволосился.

На первой странице Горбушкина издания по случаю бывшего месяца три назад спектакля красовался рисунок из пушкинского «Бориса Годунова».

Рисунок Горбушки изображал Японца в роли Годунова, с большим жезлом в руке.

Но не рисунок заставил всю школу покатываться со смеху, а пояснительная надпись под ним:

Юлыстрация к трогедие «Борис Гадунв».

Горбушка умудрился в пяти словах сделать семь ошибок и здорово поплатился.

Поэтичные «Зори» читали все и не потому, что шкидцев очень уж интересовала поэзия, их читали как хороший юмористический журнал, и даже Янкель обижался:

– Сволочь этот Горбушка… Конкурент.

Особенно доставалось Горбушкиной лирике. Она вызывала такой дружный смех, какому могли позавидовать самые остроумные фельетоны «Комара».

Но Горбушка никак не мог понять, над чем смеются шкидцы, и

был оскорблен. Еще бы! Над созданием своего журнала он просиживал ночи, в стихи вкладывал всю душу, и, по его мнению, получалось очень красиво. Горбушка был лирик от природы, но лирику он понимал по-своему. По его словам, «лирика – это когда от себя писать и когда скучно писать». Писал он свои скучные стихи только тогда, когда его наказывали; вот одно из его стихотворений:

Дом желтый наш дряхлый и старый,
Все время из труб идет дым.
Заведущий – славный наш малый,
Но скучно становится с ним.
Мне стало все жальше и жальше
Смотреть из пустого окна.
Умчаться бы куда подальше,
Где новая светит земля.

Но стоило только Горбушке поместить это стихотворение в своих «Зорях», как уже вся школа покатывалась от хохота, а «Комар» в новом отделе «По шкидским журналам» безжалостно издевался над Горбушкиной лирикой:

> «По-видимому, поэт Горбушенция – очень наблюдательный человек, недаром он подметил такое замечательное явление, как «все время из труб идет дым». Мы боимся одного: как бы не пошел дым из другого какого места, например, из «Зорь» или из Горбушкиной головы, которому пустое дело «смотреть все жальше и жальше из пустого окна». Кроме того. Горбушке хочется

«умчаться куда подальше». Мы с удовольствием исполним его желание и посылаем милого поэта «куда подальше». Живи себе там, Горбушечка, да стишки пописывай».

Однако Горбушка остался тверд, лирических упражнений не оставлял и регулярно выпускал «Зори».

Уже шесть журналов выходило в одном только четвертом отделении. Такое обилие печатных органов обратило на себя внимание всей школы и еще больше прославило старшеклассников.

В первую очередь, конечно, новой журнальной эпидемией заинтересовался Викниксор.

Однажды, придя в класс, он произнес блестящую речь о том, что школьная журналистика – это очень и очень хорошо, что журналы развивают способности, расширяют кругозор, прививают навыки, вырабатывают стиль, будят воображение и т.д. и т.п. Под конец Викниксор заявил, что в скором времени в школе откроется музей, в котором в качестве самых главных экспонатов будут храниться эти журналы. Кроме того, Викниксор обещал оказывать содействие журналистам канцелярскими принадлежностями и в подтверждение своих слов в тот же день выдал Янкелю краски и бумагу.

Щедрость Викниксора удивила и ободрила ребят, и уже на следующее утро появились три новых журнала: «Всходы», «Вестник техники» и «Клоун». «Всходы» Воробья мало чем отличались от Горбушкиных «Зорь», разве лишь тем, что ошибок было меньше. «Клоун» оказался интересен только для педагогов, так как издавал его

самый ленивый и неразвитой четвертоотделенец Пьер, вечно находившийся в состоянии оцепенения и оживлявшийся лишь три раза в день – за обеденным столом. Когда педагоги узнали, что Пьер – Соколов – издает журнал, они пришли удостовериться, удивленно осмотрели сопевшую, склоненную над бумагой голову парня и задали, не без робости, несколько наводящих вопросов:

– Соколов! Ты что это делаешь?

Соколов важно надулся и отвечал, не поднимая головы:

– Журнал.

– Что журнал?

– Издаю.

– А как он называться будет?

– «Клоун».

– А почему «Клоун»?

Тут Пьер окончательно выдохся и на этот вопрос, как и на все последующие, ответить уже не мог.

Третий журнал, «Вестник техники», поразил всех. По Шкиде пошли толки и догадки:

– Что за «Вестник техники»?

– Кому он нужен?

– Мы же не занимаемся техникой.

– Зачем он нам?

Недоумевающих нашлось много, и самым удивительным казалось то, что «Вестник техники» издает Ленька Пантелеев, человек, никакого отношения к технике не имеющий. Думали, что это какая-

нибудь шутка, розыгрыш, ждали, что скоро под этим туманным названием появится еще один конкурент «Комара». Шкидцы готовы были посмеяться над новыми стихотворными произведениями именитого сатирика, ждали и новых «Злободневных частушек», но самое смешное заключалось в том, что журнал действительно от начала до конца был посвящен технике. Журнал вышел и быстро завоевал популярность у читателей, хотя в нем не было ни частушек, ни стихов, ни рассказов, ни солидных профессорских статей о суде в Древней Руси. Редактор «Вестника техники» оказался неплохим журналистом. Он понял, что читательский рынок в Шкиде забит литературно-художественными изданиями, что беллетристикой читателя уже не проймешь, – и решил искать новый тип журнала. Его собственные познания в технике ограничивались умением свинтить электрическую лампочку на чужой лестнице, но зато он догадался привлечь к журналу тех ребят, которые интересовались техническими и научными вопросами, и таких, которые получали «пятерки» по физике. В первом номере «Вестника техники» были напечатаны статьи «Как самому провести электричество», «Техника Великого немого», «Будущее радио». В отдел «Смеси» издатель переписал из старых и новых журналов всякую занимательную всячину. А на последних страницах расположился отдел «Наука и техника в Шкиде», где среди прочего скромно притулилась заметка следующего содержания:

Деревянные клише

Г. Черных и Л. Пантелеев изобрели новый легкий способ изготовления клише для постоянных заголовков и

виньеток из дерева. Способ прост и доступен каждому. Берется гладкая деревянная дощечка, и на ней ножом вырезается нужная фигура, затем ее смазывают чернилами и печатают. Новые клише уже с успехом применяются для заголовков в издательстве «Комар» и для объявлений в нашем журнале.

Количество журналов с шести подскочило до девяти, но эпидемия журналистики еще не кончилась, она только начиналась.

* * *

Из четвертого отделения зараза уже просочилась в третье. Следом за старшими потянулись и младшие. Устинович начал издавать первый крупный журнал третьего отделения – «Медвежонок». Горячка охватила и остальных его одноклассников. Скоро третье отделение имело целый ряд журналов, из которых особенно выделялись «Звезда», «Красная заря», «Туман» и «Вестник».

Наступила очередь второго отделения. Эпидемия распространялась. Малышам понравилась затея старших, и скоро весь второй класс неутомимых бузовиков и драчунов засел за изготовление журналов. К длинному списку выходящих органов прибавился ряд новых названий: «Маяк», «Красный школьник», «Летопись». Когда об этом узнали в четвертом отделении, кто-то пошутил:

– Теперь не хватает только, чтобы еще и в первом отделении взялись за журналы.

Шутка оказалась пророческой. Через пару дней маленький Кузя

принес старшим показать свой журнал «Гриб» и рассказал, что у них уже издаются журналы «Солнышко», «Мухомор», «Красное знамя».

Вдобавок ко всему педсовет вынес постановление об издании в каждом классе одного официального классного журнала – дневника.

Республика Шкид все делала стихийно, нервно, порывисто. Запоем бузили, запоем учились и так же, запоем, взялись за издание журналов.

Сначала все шло хорошо. Воспитатели были довольны.

Не шумели по окончании уроков воспитанники, никто не носился по залу, никто не катался на дверях и на перилах, не дрался и не бузил.

Отзвенит звонок, но парты остаются по-прежнему занятыми, только крышки хлопают да изрезанные черные доски дрожат.

Ученики сидят скромно, разговаривают шепотом.

В классе тихо. Только перья поскрипывают да шелестят бумажные листки.

Десятки голов склонились над партами. Творят и печатают, рисуют и пишут.

Это готовятся журналы.

Зараза заползла во все уголки.

Журналов стало так много, что не находится уже читателей на них. Все пишут – читать некогда. Но каждому лестно, чтобы его журнал читали. Каждый старается сделать свои журнал поярче, позаманчивее. Для этого требуется не только талант, но и время. А времени не хватает, поэтому издательская деятельность не прекращается и во время уроков.

* * *

Звенит звонок. В четвертый класс входит Сашкец, но его появление остается незамеченным. Сашкец разгневан. Он не любит, когда его предмет – историю – не учат.

– Класс, встать! – гремит голос дяди Саши.

Класс, хлопая крышками парт, поднимается. Лица у ребят такие, словно их только что разбудили.

– Класс, садись! Убрать со столов бумагу и прочее лишнее и не относящееся к предмету.

Сашкец садится за стол, раскладывает книги, потом вскидывает вверх голову и, проведя рукой по намечающейся повыше лба лысине, испытующе осматривает застывшие фигуры учеников.

– Сегодня мы кратко вспомним пройденное. Пускай нам Черных расскажет, что он знает про Ивана Грозного.

Но Черных не слышит. Он усердно работает над очередным номером «Комара». До истории ли Янкелю? Сашкец замечает его склоненную над партой голову и уже сурово окрикивает:

– Черных!

– Что, дядя Саша? – спохватывается тот.

– Расскажи про Ивана Грозного. Я прошлый раз вам обстоятельно все повторил, поэтому вы должны знать.

Но Янкель вспоминает только, что и прошлый раз он писал «Комара». Надо вывертываться.

– Дядя Саша, я плохо помню.

– Не дури.

– Честное слово. Знаю только, что он кошек в окно швырял, а больше не запомнил.

Сашкец удручен.

– Садись, – бросает он хмуро, потом идет к Офенбаху и застает того на месте преступления.

– Ты что делаешь?

– Пишу, – невозмутимым басом отвечает Купец.

– Покажи.

– Да-а. А вы отнимете.

– Покажи, тебе говорят!

Купец с гордой улыбкой вытаскивает сырой от акварельных красок номер «Пулемета».

– Вот. Журнал свой пишу.

Сашкец в ярости порывается отнять журнал и, не справившись с Купцом, ограничивается звонкой фразой:

– Я тебя запишу в «Летопись» за то, что занимаешься посторонними делами в классе.

Он идет к учительскому столу, но, пока идет, замечает, что то же самое происходит и на остальных партах. Тогда халдей пускается на крайность.

– Ребята, я запишу весь класс за невнимательное отношение к уроку.

Однако и эта, сильная в обычные дни, угроза на этот раз не действует. Урок тянется нудно и вяло. Ученики отвечают невпопад или вовсе не отвечают. После звонка Сашкец в канцелярии жалуется:

– Невозможно работать. Эти журналы всю дисциплину срывают!

А в классе кавардак.

В одном конце Японец ругается с Цыганом за право обладания художником Янкелем. Янкель должен нарисовать картину Японцу для «Вперед», то же самое просит сделать и Цыган, который выпускает «Альманах лучших произведений Шкиды».

В другом углу слышен визг поэта Финкельштейна. Это Купец собирает материал для своего «Пулемета».

– Дашь стишки? – рычит он. – Дашь или нет?

– Нету у меня стихов, – защищается Костя.

– Врешь, есть! Не дашь, буду мучить, Костенька!

– Не надо, Купа. Больно.

– А дашь стихи?

– Дам, дам…

– Ну то-то.

Купец, удовлетворенный, отпускает Финкельштейна и наседает на Янкеля.

– Дашь рассказ или нет?

Опять писк:

– Занят!

– Дашь или нет?

– Дам!

Купца бросили все сотрудники, вот он и придумал этот простой способ выжимания материала.

У окошка, зарывшись в «Красную газету», сидит Пантелеев. Он

мучится, он хочет сделать свой «Вестник техники» настоящим журналом. Для этого все налицо, но нет объявлений, а для объявлений он оставил обложку. Ленька уже обегал все журналы, собрал несколько объявлений, но этого мало, остаются еще два уголка.

– Эх! – сокрушенно вздыхает он. – Тут бы петитом или нонпарелью парочку штучек пустить – и ладно.

Вдруг он находит материал в «Красной газете» и мгновение спустя уже выводит: «Требуются пишмашинистки в правление АРА…»

В эту минуту в класс врывается маленький Кузя из первого отделения и прямо направляется к Янкелю.

– Ну? – вопросительно смотрит тот, отрываясь от рисования.

Кузя возбужденно говорит:

– Согласен!

– Идет, – коротко отвечает Черных. Оба летят в первое отделение. Там кучка любопытных уже дожидается их.

– Значит, как уговорились, – говорит Янкель. – Поэму на шестьдесят строк я вам напишу сейчас, а нож перочинный вы мне отдаете по сдаче материала. Идет?

– Идет, идет, – соглашаются малыши.

Янкель садится и с места в карьер начинает писать поэму для «Мухомора».

Писать я начинаю,
В башке бедлам и шум.
Писать о чем – не знаю,
Но все же напишу…

Перо бегает по бумаге, и строчки появляются одна за другой.

Первоклассники довольны, что и у них сотрудничают видные силы. Правда, поэма стоила перочинного ножа, который перешел в виде гонорара в карман Янкеля, но видное имя что-нибудь да значит для журнала!

Через полчаса Янкель уже выполнил задание. Поэма в шестьдесят строк сдана редактору, а именитый литератор мчится дорисовывать рисунок.

Тихо в школе, никто не бегает в залах, никто не катается на дверях и перилах, никто не дерется, все заняты делом.

* * *

Три месяца школа горела одним стремлением – выпускать, выпускать и выпускать журналы. Три месяца изо дня в день исписывались чистые листы бумаги четкими шрифтами, письменной прописью и безграмотными каракулями.

У каждого журнала свое лицо.

Один редактор помещает рассказ в таком стиле:

МЕДВЕДЬ

Рассказ

Была холодная ночь. Вокруг свистала вьюга. Красноармеец Иван Захаров стоял на посту. Было холодно. Вдруг перед Иваном набежал медведь – и прямо к нему. Иван хотел убежать, но он вспомнил о врагах,

которые могут сжечь склады с патронами. Он остался. Медведь подбежал близко, но Иван вынул спички и стал зажигать их, а медведь испугался и стоял, боясь подойти к огню. А утром медведь убежал, а Иван спас склады.

Рассказ написал Кузьмин.

А другой редактор и поэт пишет так:

Я смотрю на мимозы,
Я вздыхаю душистые розы,
Взор очей мой тупеет,
Предо мной все темно,
Солнце греет,
Природу ласкает.
Как люблю я тебя
С твоим взором.

У третьего редактора совсем другие настроения:

Грянь, набат громозвонный,
Грянь сильней.
Слушай, люд миллионный,
Песню дней.
Крепче стой, пролетарский
Фабрик край,
Потрудись ты, бунтарский,
В Первый май.
Пусть звенит и гремит

Молот твой.

Праздник Май гимн творит

Трудовой.

Три месяца бесновалась республика Шкид, потом горячка стала постепенно утихать: как звезды на утренней заре, гасли один за другим «Мухоморы», «Клоуны», «Факелы», «Всходы» и другие газеты и журналы. Ребята устали. Викниксор вовремя подсказал им хорошую идею: пора издавать большую общешкольную стенную газету. И вот появляется «Горчица», здоровая, крепкая ученическая газета, где материал собран со всей школы, со всех отделений, где пишет не один редактор, а пятнадцать – двадцать корреспондентов.

Из шестидесяти изданий остается четыре.

Игра замирает, давая место серьезной работе, а от прежнего увлечения остается след в школьном музее, в виде полного комплекта всех изданий.

«Дзе, Кальмот и Ко»

Четверка пришла с Сергиевской. Сергиевская была интернатом с дурной славой. Попасть на Сергиевскую считалось несчастьем.

Там в интернате царила железная казарменная дисциплина… Воспитанники сидели в душных комнатах и гуляли редко, да и то лишь с надзирателями. Наказания за проступки, придуманные завом, не поддаются описанию. Одно из них было такое.

Воспитанника, совершенно нагого, сажали в темный карцер, который по приказу изобретательного садиста был превращен в

уборную. Наказанный просиживал в карцере без хлеба и воды по три, по четыре дня, валялся в нечистотах, задыхался в скверных испарениях.

Сергиевка так прославилась, что на нее обратили внимание судебные власти.

После громкого и скандального процесса интернат расформировали. Находившихся в нем подростков распихали по разным приютам.

Четверка попала в Шкиду.

Самый старший, Джапаридзе, – сын грузинского князя, морского офицера.

У Джапаридзе типичное грузинское лицо: крупный орлиный нос, оттопыренные уши и белоснежные неровные зубы.

Детство свое Джапаридзе, по семейной традиции, должен был провести в корпусе. Там он почти два года учился искусству командовать и хорошим манерам. Корпус привил ему любовь к военной выправке, чистоте костюма, спартанству. Но корпус же изломал его душу, сделал его лживым, скрытным и обманщиком.

Корпус в семнадцатом году закрыли, кадетов попросили выйти вон. Джапаридзе пожил дома, проворовался и пошел скитаться по интернатам и детдомам. Вышибали из одного интерната – он шел в другой. Так докатился до Сергиевской. На Сергиевской жил два года и, издерганный, уставший в пятнадцать лет, нашел тихую пристань в республике Шкид.

У Королева голова совершенно круглая, щеки одутловатые и

румяные. Полная невысокая фигура, римский нос и слегка курчавая голова придают ему сходство с патрицием времен Юлия Цезаря.

Королев – незаконнорожденный. В анкете «Личного дела Михаила Королева» в графе «Занятие родителей» сказано: «Рожден вне брака».

В старое николаевское время для «рожденных вне брака» был один путь – воспитательный дом, приют и ремесленная школа.

Королев с малых лет скитался по приютам. За это время его «личное дело» разбухло: каждый интернат давал ему свою характеристику…

Одна из них, написанная казенным языком старого педагога-чиновника, характеризует Королева как «мальчика с довольно прочно укрепившейся привычкой лениться». На шести листах пожелтевшей канцелярской бумаги описываются последствия этой «привычки»:

> «В результате знания мальчика в настоящее время оказываются столь слабыми, что он не может быть переведен в класс «Д» и ему в возрасте почти пятнадцати лет приходится вторично слушать детский элементарный курс, то есть в то время, когда в нем уже в достаточной степени пробудились физические потребности взрослого человека и окрепла привычка весело и праздно проводить время, на удовлетворение чего, конечно, направлены все помыслы и желания этого мальчика уже теперь».

Дальше описываются способы «удовлетворения потребностей взрослого человека»:

> «Сильно развитые в нем привычки курить,

лакомиться и т.д. довели его до пути легкого раздобывания средств и предметов потребления для удовлетворения этих потребностей, в силу чего, конечно, он стал постоянно замечаться в проступках корыстного характера: срезывание проводов и других принадлежностей арматуры электрического освещения, отвинчивание дверных ручек, присваивание мелких инструментов в сапожной мастерской и т.п. Все эти предметы направлялись им на базар для обмена на папиросы и лакомства».

Детдом переезжает на дачу, в колонию, где

«надзор и работа над Королевым, естественно, затруднялись и осложнялись по местным условиям. Порочные наклонности этого мальчика проявились самым резким образом: близость деревни, процветание там товарообмена, затруднительность ежеминутного учета наличия воспитанников создавали благоприятную к тому почву. Здесь Королев, вопреки выраженному ему лично запрету, стал постоянно убегать в деревню и возвращаться в школу лишь поздно ночью; в деревне он стал обменивать на продукты находящиеся на руках или похищенные им у товарищей казенные вещи, особенно полотенца; жертвами его спекуляции сделались даже няни, к которым он сумел подладиться под видом желания услужить им: у одной он взял деньги на селедку и принес ей за это стакан молока,

уверяя, что селедка оказалась червивая; от другой, получив деньги на табак и папиросы, ничего ей за них не принес, обещая вознаградить ее в будущем, – оказалось, что папиросы выкурил сам…»

За эти деяния Королева из колонии отправили к матери в Питер.

«Но он, пользуясь слабостью матери и подделав отпускной билет, возвращается с откуда-то добытой им балалайкой и узлом тряпья обратно на место расположения колонии; минуя интернат, пробирается в деревню, выменивает привезенные с собой вещи и возвращается затем в Петроград…»

Составлявший характеристику воспитатель-чиновник не знал, где скитался выгнанный за воровство Мишка Королев… Не знал, откуда Мишка добыл балалайку и «узел тряпья»… Королев все лето «гопничал», ездил по железным дорогам с солдатскими эшелонами, направлявшимися на фронт. Там он и слямзил балалайку.

Это характеристика не Сергиевского интерната. Это характеристика нормального детского дома. Заканчивалась она просьбой перевести Королева в «одну из школ для трудных в воспитательном отношении детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет».

Просьба была удовлетворена.

Королева переслали в «сивую» Сергиевскую, как неодушевленный предмет, по «сопроводительному талону» №234.

«При сем препровождается Михаил Королев, 14

лет».

И доставивший его на место получил квитанцию «в том, что Королев Михаил, 14 лет, принят».

Сергиевская дала о нем не менее блестящую характеристику:

> «Мальчик безусловно способный, но ленивый и иногда просто сонный, способный дремать во время уроков. Дисциплине подчиняется не всегда, очень упрям, порою вызывающе дерзок и груб. В школе пробыл год и за это время несколько раз попадался в крупном и мелком воровстве, взломе замков и в самовольных отлучках из школы. В классе невнимателен, во время уроков занимается посторонними книгами, часто балагурит и этим мешает занятиям других. К товарищам относится хорошо и пользуется у них авторитетом. Со старшими развязно-внимателен или угрюмо-замкнут, считает себя весьма самостоятельным. Курит, замечен не раз в карточной игре. К матери относится внимательно».

Последний аттестат Королеву был дан «Детским обследовательским институтом психоневрологической академии». Отзыв, подписанный профессором психиатрии Грибоедовым, гласит:

> «Королев Михаил страдает остро протекающей неврастенией на почве, по-видимому, умственного переутомления. Летом страдает бессонницей, не спит совсем по две ночи подряд. Королев нуждается в отдыхе, водо-свето- и воздухолечении, каковое может быть

проведено в Воспитательно-клиническом институте для нервных больных».

Но «водо-свето- и воздухолечения» Королев не получил. Сергиевская рассыпалась, и он попал в Шкиду.

В Шкиде две первые характеристики не подтвердились. Королев не воровал, вел себя прилично и бузил в меру. Незаметно было в нем также и следов «умственного переутомления».

Лишь в одном отзыв профессора Грибоедова оказался правильным. Мишка Королев страдал неврастенией и бессонницей.

В эти бессонные ночи он безумствовал, был сам не свой. Ругал воспитателей последними словами, балагурил, плакал… А выспавшись, «опохмелившись», каялся и снова становился «нормально-дефективным».

Таков Королев Михаил.

Третий тип – Старолинский.

Он – низенького роста. Лицо у него совсем детское, а манера одеваться и фигура делают его похожим на старорежимного гимназистика. У Володьки Старолинского отца не было, были лишь мать и отчим, ломовой извозчик. Старолинский тоже неврастеник. Страдает клептоманией; когда находят припадки, ворует что попало; кроме того, он самый неисправимый картежник…

На Сергиевскую Старолинский попал, как и товарищи его, за воровство и в Шкиду пришел со скверной репутацией.

Четвертый – Тихиков.

Сергиевская его характеризует так:

«Тихиков Евгений – мальчик из интеллигентной семьи, круглый сирота, имеет дядю. Тихиков – очень способный мальчик, все усваивает легко и хорошо занимается, но не чужд лени. К товарищам относится хорошо, но держится несколько особняком. Не терпит общих прогулок и всегда под каким-нибудь предлогом старается остаться дома. Со старшими сдержан, возражает всегда логично и почти не грубит. В классе сидит прилично. Курит, порой увлекается карточной игрой, не чужд спекуляции, но вообще мальчик любознательный, отзывчивый, серьезный и несколько замкнутый».

У Тихикова треугольная голова, высокий лоб, коротенькая, нескладная фигура. В Шкиде до конца дней своих Тихиков оставался замкнутым, бузил редко.

Четверка пришла в Шкиду крепко спаянной в неделимый союз. Думали сообща отстаивать свои интересы. Наученные опытом Сергиевской, не ожидали встретить хороший прием.

Но ошиблись. Встретили их очень хорошо, как впрочем, встречали и всех других.

С первого же дня Джапаридзе, как самый развитой, примкнул к «верхам». Узнав, что в Шкиде издаются журналы, он заявил о своем желании издавать журнал «Шахматист». Вероятно, узрев в этом какую-либо для себя выгоду, Янкель заключил с ним сламу.

Королев вошел в сламу с Купцом, а Старолинского взял под свое покровительство Пантелеев.

Лишь один Тихиков остался без друзей закадычных. Вечно сидел он за партой, читал Майн Рида или Жюля Верна и что-то все время жевал… Жевал, пережевывал, отрыгал и икал. За это впоследствии он получил кличку Жвачное.

Четверка принесла с собой старые клички: Королев – Флакончик, Старолинский – Мальчик, Тихиков – Адмирал, а Джапаридзе – кличку непечатную.

В Шкиде лишь одному Тихикову удалось сохранить прозвище Адмирал, остальных переименовали в первый же день их прихода.

– Джапаридзе – слишком длинно, – заявил Японец. – А похабных кличек мы не даем. Поэтому назовем тебя просто Дзе.

– Ваше дело, – согласился грузин, – Дзе так Дзе.

Старолинского тот же Японец назвал почему-то Голым барином. Звали его впоследствии Голый барин, Барин, Голый, и просто Голенький.

Королева прозвали Кальмотом за то, что он вместо «кусок» говорил «кальмот»:

– Дай мне кальмот хлебца.

Или:

– Одолжи кальмотик сахарина.

Одновременно с Сергиевской четверкой пришел в Шкиду и Кубышка, бесшумный человечек с пухлым лицом и туманным прошлым.

Саша Пыльников

Прозвенел звонок, кончилась перемена. В класс четвертого отделения вошел Косталмед, он же Костец.

– На гимнастику, живо!

Ребята нехотя поплелись из класса.

– Живо! – подгонял Костец, постукивая круглой полированной палочкой.

Когда все вышли из класса, за партами остались сидеть Японец и Янкель.

– А вы что? – подняв брови, спросил Костец.

– Не можем, – скривив лицо, проговорил Японец. – У нас ноги болят.

Больные шкидцы по приказанию Викниксора освобождались от гимнастики.

– Покажите, – сказал Костец.

Японец, прихрамывая, подошел к воспитателю и поднял босую ногу. Нога на пятке пожелтела, вздулась, и в самом центре образовалось отвратительное на вид нагноение.

– Нарыв в последней стадии, – стонущим голосом отрекомендовал Японец. – В уборную еле хожу, не только что на гимнастику.

– Ладно, оставайся, – сказал Костец. – А ты? – обратился он к Янкелю.

Янкель чуть ли не на четвереньках подполз к халдею.

– Сил нет, – прохрипел он. – Замучила, чертова гадина.

Он загнул брюки. На изгибе колена и дальше к бедру проходил страшный, красный с синеватыми прожилками шрам.

– Где это тебя угораздило? – поморщившись, спросил Костец.

– Дрова пилил, – ответил Янкель. – Пилой. Ходить не могу, дядя Костя, тем более упражнения делать.

– Оставайся, – согласился Костец и вышел из класса.

Когда он вышел, Янкель, плотно закрыв за ним дверь, сказал:

– Ну, брат, сейчас, пожалуй, можно и вылечиться.

С этими словами он подошел к своей парте, загнул брюки и, помусолив ладонь, одним движением руки смыл страшную рану.

То же самое сделал и Японец.

Исцелившись, оба уселись за парты. Японец вынул книгу, а Янкель – начатый журнал.

Этот способ отлынивания от гимнастики был придуман Янкелем; он же, обладая способностями рисовальщика, художественно разрисовывал, за небольшую плату, язвы, раны, опухоли и прочее.

Костец верил, что эти болезни – настоящие. И сейчас, когда воспитатель поднимался наверх в гимнастический зал, его душа под грубой казарменной оболочкой халдея была преисполнена состраданием к несчастным мученикам.

А в гимнастическом зале уже собрались ребята. Когда вошел Костец, они визжали, возились и слонялись без дела по большому залу.

– Ста-новись! – закричал Костец.

Ребята зашевелились, как муравьи, и в конце концов выстроились

по ранжиру в прямую линию.

Первым с правого фланга стоял Купец, за ним Цыган, Джапаридзе и Пантелеев. За Пантелеевым обычно становился Янкель, сейчас же место оставалось свободным, и Костец скомандовал:

– Сомкнись!

Шеренга сомкнулась.

– Равнение на… пра-во!

Все головы, за исключением головы Воробья, повернулись в правую сторону, Воробей же задумался и прослушал команду.

– Воробьев, выйди из строя, – приказал Косталмед.

Воробей вышел.

– Имеешь запись в «Летопись», – сообщил Костец и добавил: – Стань на место.

Добившись, чтобы шеренга выстроилась в идеально прямую линию, Костец повернул ее направо.

Третьеклассник Бессовестин, хорошо игравший на рояле и благодаря этому плохо учившийся, уселся за пианино.

– Шагом марш! – скомандовал Костец.

Бессовестин заиграл старинный марш «Альте камераден», и под звуки марша три десятка босых ног заходили вдоль стен зала.

Шли гуськом. Впереди выступал Купец: шел он лучше всех, имел выправку, полученную еще в корпусе. Не успевая в других предметах, Купец страстно любил гимнастику.

Остальные шли не так молодцевато, лишь Пантелеев, Дзе и Цыган подделывались под Купца, хотя и не совсем удачно. Зато

Воробей, получивший запись в «Летопись», бузил. Он шел не в ногу, растягивал интервалы и, очутившись за спиной Костеца, показывал ему кукиш или язык.

– Левой, левой, – командовал Костец, отстукивая такт полированной палочкой. – Левой, левой. Раз, два, раз, два…

Осеннее солнце тускло отражалось в паркетных квадратах и белыми пятнышками бегало на выкрашенных под мрамор стенах…

– На-а гимнастику… выходи!

Купец, дойдя до середины стены, круто повернул налево.

У противоположной стены шеренга разошлась через одного в разные стороны и сошлась уже парами, а затем четверками.

– Стой! Отделение, разом-кнись!

Отделение разомкнулось.

Ребята расположились на квадратах паркета, как фигуры на шахматной доске.

– Вольно!

Купец выставил ногу вперед, руки заложил за спину. Остальные стали как попало. Большинство принялось подтягивать спустившиеся во время маршировки брюки, поправлять ремни, сморкаться и кашлять.

– Смирно! Первое упражнение! На-чи-най!

Бессовестин заиграл вальс.

Под такт костецовской палочки ребята принялись выделывать сокольские упражнения, потом мюллеровские упражнения, потом шведскую гимнастику.

* * *

– Шамать хотца, – сказал Японец, захлопнув книгу.

Янкель перевел взгляд с лошади, которую он рисовал, на Японца и ответил:

– Да-с, пожрать бы не мешало.

– У тебя нет?

Янкель махнул рукой.

– В четверг-то… Было бы, брат, так давно бы нажрался.

Он уныло заглянул в пустой ящик парты, потом пошманал по чужим партам, – везде было пусто.

– Хоть бы корочку где найти.

Вдруг Японец хлопнул себя по лбу.

– Идея! Помнишь, Курочка рассказывал, что у них в классе, на печке…

Янкель вскочил.

– И правда, идея!..

Оба подскочили к печке и взглянули наверх.

– Эх, черт, – вздохнул Янкель, – как бы туда залезть?

– Вали, подсади меня. Я тебе на плечу стану.

– Идет.

Янкель нагнулся и уперся руками в колени. Японец взобрался к нему на плечи.

– Еще немного поднимись.

Янкель стал на цыпочки.

– Хватит!

Японец уцепился руками за карниз печки и заглянул в пыльное углубление.

– Ну как? – спросил Янкель, разглядывая грязный пол.

Японец минуту копошился, потом раздался радостный возглас:

– Есть!

– Что?

– Булка белая… еще булка… кусок сахару… хлеб… Да тут целый склад огрызков.

– Вали, кидай!

На пол упало что-то тяжелое, твердое как камень. Потом посыпался каменный дождь…

Посыпались заплесневелые, окаменевшие остатки завтраков, которые сытые ученики коммерческого училища забрасывали когда-то на печку. Последний огрызок – булка с прилипшим к ней и затвердевшим, как каменный уголь, куском колбасы – ударился о пол. Японец уже собирался спрыгнуть с Янкелевых плеч, когда раздался окрик:

– Это что такое?!

Янкель от неожиданности вздрогнул и опустил руки. Пирамида рухнула. В дверях класса стоял Викниксор. Рядом с ним стоял парнишка лет пятнадцати с широким бабьим лицом, торчащими в стороны жесткими волосами, одетый в серую куртку и подпоясанный ремнем с серебряной гимназической пряжкой.

– Что это такое? – повторил Викниксор. – Где класс?

– На гимнастике, – тихо ответил Янкель.

– А вы что?

– Ноги болят, – чуть ли не шепотом проговорил Янкель.

Викниксор нахмурился.

– Ноги болят? Вот как… А на печку зачем лазили? Лечиться?

Противники мюллеровских упражнений и шведской гимнастики молчали.

– Оба в пятом разряде, – объявил Викниксор. – А сейчас марш наверх.

Товарищи в сопровождении Викниксора и незнакомца с бабьим лицом поднялись наверх. В гимнастическом зале ребята опять маршировали. Бессовестин играл марш на мотив известной песни:

По улицам ходила
Большая крокодила,
Она, она
Голодная была.

При появлении Викниксора Костец скомандовал:

– Стой! Смирно!

Ребята остановились. Викниксор подошел к Костецу и громко спросил:

– Почему Черных и Еонин оставались в классе?

– Они больны, Виктор Николаевич, – ответил воспитатель.

Викниксор нахмурился.

– Неправда, они совершенно здоровы.

– Не может быть, Виктор Николаевич! Я сам видел…

– А я вам говорю, что они здоровы.

Потом Викниксор повернулся к классу.

– Ребята, Еонин и Черных переводятся в пятый разряд за симуляцию болезни и отлынивание от занятий. Пусть это послужит вам уроком. В следующий раз больные должны представлять удостоверение лекпома.

Янкель и Японец уже стали в строй. У дверей остался стоять незнакомый парнишка в серой куртке.

Викниксор вспомнил о нем и отрекомендовал:

– А это ваш новый товарищ Ельховский Павел… Ельховский, – обратился он к новичку, – стань в ряды.

Новичок смущенно и нерешительно подошел к строю.

– Стань по ранжиру, после Черных, – сказал Костец.

Строй разомкнулся, и Ельховский стал в спину Янкелю. Сзади него оказался Японец.

Викниксор вышел из зала, зачем-то вызвав и Костеца.

– Как тебя зовут, сволочь? – спросил Японец у новенького.

– Почему сволочь? – удивился тот. Голос у него оказался тонким и каким-то необыкновенно писклявым.

– Почему сволочь? – переспросил Японец. – Да потому, что, гадина, мы из-за тебя засыпались. Не приди ты, ничего бы не было.

– Не логично, – пропищал Ельховский. – Я не виноват, что так случилось.

– «Не логично»… А тут изволь в пятом разряде сиди, – вмешался Янкель, не успевший даже подзавернуть хлебных огрызков и предвкушавший удовольствие просидеть без отпуска, а следовательно,

и впроголодь, в течение пяти недель.

В зал вошел Костец. Был он хмур и насуплен, – по-видимому, получил от начальства выговор.

– Смирно!

Снова класс заходил вкруговую по залу. Снова из-под пальцев Бессовестина полились звуки марша:

Увидела француза
И хвать его за пузо, –
Она, она
Голодная была.

Японец злился. Он чувствовал, что сам виноват в случившемся, но, желая выместить на ком-нибудь злобу, стал преследовать новичка Ельховского. Он наступал новичку на ноги, отчего у того сваливались тряпичные домашние туфли, и украдкой шпынял его кулаком в спину… Ельховский сперва решил не обращать внимания на выходки Японца, но, когда эти выходки стали переходить меру, он запищал:

– Отстань!

Японец еще больше обозлился и с силой наступил на ногу новичка. Ельховский дернул ногой, застежка туфли лопнула, и туфля осталась на полу.

Выходка Японца была бы замечена, и он был бы еще больше наказан, не прозвени в этот самый миг звонок.

Ребята, наблюдавшие еще во время маршировки за преследованием Японцем новичка, обступили Ельховского.

Тот сидел на корточках, склонившись над разорванной туфлей.

Лицо его сжалось в гримасу: казалось, что вот-вот он расплачется.

Но он не заплакал. Вместо этого он стал чихать. Чихал он как-то особенно, корчил лицо, жмурился, и звук чоха у него получался какой-то необыкновенно нежный:

– Апсик!..

Чихал он часто, с определенными промежутками. Ребята окружили его и смотрели с недоумением и любопытством.

– Что это с ним? – испуганно спросил Японец.

– Чихает, – ответил Янкель.

– Вижу, что чихает, а зачем чихает?

– Так, должно быть, привычка… наследственность.

– Чихун, – сказал кто-то.

Купец нагнулся и больно щелкнул Ельховского в затылок. Тогда выступил Ленька Пантелеев.

– Чего издеваетесь над человеком? – сказал он. – Тебя небось, Купец, не мучили, когда новичком был?!

Класс расхохотался.

– И смешного ничего нет, – покраснев, заявил Пантелеев. – Нечего хвастаться своей гуманностью, хорошим отношением к новичкам, когда сами их бьете… Разве не правда?

Никто не ответил. Все молчали, молчание же, как известно, служит знаком согласия.

Ельховский тем временем напялил искалеченную туфлю, поднялся, чихнул в последний раз и, тоскливо оглядев ребят, остановил признательный взгляд на Пантелееве.

В коридоре, когда ребята расходились по классам, Пантелеев подошел к новичку.

– Будем сламщиками, – сказал он. – Сламщиками у нас зовут друзей. Будем друзьями… Идет?

Ельховский не ответил, только кивнул головой. Пантелеев протянул сламщику руку, тот крепко пожал ее.

* * *

Панька Ельховский родился в Смоленске.

Панькин отец, учитель начальной городской школы, принадлежал к числу тех людей, которых не любит начальство. Начальство не любит людей слишком умных, замкнутых и свободомыслящих. Панькин отец был умный и свободомыслящий: он принадлежал к местному социал-демократическому кружку. За это он был отстранен от должности учителя, проще сказать – изгнан. Он целиком отдал себя революционному делу, семья же голодала, дети росли. Отец искал работы, но не мог найти ее. Мать стирала в господских домах, мыла полы. Детство Паньки – нерадостное детство.

В 1917 году Панькиного отца убили на улице казаки. Панька жил с матерью, потом мать отдала его в приют; там он пробыл до 1921 года. Потом старший брат Паньки, краском, поехал в Питер в Военную академию, а через полгода выписал в Петроград и семью – мать, сестру и братишку Паньку. Панька пожил с месяц, не больше, дома и забузил, забузил отчаянно, так как был истериком. Брат попробовал воздействовать на него сам – не помогло; тогда он обратился в отдел

народного образования. И Панька попал в Шкиду.

Шкида его встретила недружелюбно, но потом, узнав поближе, полюбила крепко, пожалуй крепче, чем кого-либо. Он был парень добрый, необыкновенно отзывчивый, по-шкидски честный, а главное – любил бузить. Буза же была, как известно, культом поклонения шкидцев.

На другой день после прихода Ельховского Шкида должна была совершить еженедельное паломничество в баню. Все четыре отделения выстроились в зале, устроили перекличку. Не хватало одного новичка. На его розыски был послан Алникпоп. Через минуту он вернулся и, подойдя к Викниксору, что-то сказал ему. Викниксор покраснел, сорвался с места и побежал в четвертый класс. Панька Ельховский сидел на новом своем месте, за партой Пантелеева, и читал книгу. При входе Викниксора он даже не поднял головы. Викниксор мгновение стоял ошеломленный, потом закричал:

– Встать!

Ельховский посмотрел на него, отложил книгу, но не встал.

– Встать, тебе говорят! – уже заревел завшколой.

– Чего вы кричите-то? – не повышая голоса, проговорил Панька и встал, держась руками за крышку парты.

– Ты почему не идешь наверх? – гневно спросил Викниксор, подходя к Панькиной парте. Тот, не двинувшись с места, ответил:

– А что мне там делать?

– Что делать? В баню идти, вот что. Все уже собрались, а ты тут прохлаждаешься. Не думай, что ты здесь можешь делать что хочешь…

Пожалуйста, не рассуждай, а марш наверх!

– Ничего подобного, – ответил Панька и, сев за парту, углубился в чтение.

Викниксор, как тигр, кинулся к нему и впился руками в плечи.

– Нет, ты пойдешь, скотина! – заревел он и вытащил Паньку из-за парты.

Панька стал отбиваться. На шум сбежались воспитатели и ребята.

– Я тебе покажу!.. – кряхтел Викниксор и пытался вытолкнуть Паньку в коридор. Тот вырвался красный, взлохмаченный.

– Подлец! – заорал он, потом сморщил лицо и заплакал.

Викниксор, тоже красный и помятый, поднял голову и, отдуваясь, прошипел:

– Пятый разряд!

Потом вышел из класса.

Этот случай создал славу новичку. Никто не понимал, почему он отказался идти в баню и забузил, но это, по шкидскому мнению, и было верхом геройства: бузить ради бузы. С этого момента никто уже не думал обижать его, хотя обидеть его мог всякий. Был он мягкотел и лишь в редких, неизвестно чем вызванных случаях делался вспыльчив и груб, да и то лишь по отношению к начальству.

В те дни четвертое отделение увлекалось книгами Федора Сологуба. В одном из романов этого некогда известного писателя выведен женоподобный мальчик Саша Пыльников. Японец указал товарищам на сходство Ельховского с этим типом. Паньку прозвали Сашей Пыльниковым, взамен утвердившегося было прозвища Чихун…

Впоследствии звали его еще и Недотыкомкой, Бебэ, Почтелем, но обычно звали Сашкой. Многие даже не знали, что настоящее его имя – Павел.

Улиганштадт

Слово «хулиган» – происхождения английского. В старой Англии, как говорит легенда, в начале девятнадцатого века проживало семейство Хулигэн. Владели эти Хулигэны постоялым двором на Дуврском шоссе. На постоялом дворе останавливались лорды, графы, купцы с континента и просто заезжие, люди. Легенда рассказывает страшную вещь: ни один человек, приютившийся под кровлей гостиницы Хулигэн, не вышел оттуда. Семейство Хулигэн заманивало гостей, грабило и убивало их.

И когда раскрылась страшная тайна постоялого двора, когда королевский суд, пропрев в горностаевых мантиях восемь суток подряд, вынес семье убийц смертный приговор, – имя Хулигэн стало нарицательным. Хулигэнами стали называть убийц, воров и поджигателей.

Попав в Россию, слово «хулигэн» видоизменилось в «хулигана».

А в Шкиде рыжая немка Эланлюм, обозлившись на бузил-старшеклассников, кричала, по немецкой привычке проглатывая букву «х»:

– Улиганы!

И стало в Шкиде прозвище «улиган» таким же местным и таким же почетным, как и «бузовик».

Племя улиган росло и ширилось и в конце концов превратилось в государство Улиганию.

* * *

Столица Улигании – Улиганштадт, сиречь четвертое отделение. Улиганштадт – город большой, по сравнению с прочими. Улицы – проходы между парт – широкие, и названия у них громкие: Бузовская, Волынянская, Улиганская. Главная же улица – Клептоманьевский проспект. На Клептоманьевском проспекте размещены дома – парты – всех городских и государственных деятелей. Там находится особняк диктатора и городского головы Улиганштадта – Купы Купича Гениального. Городской голова живет вместе с секретарем и адъютантом своим, виконтом де Буржелоном, в просторечии Джапаридзе. Министерства, штаб – все помещается на Клептоманьевском проспекте.

Остальные улицы менее шикарны. На них разместились рядовые граждане. В Японском квартале живет японский консул Ео-Нин и прочие японские граждане в лице новичка Нагасаки.

Основание Улиганштадта относится к временам не столь отдаленным. В Шкиде была буза. Бузили все, бузили с жаром, наказания сыпались на головы шкидцев, а они бузили. Четвертое отделение не выбиралось из пятого разряда. Японец однажды сказал:

– Бузить бесцельно не годится. Давайте организуемся и оснуем республику.

Мысль пришлась по вкусу.

Сразу же было организовано новое правительство.

Диктатором назначался могучий Купец-Офенбах. Полномочия его ограничивались Советом Народных Комиссаров. Наркомы были следующие: наркомвоенмор – Янкель, наркомпочтель – Пыльников и наркомбуз – Японец. Диктатор назначил начальником государственной милиции и главкомом колониальных войск Пантелеева. Улигания объявила младшие классы колониями и назвала их: третий класс – Кипчакией, второй – Волынией и первый – Бужландией.

В первый же день основания Улигании диктатор, он же городской голова столицы, созвал пленум Совнаркома. «В его роскошном особняке, – как сообщала местная газета «Известия Улигании», – собрались все сиятельные лица города. Купа Купич торжественно объявил об открытии города и предложил наркомам довести до сведения граждан, что соблюдение порядка и муниципальных правил ложится на ответственность домовладельцев».

В тот же день дома украсились дощечками с номерами и названиями улиц. Общественная жизнь сразу же закипела в молодом государстве.

На второй день наркомбуз Японец, он же Буза Бузич Безобразников, подал в Совнарком проект конституции:

КОНСТИТУЦИЯ

ВСЕСИЛЬНОЙ БУЗОВОЙ ИМПЕРИИ УЛИГАНИИ

Состав империи

1. В состав Империи входят четыре государства: Улигания,

Волыния, Кипчакия и Бужландия

2. Государство Улигания является центральным, господствующим, объединяя периферию и давая ей законы и управление.

3. Управление Империей вручается диктатору, наделенному королевскими правами, – его сиятельству Купе Купичу Гениальному. Помощь в управлении диктатору проводится Советом комиссаров и всеми гражданами, назначенными в помощь диктатору им самим. Управление колониями вручается вице-губернаторам, назначенным центральной властью Империи – диктатором и Совнаркомом.

4. Военными силами Империи (государственной милицией, военными частями и колониальными армиями) ведает нарком по военным и морским делам, командование же ими вручается Главштабу в лице главкома и начмила.

5. Религия в Империи не преследуется. Правительство (Совнарком) должно быть клерикальным Культ поклонения Улигании – Буза. Вводится Народный комиссариат Бузы, комиссаром которого назначается потомственный почетный бузовик Буза Бузич Безобразников.

6. Столица Улигании – Улиганштадт. В ней сосредоточиваются все органы управления Империи и центральная военная власть.

7. Национальные права граждан Империи разделяются так: улигане, коренные жители Империи, обладают всеми правами, туземцы колониальных стран им подчинены.

8. Гражданином Улиганштадта может быть всякий, пробывший в

нем не менее 48 часов.

9. Все граждане Империи, улигане и жители колоний обязаны бороться с врагами Империи – халдеями. Оказывающий содействие халдеям объявляется изменником и преследуется органами милиции для предания суду диктатора Империи.

10. Также караются законом все выступления и начинания, направленные к свержению или подрыву существующего в Империи строя.

Конституция была принята Совнаркомом и утверждена диктатором. Находившаяся в ведении наркомвоенмора и в то же время книгоиздателя Янкеля газета «Известия Улигании» поместила конституцию на первой полосе. В этом же номере «Известии» был помещен национальный гимн Улигании, утвержденный властями. Его пели на мотив «Гаудеамуса»:

Улиганштадт, Улиган,
Смерть несешь ты для полян.
Разойдитесь вы, халдеи,
Дайте путь нам поскорее,
Улигания идет.
Мы – империи сыны,
Дети Купы-сатаны,
Правит нами мудро он,
Он – второй Наполеон,
Он – глава Улиганштадта.
Мы возьмем врагов за хвост,

Станет править Школимдост.

Завоюем все колоньи

И халдеев Вавилоньи

Всех сожмем мы в свой кулак.

Городской голова созвал общее собрание граждан города Улиганштадта и там сказал речь, простую, но трогательную:

– Ребята, то есть граждане. Вот я, диктатор и городская голова, говорю вам… Мы, четвертое отделение, то есть, виноват, Улигания… мы должны все силы свои положить на то, чтобы сделать свой кл… город неприступным для халдеев и прочих врагов. И в то же время сделать его благоустроенным. Приложим свои силы на это благоустройство. Мы, власти, будем вам горячо благодарны… Ей-богу!..

Эта речь была целиком приведена в «Известиях», только последнее выражение «ей-богу» было заменено «ей-бузе».

Речь возымела свое действие: призыв к благоустройству города нашел живой отклик в сердцах как рядовых граждан, так и государственных чиновников. Всем участкам земли, строениям и окружающим местностям были присвоены названия…

Выложенная белым кафелем печка была объявлена Храмом Бузы. Две классные двери были переименованы в арки – одна в Арку Викниксора I, другая в Арку Эланлюм. Городской сад – плевательница – был назван Алникпопией. Это показывает, что при всей ненависти улиган к халдеям они сохранили уважение к выдающимся лицам этого вражеского государства.

В пустом книжном шкафу сосредоточились городская больница,

аптека и военный госпиталь. Заведовать этими учреждениями взялся Воробей, поэтому больница и аптека были названы его именем. Другой пустующий шкаф с железной сеткой вместо стекол сделался государственной тюрьмой. Из других учреждений следует отметить певческую капеллу имени Кобчика-Финкельштейна и Народный университет Бузы.

К крану водопровода, неизвестно для каких целей проведенного в класс, начальник милиции Пантелеев приделал плакатик с надписью:

КАНАЛОЛИЗАЦИЯ

Это значило – канализация. Управление канализацией не знали, кому вручить, и вручили Пыльникову – наркомпочтелю.

Жизнь Улигании шла своим чередом, мирная жизнь свободной страны… На классных уроках выражали ярый протест халдеям, устраивали обструкции, получали пятые разряды и изоляторы, а империя цвела.

Однажды «Известия» подняли кампанию за устройство памятника Бузе.

«Стыдно подумать, – говорила газета, – что столица такой могущественной державы, как Улигания, не имеет ни одного памятника. У нас нет даже своего герба».

Эта статья больно уколола наркомбуза Безобразникова. На другой же день в редакцию газеты им были представлены проекты герба и памятника. Рисунок герба изображал разбитое стекло, из которого просовывался толстенный кулак. Под гербом стоял девиз: «In Busa veritas» – «Истина в Бузе». Проект памятника изображал постамент,

испещренный лозунгами и мыслями гениальных людей империи. На постаменте стоял громадный кулак.

Проекты пришлись по вкусу властям, герб был утвержден и объявлен государственным, постройку памятника поручили художникам Янкелю, Воробью и Горбушке. Делали они его из бумаги, картона и глины, делали два дня.

На третий день состоялось торжественное открытие памятника. Вот как описывает этот факт имперская пресса в лице «Известий»:

> «На площади Бузы собралось все население города, все жители пришли сюда, чтобы отпраздновать этот торжественный момент в истории Империи. Памятник Великой Бузы возвышался среди площади, покрытой холстом, около него стоял караул из представителей высшей военной власти – гг. наркомвоенмора Янкеля и начмила Л. Пантелеева, облаченных в парадную форму. В 6 час. 27 мин. на площадь прибыл его сиятельство диктатор Империи Купа Купич Гениальный. Его несли на носилках два раба из племена бужан. В свите его сиятельства, прибывшей вместе с ним, находились виконт де Буржелон и г. Б. Безобразников. В 7 час. 30 мин. по городскому времени под салют, проведенный местным миллионером г. Башкломом, холст памятника был сорван, и взорам присутствующих представилось прекрасное зрелище. На кубическом пьедестале высился огромный кулак – символ мощи Империи, кулак, так похожий на

кулак его сиятельства. Толпы народа кричали «виват» и под дружное пение имперского гимна расходились с площади. Вечером в особняке е. с. Гениального был устроен банкет и концерт с участием капеллы им. Кобчика».

Улигания процветала. Улиганштадт достиг верхов благоустройства и хозяйственного богатства. Муниципалитет готовился к постройке городского театра, когда страшный удар поразил империю.

Улигании была объявлена война, и объявил ее не кто другой, как президент могущественной республики, Халдейской республики Шкид, – Викниксор.

Объявление войны произошло в несколько странной форме. В Улиганштадт вошла секретарша и супруга президента вражеской республики Эланлюм и заявила:

– Кончайте эту волынку. Побузили и хватит.

Конечно, это не означало объявления войны. Это заявление просто указывало, что империя должна сдаться, рассыпаться, погаснуть… Это было хуже войны. Сдаться без боя, умереть, не испробовав вражеского пороха, не лучше, чем погибнуть в борьбе. Улигания приняла вызов и объявила:

– Война до победного конца!

Город украсился национальными флагами (на черном фоне белый кулак), «Известия» протрубили страшную новость.

Был созван экстренный пленум Совнаркома, на котором

выступили с горячим призывом к борьбе диктатор и наркомбуз. Решили объявить мобилизацию. В тот же день на улицах города появились листовки-приказы:

ПРИКАЗ №1

Народного комиссара военных и морских дел

Наркомвоенмор сообщает гражданам Империи, что всесильной Империи Улигании объявлена война халдеями.

Улигания должна с честью выйти из этой войны.

Вперед за правое дело Великой Бузы!

В Бузе обретешь ты право свое!

Да здравствует и живет в веках Улиганская Империя! Наркомвоенмор Г. Янкель.

ПРИКАЗ №2

От начальника имперской милиции и главкома колониальных войск

Главное Управление военными силами Империи в лице начмила и главкома, ввиду объявления войны, объявляет мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат все граждане Улигании, как города Улиганштадта, так и городов Кипчакославля, Волынграда и Бужебурга. Явка для регистрации – штаб туземной армии, управляемой имперским наместником.

За неявку к призыву виновные будут подвергаться

военно-полевому суду. Начмил и главкомколвойск Пантелеев.

ПРИКАЗ №3

по г. Улиганштадту

От начмила и городского магистрата

Город Улиганштадт объявляется на военном положении. Вход и выход из города допускается лишь по получении пропуска в магистрате у городского головы.

Городской голова К. Гениальный.

Начмил Л, Пантелеев.

Мобилизация в Улиганштадте прошла организованно и без эксцессов. В главный штаб явилось двенадцать человек. Все они были зачислены в списки армии и получили «форму» – картонный значок с гербом империи и бумажный кивер с кокардой, которые изготовлялись на приспособленном для производства военного снаряжения газовом заводе миллионера Башклома.

«Известия», находившиеся на содержании у правительства, дали неверный отчет о ходе мобилизации, превратив двенадцать человек в двенадцать тысяч.

В Улиганштадте мобилизация прошла спокойно, зато в колониях провести призыв было не так легко. Наркомвоенмор Янкель имел с главковерхом Пантелеевым секретное совещание, на котором было решено назначить наместников колониальных государств. Составили

список: от Килчакии – Курочка, от Волынии – Баран и от Бужландии – Калина. Список передали диктатору, тот утвердил его. Через наркомпочтель послали телеграммы с вызовом наместников. Наместники прибыли в Улиганштадт одновременно. Диктатор встретил их ласково, устроил угощение из чая с сахарином и черным хлебом и уполномочил их провести мобилизацию и агитировать за военную кампанию на своей родине.

Наместники уехали.

Через некоторое время от них получилось сообщение, что мобилизацию удалось провести не самым лучшим образом.

> «В Кипчакии положение с призывом ужасное, – *писал наместник Курочка,* – мобилизуемые дезертируют из частей или же просто не являются на призыв. Из собранных 23 человек только 10 являются надежными на случай сражения с врагами»

От наместника Барана поступила телеграмма такого же рода:

> «Положение аховое Дезертируют почти все призывники. Замечена провокационная работа халдеев»

От Бужландии же наместник писал:

> «Прошу меня не считать наместником. Избит».

Такие сообщения мало могли порадовать Улиганию. Но улигане не знали о положении дела в колониях. «Известия» молчали по тайному приказу Совнаркома. Поэтому в Улигании царил бодрый патриотический дух.

Однажды, когда улиганская армия собралась на площади Бузы для прохождения обычной воинской подготовки, туда прибыл наркомвоенмор.

– Друзья, – сказал он, – требуется сформировать отряд для подавления бунта в колониях. Кто пойдет?

Это сообщение ударило как гром, но тем не менее лес рук поднялся. Наркомвоенмор был растроган.

– Не так много, – сказал он, – пяти человек вполне достаточно.

Пять человек получили название Летучего отряда и были под управлением самого главкома Пантелеева отправлены в Бужландию.

Отряд вышел из города вооруженный острыми, отточенными стеклом палками. Вместе с отрядом в Бужландию отправился корреспондент «Известий», наркомпочтель Пыльников. Через полчаса после ухода Летучего отряда в редакцию газеты поступило сообщение, что отряд разбит, но тем не менее удалось запугать бужан и заставить их не выступать на стороне халдеев в случае разгара войны. Вскоре вернулся и самый отряд. У двоих были разбиты носы, у Пантелеева разорвана рубаха и сорван главкомовский значок.

В Совнаркоме состоялось совещание. Постановили наградить всех участников сражения орденами Бузы, а Пантелеева представить в кавалеры ордена Имперской Мощи и произвести в генералы.

Тем временем в соседней Кипчакии дело шло на свой лад. Диктатор Улигании и Совнарком не знали, что назначенный ими наместник Курочка – изменник, что готовится бунт.

* * *

В Улиганштадт вошел Алникпоп.

– По местам. Начинается урок.

– К че-орту!..

– Начнем сражение, – сказал диктатор секретарю де Буржелону, тот передал приказание в Совнарком. Оттуда был спешно послан курьер в колонии с приказом выступать туземным армиям.

В свою очередь начмил собрал гарнизон. Летучий отряд во главе с Пантелеевым подошел к Алникпопу.

– Вы арестованы, – заявил Пантелеев, положив руку на плечо халдея.

– Что-о? – заревел Алникпоп.

– Вы арестованы как халдей, представитель вражеской страны.

Алникпоп пытался выбежать из класса, но отряд окружил его.

В это время за Аркой Викниксора I, переименованной в Арку Войны, показался отряд кипчаков, предводительствуемый Курочкой.

– Марш назад! – закричал Алникпоп.

Отряд из двадцати человек молча прошел в Улиганштадт и выстроился на площади Бузы.

– Смирно, – скомандовал Курочка. Затем в сопровождении одного солдата он прошел во дворец диктатора.

– Имею честь вас арестовать, – заявил он Гениальному.

Тот выпучил глаза.

– Как?

– Вы арестованы!

Могучего быкообразного Купца выволокли на площадь. Там собралось все население города. Курочка вышел на середину площади, взобрался на памятник Бузе, сделанный из двух табуретов, и сказал:

– От имени всей республики Шкид объявляю государственный переворот в империи Улигании. Довольно страна находилась под игом диктатора. Объявляю свободную Советскую Республику.

Улиганская армия пыталась сопротивляться – несколько солдат бросились на Курочку, но кипчакский отряд моментально навел спокойствие в городе. Это показало, что как армия, как физическая сила, Кипчакия была авторитетнее Улигании.

Переворот произошел. Алникпопа отпустили. Все государственные деятели Улигании были арестованы и сидели в государственной тюрьме. Тем временем создавалось новое правительство. Был созван первый Совет народных депутатов, на заседании которого была официально провозглашена Улиганская Свободная Советская Республика. Конституция, пущенная целиком в новой газете «Свободная Улигания», объявляла, что отныне все государства являются самостоятельными и отделяются от бывшей империи. В вышедшем в тот же день втором номере «Свободной Улигании» от имени Совета объявлялась амнистия всем заключенным имперцам.

Большинство рядовых граждан Улиганштадта признало новую власть.

Памятник Бузе был снят.

Затем кипчакская армия оставила город. Улигании было

предоставлено право самоопределения.

Уроков, конечно, в этот день не было. Халдеи, напуганные рассказом Алникпопа, боялись заглянуть в четвертое отделение.

* * *

За вечерним чаем Викниксор, мило улыбаясь, заявил:

– Ребята, как мне стало известно, вы играете в гражданскую войну. Я знаю, что это интересная игра, на ней вы учитесь общественной жизни, это пойдет впрок, когда вы окажетесь за стенами школы. Но все же, в конце концов, увлекаться этим нельзя. Надо учиться. У вас, как я знаю, произошла социальная революция. Поздравляю и предлагаю вам объединиться вместе с «халдеями» в один союз, в Союз Советских Республик. Согласны? Кроме того, в честь такого события объявляю амнистию всем пятиразрядникам.

Громкое «ура» встретило слова Викниксора.

На этом кончилась великая шкидская буза.

Шкида снова перешла с военного положения на мирное. Снова в классах Алникпоп читал русскую историю, Эланлюм – немецкий язык и два раза в неделю Костец, постукивая палочкой, кричал:

– На гимнастику – живо!

Лотерея-аллегри

Капли осеннего дождя бьют по стеклу окон – туб-туб-туб-туб.

Три часа дня, а в классе полуваттные лампочки борются с сумерками.

Лекция русского языка. Читает Асси.

Асси – халдей; голова въехала в плечи, он в ватном промасленном пальто. Карманы пальто взбухли… По слухам, в карманах кусочки хлеба, которые Асси собирает на ужин. Голос Асси звучит глухо, неслышно:

– Карамзин… Сентиментализм… Романтизм…

Улигане сидят по партам, но никто не слушает Асси. Японец фальшиво поет:

Асси в классе,
А в классе бузаси,
В классе бузаси,
Бедненький Асси.

Кальмот, взгромоздившись с нотами на парту, бубнит:

– Кальмот виндивот виндивампампот, захотел виндивел виндивампампел, хлебца виндивебца виндивампампебца.

В углу Барин и Пантелеев.

– Бей!

– Семь… Дама… Казна!

– Девки!

– Мечи!

Дуются в очко. Никто не слушает Асси.

Скука…

Голос Асси, как из могилы:

– «Бедная Лиза»… Вкусы господствующего класса… Эпоха…

Голос Асси, заикающийся и глухой.

Скука!..

Асси в классе,

А в классе бузаси,

В классе бузаси,

Бедненький Асси.

Купец сгреб в охапку Жвачного адмирала.

– Замесить колобок?

Ладонь проезжает по треугольной голове Адмирала, ерошит и без того взъерошенные волосы…

Скучно!..

– «Бедная Лиза». Начало девятнадцатого века… «Пантеон словесности»… «Бедная Лиза»…

Асси в классе,

А в классе бузаси,

В классе бузаси,

Бедненький Асси.

– Воробей виндивей виндивампампей, дурак виндивак виндивампампак…

– Бей!

– Картинка… Лафа!

– Ну?

– Очко!..

– Мечи!

– Замесить колобок?

Асси в классе,

А в классе…

Скука, тоска.

И вдруг голос Джапаридзе:

– Придумал! Ура!

…бузаси.

Упала на пол пиковая десятка, ладонь Офенбаха застыла в центре адмиральского треугольника. И голос Асси становится громким и слышным:

– С тысяча семьсот семьдесят четвертого года Николай Михайлович Карамзин предпринял издание «Московского журнала», в коем помещал свои «Письма русского путешественника». С тысяча семьсот девяносто пятого года Николай Михайлович…

– Идея! – закричал опять Джапаридзе.

Тридцать глаз обернулись в его сторону.

– Что?

– Какая?

– А ну, не тяни! Говори!

Джапаридзе ставит вопрос ребром:

– Скучно?

Полтора десятка глоток:

– Скучно.

Обросший бородавками палец Джапаридзе поднимается вверх.

– Лотерея-аллегри.

И снова голос Асси уходит в могилу.

– С тысяча восемьсот третьего года-да… Государства Российского-

го… Императорский историограф-раф…

Класс уподобился развороченному муравейнику.

Унылая песня Японца переходит на бешеный темп:

Асси в классе,

А в классе бузаси,

В классе бузаси,

В классе бузаси

Асси!

Асси…

Класс взбесился. Скуки нет – какая скука, если в каждой голове клокочет мысль:

– Лотерея-аллегри!

Долой скуку! Не надо карт, колобков и фальшивого тенора Япошки!

– Даешь лотерею-аллегри!

В дверь класса просовывается рука с колокольчиком. Рука делает ровные движения вверх-вниз, вверх-вниз, колокольчик дребезжит некрасивым, но приятным для слуха звоном.

Асси захлопывает томик истории словесности Солодовникова, голова уходит еще глубже в плечи, руки тонут в разбухших карманах, и Асси – незаметно в общем шуме – выходит из класса.

И сразу же у парты Джапаридзе оказываются Янкель, Пантелеев и Японец.

– Даешь?

– Даешь!

Генеральный совет заседает:

– Ты, я, он и он… Компания. Идет?

– Идет.

– Лотерея-аллегри. Черти! И не додумался никто!

– Прекрасно.

– Лафузовски.

– Симпатично.

– А вещи?

– Какие? Ах, да… Наберем кто что может…

Янкель:

– Я в отпуск пойду, принесу прорву.

– И я, – говорит Пантелеев.

Японец, захваченный идеей, решается на подвиг, на жертву.

– Все. Бумаги сто двадцать листов, карандаши… Все для лотереи-аллегри.

Джапаридзе – автор идеи – кусает губы… Он в пятом разряде и в отпуск идти не может.

– Я дам, что смогу, – говорит он.

Завтра суббота – отпуск. Сегодня день самый скучный в неделе, но скуки нет – класс захвачен идеей, которая, быть может, на долгое время заполнит часы досуга Улигании. И Джапаридзе, гордо расхаживая по классу, поднимая вверх толстый, обросший бородавками палец, говорит:

– Я!

* * *

В году триста шестьдесят пять дней, пятьдесят две недели.

Каждый день каждой недели в Шкиде звонят звонки. Они звонят утром – будят республику, звонят к чаю, к урокам, ко сну… Но лучший звонок, самый приятный для уха шкидца, – это звонок в субботу, по окончании уроков. Кроме конца уроков, он объявляет отпуск.

Обычно кончились уроки – все остаются по классам, на местах; сейчас же Шкида напоминает сумасшедший дом, и притом – буйное отделение.

В классе четвертого отделения кутерьма.

– Мыть полы! – кричит Воробей, староста класса.

И эхом откликается:

– Мыть полы!

– Полы мыть! Кто?

В руках у Воробья алфавитный список класса.

– Один с начала, один с конца: Еонин, Черных, Пантелеев и Офенбах.

– Не согласен!

– Буза!

– Я мыл в прошлый раз!

– К че-орту!

Скульба, пререкания, раздоры…

Пантелеев, Янкель и Купец не имеют желания мыть полы – им в отпуск… Купец тотчас же «откупается», то есть находит себе заместителя.

– Кубышка!..

Пухленький Кубышка – Молотов – вырастает как из-под земли.

– Моешь пол?

– Сколько?

– Четвертка.

– На псул!

– А сколько?

– Фунт.

Отдать фунт хлеба за мытье пола Купцу не улыбается, но желание поскорее попасть в отпуск побеждает.

Купец за фунт хлеба желает получить максимум удовольствия. Здоровенный щелчок по лбу Кубышки:

– Получи в придачу.

Янкель и Пантелеев бесятся.

– Да как же это?.. Ведь в отпуск… А лотерея-аллегри?

Джапаридзе – председатель лотерейной компании – решается:

– Черт с вами!.. Хряйте… Мы с Японцем осилим. Верно?

– Верно!

Лица Пантелеева и Янкеля расцветают.

– Лафа.

По лестнице наверх. В спальне забирают одеяла, постельное белье – и в гардеробную. У гардеробной хвост. Шкидцы, идущие в отпуск, пришли сдать казенное белье и получить пальто и шапки.

– В очередь! В очередь! Куда прете?

– Пошел ты!..

Физическая сила и авторитет старшеклассников берут верх – улиганштадтцы без очереди входят в гардеробную.

Там властвуют Лимкор и Горбушка – гардеробный староста.

– Прими, Горбушенция.

Горбушка преисполнен достоинства.

– Подожди.

Белье сдано, получены пальто и ситцевые шапки, похожие на красноармейские шлемы.

– В халдейскую!

В канцелярии Алникпоп, дежурный халдей, взгромоздив на нос пенсне, важно восседает на инвалидном венском стуле.

– Дядя Саша, в отпуск идем. Напишите билеты.

Халдей внимательно просматривает «Летопись». Янкель и Пантелеев – во втором разряде, пользуются правом отпуска. Он достает из стола бланк и пишет:

> «Сим удостоверяется, что воспитанник IV отд. школы СИВ им. Достоевского отпущен в отпуск до понедельника 20 октября сего года».

Формальности окончены, долг гражданина республики исполнен.

– Дежурный, ключ!

И на улицу.

* * *

А Шкида начинает мыться.

Хитроумный Кубышка получил фунт хлеба, а полов не моет. Он

поймал первоклассника Кузю.

– Вымой пол.

– Что дашь?

– Хлеба дам.

– Сколько?

– Четвертку.

Молчаливый кивок Кузи завершает сделку. Кубышка идет в класс, усаживается на Янкелеву парту и вынимает из нее недоступные обычно выпуски «Ната Пинкертона» и «Антона Кречета». Он заработал три четверти фунта хлеба и может отдохнуть.

Японец и Дзе, не обладая излишками хлеба, принуждены честно выполнить геройски принятую на себя обязанность.

Идут на кухню. Ведра и тряпки предусмотрительно расхватаны, приходится ждать, пока кто-нибудь кончит мытье.

Получив наконец ведра и наполнив их крутым кипятком, товарищи поднимаются наверх.

Там Аннушка, старшая уборщица, командует и распределяет участки для мытья.

– Вымойте Белый зал, – говорит она.

Еонин и Джапаридзе спускаются вниз и проходят в Белый зал.

Зал большой, – страшно браться за него. По положению надо мыть тщательно, промывать два раза и вытирать паркетные плиты насухо, чтобы не было блеска.

Но улигане, оставшись вдвоем, решают дело иначе.

– Начинай!

Японец берет ведро, нагибает его и бежит по залу. Вода разливается ровными полосками. За Японцем на четвереньках бежит Дзе и растирает воду. Через пять минут паркетный пол темнеет и принимает вид вымытого.

– Готово.

Товарищи усаживаются к окну. Джапаридзе закуривает и, затягиваясь, осторожно пускает дым по стене.

Просидев срок, который нужен для хорошего мытья, идут в канцелярию.

– Дядя Саша, примите зал.

Сашкец идет в зал, близоруко, мельком осматривает пол и возвращается в «халдейскую».

Японец и Дзе идут в класс, растопляют печку и, греясь у яркого огня, болтают о лотерее-аллегри и ждут понедельника.

* * *

В сумраке октябрьского утра Ленька Пантелеев бежал из отпуска в Шкиду. Обутые в рваные «американские» ботинки ноги захлебывались грязью, хлопали по лужам, стучали на неровных плитах тротуаров.

На улицах закипала дневная жизнь, открывались витрины магазинов, и из лавок «Продукты питания» вырывался на улицу запах теплого ситного, кофе и еще чего-то неуловимого, вкусного.

Ленька бежал по улице, боясь опоздать в Шкиду. У Покровки в витрине ювелирного магазина попались часы. Ленька взглянул и похолодел. Пять минут одиннадцатого, а в Шкиду надо было поспеть к

первому уроку, к десяти.

Он прибавил ходу и крепче сжал объемистый узел, наполненный вещами, предназначенными для лотереи-аллегри.

Были в нем: «Пошехонская старина» Салтыкова, ржавые коньки, гипсовый бюст Льва Толстого, ломаный будильник, зажигалка и масса безделушек, которые Ленька частью выпросил, частью стянул у сестренки.

– Начались уроки? – спросил Пантелеев, когда ему, запыхавшемуся и усталому, кухонный староста Цыган открыл дверь.

– Начались. – ответил Цыган.

– Давно?

– С полчаса.

«Влип, – подумал Пантелеев. – Какой еще урок, неизвестно… Если Сашкец или Витя, то гибель – пятый разряд!»

Боясь попасться на глаза Викниксору или Эланлюм, он, крадучись, пробрался к классу, прильнул ухом к замочной скважине и прислушался. Сердце его радостно запрыгало. Через дверную щель глухо доносились отрывистые реплики:

– Карамзин… Тысяча восемьсот третий год… Наталья, боярская дочь…

Ленька приоткрыл дверь и спросил:

– Можно?

– Пожалуйста, – ответил Асси, – войдите.

Он был единственный халдей, который называл шкидцев на «вы». Ленька вошел в класс. При виде его, несущего узел, класс загромыхал.

– Ай да налетчик!

– Браво!

– Ура!

Ленька прошел к своей парте, уселся, отдышался и стал развязывать узел. Тотчас же к нему подсели Японец и Джапаридзе.

– Ну, показывай.

Пантелеев выложил на скамейку парты принесенные вещи.

– А Янкель пришел? – спросил он.

– Нет еще, – ответил Японец, перелистывая «Пошехонскую старину».

Парту Пантелеева обступили Воробей, Горбушка и Кальмот.

– Ну, хряйте, хряйте, – прогнал их Ленька, – нечего глазеть. Тут профессиональная тайна.

Любопытные отошли. Ленька засунул вещи в ящик парты, отложив отдельно принесенные продукты: хлеб, сахар, кусок пирога и осьмушку махорки.

В это время в класс ворвался раскрасневшийся и вспотевший Янкель. В руках он нес огромный, перевязанный бечевкой пакет. Улигания встретила его еще более громким «ура».

Янкель бросился на свою парту и, отдуваясь, протянул:

– Фу ты, я-то думал – у нас Гусь Лапчатый, а тут…

Асси, на минуту притихший, бубнил, спрятав голову в плечи:

– Карамзин – выразитель эпохи… Разбирая его произведения в хронологическом порядке, мы…

Затрещал звонок. Асси, не докончив фразы, поднялся и выкатился

из классной.

– Компания, сюда! – закричал Японец.

Четверка собралась у пантелеевской парты. Янкель притащил свой пакет и, развернув его, выложил десятка два разных книг, уйму вставочек, статуэток, палитру красок и комплект «Нивы» за 1909 год. Притащил свои вещи к пантелеевской парте и Японец. Дал он сто двадцать листов писчей бумаги, которую копил в течение целого года, и дюжину фаберовских карандашей.

Джапаридзе снял и отдал обмотки. Носить обмотки в Шкиде считалось верхом изящества и франтовства; взнос Джапаридзе поэтому был очень ценен.

Когда все вещи были собраны, Янкель предложил:

– Приступим к технической части. Надо составить каталог.

Стали составлять список вещей. Первым номером записали коньки:

1. Первосортные беговые коньки «Джексон».

Вторым записали обмотки Дзе:

2. Прекрасные суконные обмотки последнего лондонского образца.

Третьим прошел трехсантиметровый бюст Толстого «почти в натуральную величину»…

Дальше оценка вещей стала затруднительна.

Вынули будильник. Будильник оказался лишь пустой жестяной коробкой с циферблатом, но без механизма.

– Идея, – сказал Японец. – Пиши: «Изящные часы-будильник

«Ohne Mechanismus».

– Это что значит? – спросил Дзе. – Уж больно звучно.

– Это значит, что часы без механизма… А ребята не поймут – подумают, что фирма «Оне Механизмус».

Потом записали «Полный комплект журнала «Нива» за 1909 год в роскошном коленкоровом переплете», ломаный десертный ножик под громким названием «дамасский кинжал вороненой стали», зажигалку и «Пошехонскую старину».

Затем стали записывать мелочь – статуэтки, карандаши, вставочки. Под конец пустили бумагу:

51. Прекрасная веленевая бумага 5 л.

52 ……

53 ……

Всего набралось 70 номеров.

– Почем же будем продавать билеты? – спросил Пантелеев.

– Я думаю, две порции песку, или полфунта хлеба, или пять копеек золотом, – сказал Японец.

Янкель подсчитал в уме и заявил:

– Невыгодно… Три рубля пятьдесят копеек золотом всего получается. Не окупит дела. Одни коньки два рубля стоят.

– Пустых ведь не будем делать, – сказал Дзе.

– Нет, пустых не надо.

Решили устроить маленькую перетасовку. Вместо пяти листов бумаги написали два листа. Получилось сто тридцать номеров.

Составив каталог, начали изготовлять билеты. Янкель сделал

образец:

БИЛЕТ

№1

на право участия в розыгрыше

ЛОТЕРЕИ-АЛЛЕГРИ

Казначей

При помощи Пантелеева и Дзе Янкель отпечатал их сто тридцать штук.

– А кто у нас будет казначеем? – спросил Пантелеев. – Я думаю – Янкель…

– К черту! – заявил Японец. – Лучше Дзе.

Согласились на Дзе. Новоиспеченный казначей принялся подписывать билеты. До вечера работали – описали билеты, наклеивали номерки к вещам и, отгородив кафедрой угол класса, расставляли вещи по полкам пустующего книжного шкафа.

А утром во вторник улигане, явившись после чая в класс, узрели на остове кафедры огромный плакат:

ВНИМАНИЕ!!!

КАЖДЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ

ШКИДЕЦ

МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ:

КОНЬКИ «ДЖЕКСОН»,

СУКОННЫЕ ОБМОТКИ,

БУДИЛЬНИК «OHNE MECHANISMUS»

и

массу других полезных и дорогих вещей, если он

приобретет БИЛЕТ на право участия в

ЛОТЕРЕЕ-АЛЛЕГРИ

Билет стоит:

2 песка

1/2 ф. хлеба

5 коп. золотом

Билеты продаются у казначея Тиражной комиссии Г. ДЖАПАРИДЗЕ

ТАМ ЖЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ

Тиражная Комиссия Еонин, Пантелеев, Джапаридзе и Черных

У плаката собралась огромная толпа. Весть о лотерее облетела всю республику. Сашкецу, пришедшему в четвертое отделение читать лекцию, с трудом удалось разогнать орду кипчаков, волынян и бужан.

На уроках царило возбуждение, и даже Викниксору, читавшему улиганам древнюю историю, трудно было подчинить дисциплине

возбужденную массу. После звонка, Викниксор полюбопытствовал, чем взбудоражен класс. Кто-то молча указал на кафедру, кричащую плакатом.

Викниксор, читая плакат, улыбался, прочитав, нахмурился.

– Надо было у меня разрешение взять, а потом уже объявление вешать, – сказал он.

Выскочил Янкель.

– Извините, Виктор Николаич… Не подумали…

– Ну ладно, – добродушно улыбнулся завшколой, – бог с вами… Развлекитесь.

Потом, подумав, вынул из кармана портмоне и сказал:

– Дайте-ка мне на счастье парочку билетов.

Класс дружно загромыхал аплодисментами. Джапаридзе вручил Викниксору два первых билета.

После уроков класс снова заполнился шкидцами. Приходили уже с продуктами: хлебом, сахарным песком, а кто и с деньгами, принесенными из дому. Большинство покупало по одному-два билета, некоторые платили по соглашению с комиссией сахарином, папиросами или чем другим; кухонный староста Громоносцев, обладавший хлебными излишками, ухлопал десять фунтов хлеба, купив двадцать билетов.

– Коньки выиграть хочу, – заявил он. – И обмотки выиграю.

Пришедшего после обеда Асси насильно заставили купить пять билетов. К вечеру было продано сто два билета. Парта Джапаридзе разбухла от скопившихся в ней, на ней и под ней хлеба и сахарного

песку. Кроме того, в кармане у Дзе похрустывало лимонов сорок денег.

На другой день вечером в Белом зале должен был состояться тираж.

* * *

В Белом зале собралась вся Шкида.

Посреди зала стоял стол, уставленный разыгрываемыми вещами, рядом другой стол, и на нем ящик со свернутыми в трубочки номерами. Шкида облепила столы и стоящую около них Тиражную комиссию.

– В очередь! – закричал Японец.

Шкида вытянулась в очередь. Первым стал Викниксор, за ним халдеи, потом воспитанники.

– Тираж лотереи-аллегри считаем открытым, – объявил Джапаридзе.

Викниксор, улыбаясь, засунул руку в ящик и вынул два билета. Развернули, оказались номера шесть и шестьдесят девять.

Джапаридзе посмотрел в список:

– Дамасский кинжал вороненой стали и лист бумаги.

Бумагу Викниксор взял, от «кинжала» же отказался, как только взглянул на него.

Потом вынимал билет Сашкец. Вытянул он два листа бумаги. Асси вытянул четыре порции бумаги и книгу «Как разводить опенки в сухой местности». Косталмеду достался карандаш, которым он тотчас же записал расшалившегося в торжественный момент тиража второклассника Рабиндина, носившего прозвище Рабиндранат Тагор.

Потом стали вытягивать билеты воспитанники.

Купец, мечтавший выиграть обмотки, вытянул будильник «оне механизмус». В первый момент он было обрадовался… Но, получив в руки часы и осмотрев их, он пришел в неописуемую ярость.

– Убью! – закричал он. – Аферисты, жулики, мошенники!..

Тираж на время приостановился. Тиражная комиссия, сгрудившись у стены, мелко дрожала, как в лихорадке. Накричавшись, Купец с остервенением бросил «оне механизмус» на пол и вышел из зала.

Тираж возобновился.

Коньки выиграл Якушка, самый крохотный гражданин республики. Обмотки достались Голому Барину.

Тираж подходил к концу, когда в зал ворвался Цыган. Как староста, он был занят на кухне и только что освободился.

– Даешь коньки! – закричал он.

– Уже… готовы, – ответил кто-то.

– Как то есть готовы?

– Выиграны.

– А обмотки?

– Выиграны.

– А, сволочи!.. – закричал Цыган и подскочил к столу с намерением вытащить двадцать билетов.

Но билетов в ящике оказалось лишь двенадцать – восемь штук загадочным образом исчезли.

И все доставшиеся Цыгану билеты оказались барахлом: десять –

бумага, один – книжка «Кузьма Крючков» и один – безделушка – слон с отбитым хоботом.

– Сволочи! – закричал Цыган. – Сволочи, мерзавцы!.. Жульничать вздумали!.. Аферу провели!.. Хлеб у людей ограбили!..

Он схватил стол, с силой кинул его на пол и бросился к Тиражной комиссии. Комиссия рассыпалась. Лишь один Янкель, не успевший убежать, прижался к стене. Громоносцев кинулся на него и так избил, что Янкель два часа после этого ходил с завязанной щекой и вспухшими глазами. Но только два часа.

Через два часа Янкель уже разгуливал веселый и бодрый. В Янкелевой голове назревала блестящая, по его мнению, мысль. Он решил возместить убытки, понесенные им от Цыгана. Для этой цели он о чем-то долго шептался с Джапаридзе.

Японец и Пантелеев убирали зал; убрав, пошли в класс. Первое, что поразило их при входе, это лицо Джапаридзе – бледное, искаженное страданием.

– Что такое? Говори! – закричал Японец, почувствовав беду.

– Хлеб, – прошептал Дзе, – хлеб, сахар… все…

– Что?

– Похитили… украли…

– Как… Дочиста?

– Нет… вот кальмот.

Джапаридзе вынул из парты горбушку хлеба фунтов в пять.

Пантелеев и Японец переглянулись и вздохнули.

– А деньги? – спросил Японец.

Дзе на мгновение задумался. Потом вывернул почему-то один правый карман и ответил:

– И деньги тоже украли.

Пантелеев и Японец взяли горбушку хлеба и вышли из класса.

– Ну и сволочи же, – вздохнул Японец.

– Д-да. – поддакнул Пантелеев.

Растратчик Джапаридзе тем временем давал взятку изобретательному Янкелю, или, проще, делился с ним растраченным капиталом – хлебом, сахаром – и лимонами.

Так кончилась первая «лотерея-аллегри».

* * *

Но пример нашел отклик…

Скоро Купец в компании с Цыганом и Воробьем устроили такую же лотерею. Лотерея прошла слабо, но все же дала прибыль. Это послужило поводом к развитию игорного промысла в четвертом отделении.

Новичок Ельховский – Саша Пыльников – придумал новую игру – рулетку, или «колесо фортуны». Пантелеев, имевший по прошлому знакомство с марафетными играми, научил товарищей играть в «кручу-верчу» и в «наперсточек». Четвертое отделение превратилось в настоящий игорный притон. Дошло до того, что не стало хватать игроков, все сделались владельцами «игорных домов». Сидит каждый у своей игры и ждет «клиентов». Наскучит – подойдет к соседу, сыгранет и зовет его к себе… За старшими потянулись и младшие.

Игры стали устраивать и в младших отделениях…

Но скоро лотерейная горячка в Шкиде прошла. Потянуло к более разумному времяпрепровождению.

Кончился период бузы, на Шкиду нашло желание учиться.

«Даешь политграмоту»

Часто улигане спрашивали президента своей республики Викниксора:

– Виктор Николаевич, почему у нас в школе нельзя организовать комсомол? Объясните…

Президент хмурил брови и отвечал, растягивая слова:

– Очень просто… Наша школа дефективная, почти что с тюремным режимом, а в тюрьмах и дефективных детдомах ячейки комсомола организовывать не разрешается…

– Так мы же не бузим!

– Все равно… Пока полного исправления не достигнете, нельзя. Выйдете из школы, равноправными гражданами станете – можете и в комсомол, и в партию записываться.

Вздыхали граждане дефективной республики Шкид и мечтали о днях, когда станут равноправными гражданами другой республики – большой Республики Советов.

А пока занимались политическим самообразованием. Читали Энгельса и Каутского, Ленина и Адама Смита. Некоторое время все шло тихо.

Но вот однажды поднялась буря, Шкида выкинула лозунг: «Даешь

политграмоту!»

Послали к Викниксору делегацию.

– Хотим политграмоту как предмет преподавания наряду с прочими – историей, географией и геометрией.

Викниксор почесал бровь и спросил:

– Очень хотите?

– Очень, Виктор Николаевич… И думаем, что это возможно.

– Возможно, да не просто, – сказал он.

– Вы уж нажмите там, где требуется…

– Хорошо, – пообещал Викниксор, – нажму, подумаю и постараюсь устроить.

* * *

Тянулись дни, серые школьные будни. Осень лизала стекла окон дождевыми каплями, и вечерами в трубах печей ветер пел дикие и унылые песни…

В эти дни уставшие от лета и бузы шкидцы искали покоя в учебе, в долгих часах классных уроков и в книгах, толстых и тонких, что выдавала Марья Федоровна – библиотекарша – по вторникам и четвергам.

А политграмота, обещанная Викниксором и не забытая шкидцами, знать о себе ничего не давала; молчал Викниксор, и не знали ребята, хлопочет он или нет.

Но однажды пришла политграмота. Она пришла в образе серого заикающегося человечка. У человечка была бритая узкая голова,

френчик синий с висящими нитками вместо пуговиц и на ногах желтые потрескавшиеся краги.

Человек вошел к улиганам в класс и сказал, заикаясь:

– Б-буду у вас читать п-политграмоту.

Дружным «ура» и ладошными всплесками встретила человечка в крагах Улигания. Долгожданная политграмота явилась.

Человечек назвался:

– Виссарион Венедиктович Богородицын.

Это рассмешило.

– Политграмота – и вдруг Богородицын!

– Богородица…

Стал человек в крагах Богородицей с первого же урока в Шкиде.

Начал урок с расспросов:

– Что знаете?

Большинство молчало. Японец же, встав, сказал, шмыгнув носом:

– Порядочно.

– Что есть Ресефесере?

– Российская социальная федеративная республика! – крикнул Воробей.

– Правда, молодец, – похвалил, заикаясь, лектор.

Ребята засмеялись.

– А что есть Совет?

– Власть коммунистическая.

– Правда, – опять сказал халдей.

А Японец, уже переглянувшись с Кобчиком, шептал:

– Липа… Лектор хреновый!

Потом обратился к Богородице:

– Можно вам вопросы задавать? Такая система лучше, я думаю, будет.

– Правда. Задавайте.

Японец, подумав, спросил:

– Когда принята наша конституция?

Сжались брови на узком лбу Богородицы, задумался он… Сразу же поняли все, что и в самом деле «липа» он, что случайно попал в Шкиду и политграмоты сам не знает.

– Конституция? – переспросил он. – А разве вы сами не знаете?

– Знали бы, так не спрашивали.

– Конституция принята в тысяча восемьсот семьдесят первом году в Стокгольме.

Прыснул Японец, прыснули за ним и многие другие.

– А когда Пятый съезд Советов был?

– Ну, уж это-то вы должны знать.

– Не знаем.

– В девятнадцатом году.

– А не в восемнадцатом?

Покраснел Богородица-политграмщик, опустил глаза.

– Знаете, так нечего спрашивать.

– А конституция не на Пятом съезде была принята?

Еще больше покраснел Богородица, съежился весь… Потом выпрямился вдруг.

– Какая конституция?

– Эрэсэфэсэрская.

– Так бы и говорили. Я думал, вы не про эту конституцию говорите, а про первую, что в девятьсот пятом году…

Понятно стало, что Богородица – не политграмота, что снова отходит от Шкиды заветная мечта. Стали бузить, вопросы задавать разные по политграмоте, издеваться.

– Что такое империализм?

– Не знаете?! Всякий ребенок империализм знает. Это – когда император.

– А кто такой Хрусталев-Носарь?

– Генерал, сейчас за границей вместе с Николаем Николаевичем.

До звонка потешались улигане над Богородицей, человечком в потрепанных крагах, а когда вышел он под зюканье и хохот из класса, загрустили:

– Дело – буза… Политграмота-то хреновая.

– Да… Порадовались раненько.

А вечером Викниксор, зайдя в класс, выслушивал ребят.

– Плох, говорите?

– Безнадежен, Виктор Николаевич.

– Слабы знания политические?

– Совсем нет.

Задумался Викниксор.

– Дело неважно.

– Где вы его только выкопали? – полюбопытствовал Ленька

Пантелеев.

– В Наробе… случайно. Спрашивал я там о политграмоте – нет ли педагога на учете. А тут он, Богородицын этот, подходит: могу, говорит, политграмоту читать… Ну, я и взял на пробу.

– Пробы не выдержал, – ухмыльнулся Янкель.

– Да, – согласился завшколой. – Пробы не выдержал… Поищем другого.

Больше Богородицын не читал в Шкиде политграмоту. Ушел он, не попрощавшись ни с кем, метнулся желтыми потрескавшимися крагами и исчез…

Может быть, сейчас он читает где-нибудь лекции по фарадизации или по прикладной космографии… А может быть, умер от голода, не найдя для себя подходящей профессии.

* * *

В табачном дыму расплывались силуэты людей.

Пулеметом стучал ремингтон, и ундервуд, как эхо, тарахтел в соседней комнате.

Кто-то веселым, картавящим на букве «л» голосом кричал кому-то:

– Товарищ, вы слушаете?.. Отдайте, пожалуйста, в комнату два. Товарищ…

А тот, другой, таким же веселым голосом отвечал издалека:

– Два? Спасибо…

В комсомольском райкоме работа кипела.

В табачном дыму мелькали силуэты людей. На стенах с ободранными гобеленами белели маленькие, написанные от руки плакатики:

СЕКРЕТАРЬ

АГИТОТДЕЛ

КЛУБКОМИССИЯ

Викниксор шел по плакатикам, хватаясь руками за стены, потонув в клубах дыма. Но все же отыскал плакатик с надписью: «Политпросвет».

Под плакатиком сидел человек в кожаной тужурке, с бритой головой, молодой и безусый.

– Меня, товарищ?

– Да, вас. Вы по политпросвету?

– Я. В чем дело?

– Видите ли… Я заведующий детдомом… У нас ребята – шестьдесят человек… хотят политграмоту. Не найдется ли у вас в комитете человечка такого – лектора?

Политпросветчик провел рукой по высокому, гладкому лбу.

– Ячейка или коллектив у вас есть?

– Нет. В том-то и дело, что нет… У нас, надо вам сказать, школа тюремного, исправительного типа – для дефективных.

– Ага, понимаю… Беспризорные, стало быть, ребята, с улицы?..

– Да. Но все же хотят учиться.

– Минутку.

Политпросветчик обернулся, снял телефонную трубку, нажал кнопку.

– Политшкола? Товарищ Федоров, нет ли у тебя человека инструктором в беспризорный детдом? Найдется? Что? Прекрасно…

Повесил трубку.

– Готово. Оставьте адрес, завтра пришлем.

* * *

Пришел он в Шкиду вечером.

В классе улиган, погасив огонь, сидели все у топившейся печки; отсвет пламени прыгал по стенам и закоптелому после пожара потолку… Из печки красным жаром жгло щеки и колени сидевших…

Он вошел в класс, незаметно подошел к печке и спросил:

– Греетесь, товарищи?

Обернулись, увидели: человек молодой, невысокий, волосы назад зачесаны, в руках парусиновый портфель.

– Греемся.

– Так… А я к вам читать политграмоту пришел… Инструктором от райкома.

Не кричали «ура» теперь шкидцы, знали – обманчива политграмота бывает…

– Садитесь, – сказал Янкель, освободив место на кривобоком табурете.

– Спасибо, – ответил инструктор. – Усядемся вместе.

Сел, погрел руки.

– Газеты читаете?

– Редко. Случайно попадет – прочтем, а выписывать – бюджет не позволяет.

– Все-таки в курсе дел хоть немножко? О четвертом съезде молодежи читали?

– Читали немного.

– Так. А о приглашении на Генуэзскую конференцию делегации от нашей республики?

– Читали.

– Ну а как ваше мнение: стоит посылать?

Разговорились этак незаметно, разгорячились ребята – отвечают, спорят, расспрашивают… Не заметили, как время ко сну подошло…

Уходя, инструктор сказал:

– Я у вас и воспитателем буду, заведующий попросил.

Вот теперь закричали «ура» улигане, искренне и дружно.

А потом уже в спальне, раздеваясь, делились впечатлениями…

– Вот это – парень! Не Богородица, а настоящий политграмщик.

Мечта шкидская осуществилась – политграмоту долгожданную получили.

Учет

В этом году зима выдалась поздняя. Долго стояла мокрая осень, брызгалась грязью, отбивалась, но все же не устояла – сдалась. По первопутку неисправимые обыватели тащили по домам

рождественские елки. Елочные ветки куриным следом рассыпались по белому снегу; казалось, что в городе умерло много людей и их хоронили.

На рождество осень дала последний бой – была оттепель. В сочельник, канун рождества, колокола гудели не по-зимнему, громыхали разухабистым плясом. Не верилось, что декабрь на исходе, казалось, что пасха – апрель или май.

А двадцать пятого декабря, на рождество, ртуть в Реомюре опустилась на десять черточек вниз, ночью метелью занесло трамвайные пути и улицы побелели.

В Шкиде рождества не справляли, но зиму встретили по-ребячьи радостно. Во дворе малыши, бужане и волыняне, играли в снежки, лепили бабу. И даже улигане, «гаванские чиновники», как звала их уборщица Аннушка, даже улигане не усидели в классе и вырвались на воздух, чтобы залепить друг другу лицо холодным и приятным с непривычки снегом.

Вечером за ужином Викниксор говорил речь:

– Наступила зима, а вместе с нею и новый учебный год. С завтрашнего дня мы кончаем вакационный период учебы и переходим к настоящим занятиям С завтрашнего дня ежедневно будет по десять уроков. С десяти часов утра до обеда – четыре, после обеда отдых, потом опять четыре урока до ужина и после ужина два урока.

Лентяи вздохнули, четвертое же отделение рвалось к учебе и было радо.

Викниксор походил, заложив руки за спину, по столовой,

собрался уже уходить, потом, вспомнив, вернулся.

– Да. Первого января у нас учет…

Это сообщение вызвало всеобщие радостные возгласы.

«Учетом» в Шкиде называлась устраиваемая несколько раз в году проверка знаний, полученных в классе.

Обычно к учету готовились заблаговременно. Преподаватели каждого предмета давали ученикам задания, по этим заданиям составлялись диаграммы, схемы, конспекты, устраивались подготовительные учеты-репетиции. Но спешное зазубривание курса не практиковалось, и вообще подготовка к учету не носила характера разучиваемого спектакля. Просто как следует готовились к торжеству.

То же самое было и на этот раз.

Уже на следующее утро, составив план выступлений по своим предметам, воспитатели ознакомили с ним учеников.

Шкида крякнула, поплевала на руки и засела за работу.

В четвертом отделении ребята с разрешения Викниксора сидели в классе до двенадцати часов.

Японец, Цыган и Кобчик по заданию Эланлюм переписывали готическим шрифтом на цветных картонах переведенный ими коллективно отрывок из гетевского «Фауста».

Янкель делал плакаты для украшения зала в день торжества. Воробей, Горбушка и еще несколько человек ему помогали.

Пантелеев писал конспект на тему «Законы Дракона» по древней истории, Кальмот и Дзе – о Фермопильской битве, о Фемистокле и Аристиде.

Саша Пыльников разрабатывал диаграмму творчества М. Ю. Лермонтова в период с 1837 по 1840 год и писал о байроновском направлении в его творчестве. Тихиков и Старолинский рисовали географические, экономические и политические карты РСФСР.

Все были заняты.

Подготовка тянулась целую неделю.

* * *

Новый год, по неокрепшей традиции, встречали торжественно всей школой.

В большой спальне днем были убраны койки, поставлены столы и скамейки. Вечером в одиннадцать с половиной часов все отделения под руководством классных надзирателей поднялись наверх в спальню.

На столах, покрытых белыми скатертями, уже стояли яства: яблочная шарлотка, бутерброды с колбасой и клюквенный морс, которым изобретательный Викниксор заменил новогоднее шампанское.

Отделения разместились за четырьмя столами. Дежурные разлили по кружкам «шампанское-морс» и уселись сами. Скромное угощение казалось изголодавшимся шкидцам настоящим пиром.

Викниксор в своей речи отметил успехи за год и пожелал, чтобы к следующему году школа смогла выпустить первый кадр исправившихся воспитанников.

Обыкновенно к ораторским способностям Викниксора шкидцы

относились сухо, сейчас же растрогались и долго кричали «ура».

Затем выступили с ответными тостами воспитанники. От улиган говорили Японец и Янкель.

Когда первое возбуждение улеглось, выступил новый халдей, политграмщик Кондуктор. Настоящее имя его было Сергей Семенович Васин. Кондуктором прозвали его за костюм – полушубок цвета хаки, какие носили в то время кондукторы городских железных дорог.

Кондуктор встал, откашлялся и сказал:

– Товарищи, я здесь в школе работаю недавно, я плохо знаю ее. Но все-таки я уже почувствовал главное. Я понял, что школа исправила, перевела на другие рельсы многих индивидуумов. Мое пожелание, чтобы в будущем году школа Достоевского смогла организовать у себя ячейку комсомола из воспитанников, уже исправившихся, нашедших дорогу.

Этот спич, произнесенный наскоро и несвязно, был встречен буквально громом аплодисментов и ревом «ура».

В час ночи банкет закрылся. Вмиг были убраны столы, расставлены кровати, и шкидцы стали укладываться спать. Японец пригласил на свою постель Янкеля, Пантелеева и Пыльникова.

– Мне нужно с вами поговорить, – сказал он.

– Вали.

– Завтра учет, – начал Японец. – Мы должны выпустить учетный номер какого-либо издания.

В четвертом отделении в то время выходило четыре печатных органа: журналы «Вперед», «Вестник техники», «Зеркало» и газета

«Будни».

– Согласны, ребята, что экстренный номер нужен?

– Согласны, – ответил Янкель. – Я предлагаю выпустить однодневку сообща.

– Идея! – воскликнул Пантелеев.

– Никому и обидно не будет, – подтвердил Сашка Пыльников, соредактор «Будней».

Решили выпустить газету «Шкид». Ответственным редактором назначили Янкеля, секретарские и репортерские обязанности взял на себя Пантелеев.

* * *

Утром занятий в классах не было. Вся школа под руководством Косталмеда и Кондуктора работала над украшением здания к торжеству. Из столовой и спален стаскивали в Белый зал скамейки, украшали зеленью портики сцены; зеленью же увили портреты вождей революции, развешенные по стенам, громадный портрет Достоевского и герб школы – желтый подсолнух с инициалами «ШД» в центре круга. Вдоль стен расставили классные доски, оклеенные диаграммами и плакатами, на длинных пюпитрах раскладывались рукописи, журналы, тетради и другие экспонаты учета.

В двенадцать часов прозвенел звонок на обед. Обедали торопливо, без бузы и обычных скандалов. Когда кончили обед, в столовую вошел Викниксор и скомандовал: «Встать!»

Ребята поднялись. В столовую торопливыми шагами вошла

пожилая невысокая женщина, закутанная в серую пуховую шаль.

– Лилина, – шепотом пронеслось по скамьям.

– Здорово, ребята! – поздоровалась заведующая губоно. – Садитесь. Хлеб да соль.

– Спасибо! – ответил хор голосов.

Ребята уселись. Лилина походила по столовой, потом присела у стола первого отделения и завязала с малышами разговор.

– Сколько тебе лет? – спросила она у Якушки.

– Десять, – ответил тот.

– За что попал в школу?

– Воровал, – сказал Якушка и покраснел.

Лилина минуту подумала.

– А сейчас ты что делаешь в школе?

– Учусь, – ответил Якушка, еще больше краснея. Лилина улыбнулась и потрепала его, как девочку, по щеке.

– А ты за что? – обратилась она к Кондрушкину, тринадцатилетнему дегенерату с квадратным лбом и отвисшей нижней челюстью.

– Избу поджег, – хмуро ответил он.

– Зачем же ты ее поджег?

Кондрушкин, носивший кличку Квадрат, тупо посмотрел в лицо Лилиной и ответил:

– Так. Захотелось и поджег.

Подошел Викниксор.

– Этот у нас всего два месяца, – сказал он. – Еще совсем не

обтесан. Да ничего, отделаем. Вот тоже поджигатель, – указал он на другого первоклассника – Калину. – Этот уже больше года у нас. За поджог в интернате переведен.

– Зачем ты сделал это? – спросила Лилина.

Калина покраснел.

– Дурной был, – ответил он, потупясь.

Поговорив немного, Лилина вместе с Викниксором вышла из столовой. Немного погодя к столу четвертого отделения подсел Воробей, бывший в то время кухонным старостой.

Он был красен, как свекла, и видно было, что ему не терпится что-то рассказать.

– Здорово! – проговорил он наконец. – Чуть не влип.

– Что такое? – спросил Японец.

– Да Лилина… Не успел дежурный дверь отворить – влетает на кухню:

– Староста?

– Староста, говорю.

– Сколько сегодня получено на день хлеба?

А я, признаться, точно не помню, хотя в тетрадке и записано.

– Два пуда восемь фунтов с половиной, говорю – наобум, конечно.

Она дальше:

– А мяса сколько?

– Пуд десять, говорю.

– Сахару?

– Фунт три четверти.

– Молодец, говорит, – и пошла.

Все расхохотались.

– Ловко! – воскликнул Янкель. – Ай да Воробышек!

После обеда воспитатели скомандовали классам «построиться» и отделениями провели их в Белый зал. Там уже находилось человек десять гостей.

От губоно, кроме Лилиной, присутствовали еще два человека – от комиссии по делам несовершеннолетних и от соцвоса. Кроме того, были представители от шефов – Петропорта, от Института профессора Грибоедова и несколько студентов из Института Лесгафта.

Шкидцы, соблюдая порядок, расселись по местам. Впереди уселись малыши; четвертое отделение оказалось самым последним. Янкель и Пантелеев притащили из класса бумагу и чернила и засели за отдельным столом редакции.

На сцену вышел Викниксор.

– Товарищи! – сказал он. – Сейчас у нас состоится учет, учет знаний наших, учет проделанной работы. Давайте покажем присутствующим здесь дорогим гостям, что мы не даром провели время, что нами что-то сделано… Откроем учет.

Слова Викниксора были встречены аплодисментами со всех скамеек.

– Первым будет немецкий язык, – объявил Викниксор, уже спустившись со сцены и заняв место в первом ряду, по соседству с гостями.

На сцену поднялась Эланлюм.

– Сейчас мы продемонстрируем наши маленькие успехи в разговорном немецком языке, потом покажем сценку из «Вильгельма Телля». Ребята, – обратилась она к четвертому отделению, – пройдите сюда.

Японец, Цыган, Кобчик, Купец и Воробей гуськом прошли на сцену и стали лицом к залу.

Эланлюм обвела взором вокруг себя и, не найдя, по-видимому, ничего более подходящего, ткнула себя пальцем в нос и спросила у Купца:

– Вас ист дас?

Купец ухмыльнулся, смутился. Он был по немецкому языку последним в классе.

– Нос, – ответил он, покраснев.

Гости, а за ними и весь зал расхохотались. Эланлюм расстроилась.

– Хорошо, что хоть вопрос понял, – сказала она. – Еонин, – обратилась она к Японцу. – Вас ист даст? Антворте.

– Дас ист ди назе, Элла Андреевна.

– Гут. Вас ист дас? – обратилась она к Цыгану, указав на окно.

– Дас ист дас фенстер, Элла Андреевна, – ответил Цыган, снисходительно улыбнувшись. – Вы что-нибудь посерьезнее, – шепнул он.

– Нун гут… Вохин геест ду ам зоннабенд? – обернулась Эланлюм к Воробью.

Воробей знал, что Эланлюм спрашивает, куда он пойдет в

субботу, знал, что пойдет в отпуск, но ответить не смог. За него ответил Еонин.

– Эр гейт ин урлауб.

– Гут, – удовлетворившись, похвалила немка.

Так, перебрасывая с одного на другого вопросы, она демонстрировала в течение пятнадцати минут «успехи в разговорном немецком языке».

Потом тем же составом воспитанников была показана сценка из пьесы «Вильгельм Телль» на немецком языке. Гости от «Вильгельма Телля» пришли в восторг, долго аплодировали.

За немецким языком шел русский язык. Гости и педагоги задавали воспитанникам вопросы, те отвечали.

Потом шли древняя и русская истории, политграмота, география и математика.

Пантелеев и Янкель все это время усиленно работали у себя в «походной редакции». Когда Викниксор объявил о перерыве и все собрались вставать, на сцене появился Янкель.

– Минутку, – сказал он. – Только что вышел экстренный номер газеты, висит у задней стены, желающие могут прочесть.

Все обернулись. На противоположной стене прилепился исписанный печатными синими буквами лист бумаги. Наверху, разрисованный красной краской, красовался заголовок:

«Шкид»

Однодневная газета, посвященная учету

Гости и шкидцы обступили газету. Передовица, написанная Японцем, разбирала учет как явление нового метода педагогики.

Дальше шел портрет Лилиной в профиль и стихи Пыльникова, посвященные учету:

Мы в учете видим себя,
Учет – термометр наш.
Науку, учебу любя,
Мы грызем карандаш.
Кто плохо учился год,
Тому позор и стыд.
Эй, шкидский народ,
Не осрами республику Шкид!

За стихами шла хроника учета. О каждом предмете был дан отдельный отзыв. Читающие были поражены последней рецензией:

> «Показанная последним блюдом гимнастика под руководством К. А. Меденникова прошла прекрасно. Хорошая, выдержанная маршировка, чисто сделанные упражнения. Поразила присутствующих своей виртуозностью и грандиозностью пирамида, изображавшая в своем построении инициалы школы – ШКИД».

Все много смеялись, так как гимнастики еще не было.

Лилина подошла к Янкелю.

– Как же это вы умудрились, товарищ редактор, дать отзыв о том, чего еще не было? – улыбнувшись, спросила она.

Янкель не смутился.

– А мы и так знаем, – сказал он, – что гимнастика пройдет хорошо. Заранее можно похвалить.

Гимнастика действительно прошла хорошо. Упражнения были сделаны чисто, и пирамида «поразила присутствующих своей виртуозностью».

На этом учет закончился. Гости разъехались. Викниксор собрал школу в зале и объявил:

– Все без исключения – в отпуск. Не идущие в отпуск – гулять до двенадцати часов вечера.

Старое здание школы дрогнуло от дружного ураганного «ура».

Шкида бросилась в гардеробную.

Шкида влюбляется

– Воробьев, слушай внимательно и пиши: сумма первых трех членов геометрической пропорции равна двадцати восьми; знаменатель отношения равен четырем целым и одной второй, третий член в полтора раза больше этого знаменателя. Теперь остается найти четвертый член. Вот ты его и найди.

Воробей у доски. Он берет мел и грустно обводит глазами класс, потом начинает писать формулу. Педагог ходит по классу и нервничает.

– И вы решайте! – кричит он, обращаясь к сидящим. – Нечего головами мотать.

Но класс безучастен к его словам. Лохматые головы рассеянны. Лохматые головы возбуждены шумом, что врывается в окна бурными

всплесками. На улице весна.

Размякли мозги у старших от тепла и бодрого жизнерадостного шума, совсем разложились ребята.

– Ну же, решай, головушка, – нетерпеливо понукает педагог застывшего Воробья, но тот думает о другом. Ему завидно, что другие сидят за партами, ничего не делают, а он, как каторжник, должен искать четвертый член. Наконец он собирает остатки сообразительности и быстро пишет.

– Вот.

– Неправильно, – режет халдей.

Воробей пишет снова.

– Опять не так.

– Брось, Воробышек, не пузырься, опять неправильно, – лениво тянет Еонин.

Тогда Воробей, набравшись храбрости, решительно заявляет:

– Я не знаю!

– Сядь на место.

С облегченным вздохом Воробышек идет к своей парте и, усевшись, забывает о математике. По его мнению, гораздо интереснее слушать, как на парте сзади Цыган рассказывает о своих вчерашних похождениях. Во время прогулки он познакомился с хорошенькой девицей и теперь возбужденно об этом рассказывает.

Его слушают с необычайным вниманием, и, поощренный, Цыган увлекся.

– Смотрю, она на меня взглянула и улыбнулась, я тоже. Потом

догнал и говорю: «Вам не скучно?» – «Нет, говорит, отстаньте!» А я накручиваю все больше да больше, под ручку подцепил, ну и пошли.

– А дальше? – затаив дыхание спрашивает Мамочка.

Колька улыбается.

– Дальше было дело… – говорит он неопределенно.

Все молчат, зачарованные, прислушиваясь к шуму улицы и к обрывкам фраз математика.

Джапаридзе уже несколько раз украдкой приглаживает волосы и представляет себе, как он знакомится с девушкой. Она непременно будет блондинка, пухленькая, и носик у нее будет такой… особенный.

На Камчатке Янкель, наслушавшись Цыгана, замечтался и гнусавит в нос романс:

Очи черные, очи красные,

Очи жгучие и прекрасные,

– Черных, к доске!

Как люблю я вас…

– Черных, к доске!

Грозный голос преподавателя ничего хорошего не предвещает, и Янкель, очнувшись, сразу взвешивает в уме все шансы на двойку. Двойку он и получает, так как задачу решить не может.

– Садись на место. Эх ты, очи сизые! – злится педагог.

Звонок прерывает его слова. Сегодня математика была последним уроком, и теперь шкидцы свободны, а через час первому и второму разряду можно идти гулять.

Едва захлопнулась дверь за педагогом, как класс, сорвавшись с

места, бросается к окнам.

– Я занял!

– Я!

– Нет, я!

Происходит горячая свалка, пока все кое-как не устраиваются на подоконниках.

Лежать на окнах стало любимым занятием шкидцев. Отсюда они жадно следят за сутолокой весенней улицы. Они переругиваются со сторожем, перекликаются с торговками, и это им кажется забавным.

– Эй, борода! Соплю подбери. В носу тает, – гаркает Купец на всю улицу.

Сторож вздрагивает, озирается и, увидев ненавистные рожи шкидцев, разражается градом ругательств:

– Ах вы, губошлепы проклятые! Ужо я вам задам.

– О-го-го! Задай собачке под хвост.

– Дядя! Дикая борода!

На противоположной стороне стоят девчонки-торговки; они хихикают, одобрительно поглядывая на ребят. Шкидцы замечают их.

– Девочки, киньте семечка.

– Давайте деньги.

– А нельзя ли даром?

– Даром за амбаром! – орут девчонки хором.

Закупка подсолнухов происходит особенно, по-шкидски изобретательно. Со второго этажа спускается на веревке шапка, в шапке деньги, взамен которых торговка насыпает стакан семечек, и

подъемная машина плывет наверх.

В разгар веселья в классе появляется Косталмед.

– Это что такое? – кричит он. – А ну, долой с подоконников!

Сразу окна очищаются. Костец удовлетворенно покашливает, потом спокойно говорит:

– Первый и второй разряды могут идти гулять.

Классы сразу пустеют. Остающиеся с тоской и завистью поглядывают через окна на расходящихся кучками шкидцев. Особой группой идут трое – Цыган, Дзе и Бобер. Они идут на свидание, доходят до угла и там расходятся в разные стороны.

В классе тишина, настроение у оставшихся особенное, какое-то расслабленное, когда ничего не хочется делать. Несколько человек – на окнах, остальные ушли во двор играть в рюхи. Те, что на окнах, сидят и мечтают, сонно поглядывая на улицу. И так до вечера. А вечером собираются все. Приходят возбужденные «любовники», как их прозвали, и наперебой рассказывают о своих удивительных, невероятных приключениях.

* * *

Уже распустились почки и светлой, нежной зеленью покрылись деревья церковного сада. На улицах бушевала весна. Был май. Вечерами в окна Шкиды врывался звон гитары, пение, шарканье множества ног и смех девушек.

А когда начались белые ночи, к шкидцам пришла любовь.

Разжег Цыган, за ним Джапаридзе. Потом кто-то сообщил, что

видел Бобра с девчонкой. А дальше любовная горячка охватила всех.

Едва наступал вечер, как тревога охватывала все четвертое отделение. Старшие скреблись, мылись и чистились, тщательно причесывали волосы и спешили на улицу. Лишение прогулок стало самым страшным наказанием. Наказанные целыми часами жалобно выклянчивали отпуск и, добившись его, уходили со счастливыми лицами. Не останавливались и перед побегами. Улица манила, обещая неиспытанные приключения.

Весь Старо-Петергофский, от Фонтанки до Обводного, был усеян фланирующими шкидцами и гудел веселым смехом. Они, как охотники, преследовали девчонок и после наперебой хвалились друг перед другом.

Даже по ночам, в спальне, не переставали шушукаться и, уснащая рассказ грубоватыми подробностями, поверяли друг другу сокровенные сердечные тайны.

Только двоих из всего класса не захватила общая лихорадка. Костя Финкельштейн и Янкель были, казалось, по-прежнему безмятежны. Костя Финкельштейн в это время увлекался поэтическими образами Генриха Гейне и, по обыкновению, проморгал новые настроения, а Янкель… Янкель грустил.

Янкель не проморгал любовных увлечений ребят, он все время следил за ними и с каждым днем становился мрачнее. Янкель разрешал сложную психологическую задачу.

Он вспомнил прошлое, и это прошлое теперь не давало ему покоя, вырастая в огромную трагедию.

Ему вспоминается детский распределитель, где он пробыл полгода и откуда так бесцеремонно был выслан вместе с парой брюк в Шкиду.

В распределителе собралось тогда много малышей, девчонок и мальчишек, и Янкель – в то время еще не Янкель, а Гришка – был среди них как Гулливер среди лилипутов. От скуки он лупил мальчишек и дергал за косы девчонок.

Однажды в распределитель привели новенькую. Была она ростом повыше прочей детдомовской мелюзги, черненькая, как жук, с черными маслеными глазами.

– Как звать? – спросил Гришка.

– Тоня.

– А фамилия?

– Маркони, – ответила девочка, – Тоня Маркони.

– А вы кто такая? – продолжал допрос Гришка, нахально оглядывая девчонку. Новенькая, почувствовав враждебность в Гришкином поведении, вспыхнула и так же грубо ответила:

– А тебе какое дело?

Дерзость девчонки задела Гришку.

– А коса у тебя крепкая? – спросил он угрожающе.

– Попробуй!

Гришка протянул руку, думая, что девчонка завизжит и бросится жаловаться. Но она не побежала, а молча сжала кулаки, приготовившись защищаться, и эта молчаливая отвага смутила Гришку.

– Руки марать не стоит, – буркнул он и отошел.

Больше он не трогал ее, и хотя особенной злости не испытывал, но заговаривать с ней не хотел.

Тоня первая заговорила с ним.

Как-то раз Гришку назначили пилить дрова. Он пришел в зал подыскать себе помощника и остановился в нерешительности, не зная, кого выбрать. Тоня, стоявшая в стороне, некоторое время глядела то на Гришку, то на пилу, которую он держал в руках, потом, подойдя к нему, негромко спросила:

– Пилить?

– Да, пилить, – угрюмо ответил Гришка.

– Я пойду с тобой, – краснея, сказала Тоня. – Я очень люблю пилить.

Гришка, сморщившись, с сомнением оглядел девочку.

– Ну, хряем, – сказал он недовольно.

Полдня они проработали молча. Тоня не отставала от него, и совсем было незаметно, что она устала. Тогда Гришка подобрел.

– Ты где научилась пилить? – спросил он.

– В колонии, на Помойке. – Тоня рассмеялась и, видя, что Гришка не понимает, пояснила: – На Мойке. Это мы ее так – помойкой – прозвали… Там только одни девочки были, и мы всегда сами пилили дрова.

– Подходяще работаешь, – похвалил Гришка.

К вечеру они разговорились. Окончив пилку, Гришка сел на бревно и стал свертывать папироску. А Тоня рассказывала о своих проделках на Мойке. И тут Гришка сделал открытие: оказывается,

девчонки могли рассказать много интересного и даже понимали мальчишек. Тогда, растаяв окончательно, Гришка распахнул свою душу. Он тоже с гордостью рассказал о нескольких своих подвигах. Тоня внимательно слушала и весело смеялась, когда Гришка говорил о чем-нибудь смешном. Гришка разошелся, совершенно забыв, что перед ним девчонка, и, увлекшись, даже раза два выругался.

– Ты совсем как мальчишка, – сказал он ей.

– Правда? – воскликнула Тоня, покраснев от удовольствия. – Я похожа на мальчишку?.. Я даже курить могу. Дай-ка.

И, выхватив из рук Гришки окурок, она храбро затянулась и выпустила дым.

– Здорово! – сказал восхищенный Гришка. – Фартовая девчонка!

– Ах, как я хотела бы быть мальчишкой. Я все время думаю об этом, – сказала печально Тоня. – Разве это жизнь? Вырастешь и замуж надо… Потом дети пойдут… Скучно…

Тоня тяжело вздохнула. Гришка, растерявшись, потер лоб.

– Это верно, – сказал он. – Не везет вам, девчонкам.

Через неделю они уже были закадычными друзьями.

Тоня много читала и пересказывала Гришке прочитанное. Гришка, признававший только детективную, «сыщицкую» литературу, был очень удивлен, узнав, что существует много других книг, не менее интересных. Правда, герои в них, судя по рассказам Тони, были вялые и все больше влюблялись и ревновали, но Гришка дополнял ее рассказы уголовными подробностями.

Рассказывает Тоня, как граф страдал от ревности, потому что

графиня изменяла ему с бедным поэтом, а Гришка покачает головой и вставит:

– Дурак!

– Почему?

– По шее надо было ее.

– Нельзя. Он любит.

– Ну, так тому бы вставил перо куда следует…

– А она бы ушла с ним. Граф ревновал же.

– Ах, ревновал, – говорит Гришка, смутно представляя себе это непонятное чувство. – Тогда другое дело…

– Ну вот, граф взял и уехал, а они стали жить вместе.

– Уехал? – Гришка хватается за голову. – И все оставил?

– Все.

– И мебели не взял?

– Он им оставил. Он великодушный был.

Гришка с досадой крякает.

– Балда твой граф. Я бы на его месте все забрал: и кровать бы увез, и стол, и комод, – пусть живут как знают…

Иногда они горячо спорили, и тогда дня мало было, чтобы вдоволь наговориться.

– Знаешь, – сказала однажды Тоня, – приходи к нам в спальню, когда все заснут. Никто не помешает, будем до утра разговаривать…

Гришка согласился.

Целый час выжидал он в кровати, пока угомонятся ребята и разойдутся воспитательницы, потом прокрался в спальню девчонок.

Тоня его ждала.

– Полезай скорей, – шепнула она, давая место.

И, закрывшись до подбородков одеялом, тесно прижавшись друг к другу, они шептались.

– Знаешь, кто мой отец? – спрашивала тихонько Тоня.

– Кто?

– Знаменитый изобретатель Маркони… Он итальянец…

– А ты русская. Как же это?

– Это мать у меня русская. Она балерина. В Мариинском театре танцевала, а когда отец убежал в Италию и бросил ее, она отравилась… от несчастной любви…

Гришка только глазами хлопал, слушая Тоню, и не мог разобраться, где вранье, где правда. В свою очередь, он выкладывал Тоне все, что было интересного в его скудных воспоминаниях, а однажды попытался для завлекательности соврать.

– Отец у меня тоже этот, как его…

– Граф?

– Ага.

– А как его фамилия?

– Дамаскин. Тоня фыркнула.

– Дамаскин… Замаскин… Таких фамилий у графов не бывает, – решительно сказала она.

Гришка очень смутился и попробовал выпутаться.

– Он был… вроде графа… Служил у графа… кучером…

Тоня долго смеялась над Гришкой и прозвала его графским

кучером.

Гришка привык к Тоне, и ему было даже скучно без нее.

И неизвестно, во что бы перешла эта дружба, если бы не беда, свалившаяся на Гришку. Но, как известно, Гришка здорово набузил, и вот в канцелярии распределителя ему уже готовили сопроводительные бумаги в Шкид.

Последнюю ночь друзья не спали. Гришка, скорчившись, сидел на кровати около подруги.

– Я люблю тебя, – шептала Тоня. – Давай поцелуемся на прощанье.

Она крепко поцеловала Гришку, потом, оттолкнув его, заплакала.

– Брось, – бормотал растроганный Гришка. – Черт с ним, чего там…

Чтобы утешить подругу, он тоже поцеловал ее. Тоня быстро схватила его руку.

– Я к тебе приду, – сказала она. – Поклянись, что и ты будешь приходить.

– Клянусь, – пробормотал уничтоженный и растерянный Гришка.

Утром он уже был в Шкиде, вечером пошел с новыми друзьями сшибать окурки, а через неделю огрубел, закалился и забыл клятву.

Но однажды дежуривший по кухне Горбушка, необычайно взволнованный, ворвался в класс.

– Ребята! – заорал он, давясь от смеха. – Ребятки! Янкеля девчонка спрашивает. Невеста.

Класс ахнул.

– Врешь! – крикнул Цыган.

– Врешь, – пролепетал сидевший в углу Янкель, невольно задрожав от нехорошего предчувствия.

– Вру? – завопил Горбушка. – Я вру? Ах мать честная! Хряй скорее!..

Янкель поднялся и, едва передвигая онемевшие ноги, двинулся к дверям. А за ним с ревом и гиканьем сорвался весь класс.

– Амуры крутит! – ревел Цыган, гогоча. – Печки-лавочки! А ну поглядим-ка, что за невеста!

Орущее, свистящее, ревущее кольцо, в котором, как в хороводе, двигался онемевший от ужаса Янкель ввалилось в прихожую. Тут Янкель и увидел Тоню Маркони.

Она стояла, прижавшись к дверям, и испуганно озиралась по сторонам, окруженная пляшущими, поющими, кривляющимися шкидцами. Горбушка дергал ее за рукав и кричал:

– Вон он, вон он, твой Гриха!

Тоня бросилась к Янкелю как к защитнику. Янкель, взяв ее руку, беспомощно огляделся, ища выхода из адского хоровода.

– Янкель с невестой! Янкель с невестой! – кричали ребята, танцуя вокруг несчастной парочки.

– Через почему такое вас двое? – пел петухом Воробей в самое ухо Янкелю.

– Дю-у-у! – вдруг грохнул весь хоровод. Тоня, взвизгнув, зажала уши. У Янкеля потемнело в глазах. Нагнув голову, он, как бык, ринулся вперед, таща за собой Тоню.

– Дю-у-у! – стонало, ревело и плясало вокруг многоликое чудовище. Янкель пробился к дверям, вытолкнул Тоню на лестницу и

выскочил сам. Кто-то напоследок треснул его по шее, кто-то сунул ногой в зад, и он как стрела понесся вниз.

Тоня стояла внизу на площадке. Губы ее вздрагивали. Она стыдилась взглянуть на Янкеля.

Янкель, почесывая затылок, бессвязно бормотал о том, что ребята пошутили, что это у них такой обычай, а самому было и стыдно и досадно за себя, за Тоню, за ребят.

Разговор так и не наладился. Тоня скоро ушла.

Две недели вся школа преследовала Янкеля. Его вышучивали, над ним смеялись, издевались и – больше всего – негодовали. Шкидец – и дружит с девчонкой. И смех и позор. Позор на всю школу.

Янкель, осыпаемый градом насмешек, уже жалел, что позволил себе дружить с девчонкой.

«Дурак, баба, нюня!» – ругал он себя, с ужасом вспоминая прошлое, но в глубине осталась какая-то жалость к Тоне.

Многое передумал Янкель за это время и наконец принял твердое решение, как и подобало настоящему шкидцу.

Через две недели Тоня снова пришла в Шкиду. Она осталась на дворе и попросила вызвать Гришу Черных.

Янкель не вышел к ней, но выслал Мамочку.

– Вам Гришу? – спросил, усмехаясь, Мамочка. – Ну, так Гриша велел вам убираться к матери на легком катере. Шлет вам привет Нарвский совет, Путиловский завод и сторож у ворот, Богомоловская улица, петух да курица, поп Ермошка и я немножко!

Мамочка декламировал до тех пор, пока сгорбившаяся спина

девочки не скрылась за воротами.

Вернувшись в класс, он доложил:

– Готово… На легком катере.

– Молодец Янкель! – восхищались ребята. – Как отбрил.

Янкель улыбался, хотя радости от подвига не чувствовал. Честь Шкиды была восстановлена, но на душе у Янкеля остался какой-то мутный и грязный осадок.

А вот теперь, через два года, Янкель снова вспомнил Тоню.

На его глазах ломались традиции доброго старого времени. То, что тогда было позором, теперь считалось подвигом. Теперь все бредили, все рассказывали о своих подругах, и тот, у кого ее не было, был самый несчастный и презираемый всеми.

«За что же я ее тогда?» – с горечью думал Янкель, и едкая обида на ребят разъедала сердце. Ведь это из-за них он прогнал Тоню, а теперь они сами делали то же, и никто не смеялся над ними.

Янкель ходил мрачный и неразговорчивый. Думы о Тоне не выходили из головы, и с каждым днем сильнее росло желание увидеть ее, пойти к ней.

Однажды Янкель открыл свою тайну Косте Финкельштейну.

Костя выслушал его и, щуря темные подслеповатые глаза, важно сказал:

– По-моему, тебе надо сходить к ней.

– Ты думаешь? – обрадовался Янкель.

– Я думаю, – сказал Костя.

* * *

Наступал вечер. Шкидцы торопливо чистились, наряжались, нацепляли на грудь жетоны и один за другим убегали на улицу, каждый к своему заветному уголку.

Только Костя не торопился. Он доставал из парты томик любимого Гейне, засовывал в карман оставшийся от обеда кусок хлеба и уходил.

Косте еще не довелось мучиться, ожидая любимую где-нибудь в условном месте, около аптеки или у ларька табтреста. Костино сердце дремало и безмятежно отстукивало секунды его жизни.

Костя любил только Гейне и сквер у Калинкина моста.

Скверик был маленький, грязноватый, куцый, обнесенный жидкой железной решеткой, но Косте он почему-то нравился.

Каждый день Костя забирался сюда. Здесь, в стороне от шумной улицы, усевшись поудобнее на скамье, он доставал хлебную горбушку, раскрывал томик стихов и углублялся в чтение.

Стоило только Костиным глазам скользнуть по первым строчкам, как все окружающее мгновенно исчезало куда-то и вставал новый, невиданный мир, играющий яркими цветами и красками.

Костя поднимал голову и, глядя на темнеющую за решеткой Фонтанку, вдохновенно декламировал:

Воздух свеж, кругом темнеет,
И спокойно Рейн бежит,
И вечерний отблеск солнца
Гор вершины золотит…

Костя поднимал голову и в экстазе глядел, любовался серенькой Фонтанкой, которая в его глазах была уже не Фонтанка, а тихий широкий Рейн, лениво играющий изумрудными волнами, за которыми чудились очертания гор и…

На скале высокой села
Дева – чудная краса,
В золотой одежде, чешет
Золотые волоса…

Костя жадно глядел вдаль, стараясь разглядеть в тумане эту скалу, и искал глазами Лорелею, златокудрую и прекрасную. Искал долго и упорно, затаив дыхание.

Но Лорелеи не было. На набережной слышался грохот телег, ругались извозчики.

Тогда Костя уныло опускал голову, чувствуя, как тоска заползает в сердце, и снова читал. И опять загорался, ерзал, начинал громко выкрикивать фразы, перевертывая страницы дрожащими от возбуждения пальцами, и снова впивался глазами в серую туманную даль.

И вдруг однажды увидел Лорелею.

Она шла от Калинкина моста прямо к скверику, где сидел Костя. Легкий ветерок трепал ее пышные золотистые волосы, и они вспыхивали яркими искорками в свете заходящего солнца.

Правда, на Лорелее была обыкновенная короткая юбка и беленькая блузка, но Костя ничего не видел, кроме золотой короны на голове. Костя по причине плохого зрения не мог даже разглядеть ее

лица.

Он сидел неподвижный, с засунутым в рот куском хлеба, и с замиранием сердца следил за светловолосой незнакомкой. Она медленно прошла до конца сквера, так же медленно вернулась и села против Кости, положив ногу на ногу.

Придушенный вздох вырвался из Костиной груди. Он бессильно отвалился на спинку скамьи, не переставая таращить глаза на златокудрую девушку.

Да, вихрем проносилось в Костином мозгу, Лорелея! Именно такой он и представлял ее… Эти чудные волосы, эта пышная корона, окружающая прекрасное, царственное лицо…

Что лицо прекрасно, Костя не сомневался, хотя, сощурившись, видел перед собой только мутный блин.

Забыв о книге, Костя сидел, не спуская глаз с незнакомки, и слушал, как сердце колотилось в груди. Несколько раз он с усилием отводил взгляд, пытаясь сосредоточиться на стихах, но напрасно. Через минуту он снова глядел на нее, а мысли неслись бурным потоком, перескакивая одна через другую.

– Что делать? – бормотал возбужденный Костя. – Как поступить?

Он не может так уйти. Он должен подойти к ней и сказать…

«Что сказать?» – в двадцатый раз с досадой спрашивал он себя.

Прошло полчаса, а Костя все сидел, метал огненные взгляды в сторону незнакомки и обдумывал, как лучше заговорить с ней.

– Лорелея, – шептал он умиленно, – я иду к тебе, Лорелея…

Но Лорелея вдруг встала, отряхнула платье и, неторопливо

шагая, вышла из сквера.

Сразу померкла радость. Стало скучно и холодно. В сквер ввалилась компания пьяных, распевавших во все горло:

На банане я сижу,

Чум-чара-чура-ра…

Костя захлопнул книжку, поднялся и уныло заковылял к выходу…

На следующий день Костя был угрюм и рассеян. На уроках сидел задумчивый, вперив глаза вдаль. Слушал невнимательно, что-то бормоча себе под нос, а на русском языке, когда дядя Дима спросил, какое произведение является наилучшим в творчестве Сейфуллиной, Костя рассеянно сказал:

– Лорелея.

– Лорелея? – переспросил дядя Дима.

Все захохотали. Костя сконфузился.

– Я сказал «Виринея», – поправился он.

– Это он Гейне зачитался! – закричали ребята.

Но едва кончились уроки, Костя ожил. Схватив книжку, он первый выскочил из класса. Ребята еще только начинали чиститься, а Костя уже шагал по Старо-Петергофскому проспекту.

Вот и мост. Костя добежал до сквера, беспокойно оглядывая скамьи, и вдруг радостно задрожал.

«Здесь, – чуть не закричал он, увидев огненную шапку. – Она пришла, Лорелея пришла!»

Он ринулся к скверу. Бухнувшись на свою скамью, в безмолвном восторге уставился он на Лорелею. Умилялся, восторгался, готов был

кричать от радости.

Пришла! Она заметила его. Какое чудесное, безмолвное свидание!

Но напрасно убеждал он себя подойти к незнакомке. Проклятая робость сковала все члены.

Опять битых полчаса просидел Костя. Уже стемнело, а он все сидел как приклеенный, чуть не плача с досады.

И опять так же внезапно Лорелея встала и пошла к выходу.

Еще не зная, что будет делать, он вскочил. Вдруг что-то белое выпало из рук незнакомки.

Платок!

Сердце Кости екнуло. Перед глазами вихрем пронеслись прекрасные сцены: пажи, рыцари, дамы, оброненный платок…

Костя кинулся к белевшему на дороге комочку, быстро схватил и развернул его.

Это была обертка от карамели. На бумажке танцевала рыжая женщина, и внизу было написано: «Баядерка».

Поздно ночью, ворочаясь в кровати, Костя меланхолично шептал:

Что бы значило такое,

Что душа моя грустна?

Потом достал из кармана брюк бумажку, тщательно разгладил ее и долго рассматривал рыжую баядерку. Ему казалось, что это не конфетная обертка, а портрет самой незнакомки.

Осторожно, чтобы не смять, он положил бумажку под подушку и, счастливо улыбаясь, заснул.

На другой день Костя снова был в сквере. И еще раз был. И еще… Незнакомка всегда словно ожидала его. А он, протосковав на скамье целый вечер, уходил домой, так и не решаясь заговорить с ней.

Уроками он совсем перестал интересоваться, писал стихи или мечтал. Даже к Гейне охладел.

Шкидцы ссорились, расходились, заводили новые любовные интрижки, а странный Костин роман, казалось, еще только начинал разворачиваться.

* * *

Костя вошел в сквер. Костя сел на свое место против Лорелеи и, раскрыв для приличия книгу, стал довольно смело поглядывать на незнакомку.

Он уже привык к ней. Сегодня он твердо решил заговорить с ней и тогда… Но к чему заглядывать в будущее?

Костя захлопнул книжку и решительно поднялся. Он уже шагнул к Лорелее, мысленно подготовляя фразу, которая сразу бы открыла ей его намерения. Он не хулиган и не намерен нанести ей какое-либо оскорбление.

Но тут Костя остановился.

Широкоплечий парень в полосатой майке, покачиваясь, подошел к незнакомке…

– Ну, цаца! – расслышал Костя грубый окрик, за которым последовало продолжительное и замысловатое ругательство.

Костя похолодел. Он слышал, как тихо вскрикнула Лорелея. Он

уже ясно слышал грубую перебранку, глухой голос парня и выкрики незнакомки, причем голос незнакомки оказался не таким серебристым, каким он представлялся Косте.

Костя еще не знал, как поступить, и стоял в нерешительности, как вдруг парень, выругавшись, замахнулся на незнакомку.

– А-а-а! Убивают! – закричала девушка.

– Стой! – заорал Костя, прыгнув к парню и хватая его за руку. – Ни с места!

Парень отступил на шаг, стараясь вырваться, но Костя продолжал его держать и, повышая голос, кричал:

– Как ты смеешь! Негодяй!

Собралась толпа любопытных. Парень испуганно оглядывался по сторонам. Костя, торжествующий, обернулся к Лорелее.

– Не бойтесь! – сказал он, но тут же голос его осекся. Костя в безмолвном ужасе попятился. Он впервые увидел близко Лорелею, о которой так пламенно мечтал долгими бессонными ночами. Но что это за Лорелея! На него глянуло тупое раскрасневшееся лицо, изрытое оспой и окруженное рыжими растрепанными волосами. В довершение всего от этой особы исходил густой запах спирта.

Костя стоял окоченев, не в силах выдавать ни слова, а вокруг беспокойно спрашивали:

– Что? Что случилось?

– Да вот, – говорил, оправившись, парень, – я с бабой стою тихонько, разговариваю, а он драться лезет…

– Неправда, граждане, – наконец выговорил Костя.

– Как неправда? – вдруг взвизгнула Лорелея и, прижавшись к парню, закричала, указывая на Костю: – Он, хулюган черномазый. Мы разговаривали, а он…

– За это морды бьют, – сказал кто-то.

– Я заступиться хотел! – выкрикнул Костя.

– Я вот покажу тебе, как заступаться! – гаркнул парень, осмелев и наступая на Костю. – Я тебе дам, понт паршивый!

– И правильно будет, – поддакнул опять кто-то. – Учить таких…

Костя беспомощно огляделся и, видя угрожающие лица, направился к выходу.

– Вали, вали! – кричали вслед. – Поторапливайся!

Костя не торопясь, понурившись брел к дому…

* * *

Несколько дней Янкель думал о Тоне, и, чем дальше, тем больше он убеждался: Костя прав.

«Надо сходить», – решил он наконец. К тому же и тоска одолела. До смерти захотелось увидеть черноглазую девочку.

И Янкель пошел.

Распределитель помещался недалеко от Шкиды, на Курляндской улице. Трехэтажное здание окружал небольшой садик.

Перед калиткой Янкель остановился, чувствуя, как замирает сердце. Во дворе несколько девочек в серых казенных платьях играли в лапту.

«А может, ее нет здесь? Перевели куда-нибудь?» – подумал

Янкель не то тревожно, не то радостно и, толкнув калитку, вошел в сад.

– Ай, мальчишка! – вскричала одна из девочек. Они бросили игру и остановились, издалека разглядывая его.

– Ты зачем здесь? – крикнула другая, курносая, воинственно размахивая лаптой.

Янкель перевел дух и сказал:

– Мне надо Тоню, Тоню Маркони.

– Тосю? – разом выкрикнули девчонки и побежали к лестнице, крича: – Тося, Тося, выходи! К тебе пижончик.

Янкель стоял ни жив ни мертв. В эту минуту он уже раскаивался, что пришел, и понял, что затеял безнадежное дело. Оробев, он взглянул было на калитку, но знакомый голос пригвоздил его к месту.

– Что вы орете? Как не стыдно! – услышал он и сразу узнал голос Тони. Девочки примолкли и расступились. Янкель увидел ее, выросшую и изменившуюся. Тоня подходила к нему.

Вот она остановилась, оглядела Янкеля с головы до ног, удивленно подняла брови. Она не узнала Гришки.

– Вам что? – строго спросила она.

Янкель растерялся окончательно. Все обращения, которые он придумывал по дороге, словно от толчка выскочили из головы.

– Здравствуй, Тоня, – пролепетал он. – Не узнаешь?

Девочка минуту пристально смотрела на Янкеля, и вдруг яркий румянец залил ее лицо.

«Узнала», – радостно подумал Янкель.

– Тоня! – заговорил он вдохновенно. – Тоня, а ведь я не забыл

своей клятвы… Ты видишь…

Тоня молчала, только лицо ее странно подергивалось, будто она готова была расплакаться. Янкель запнулся на минуту и сбился…

– А ты… ты помнишь клятву? – смутившись, спросил он.

Тоня минуту помолчала, словно раздумывая, потом, качнув головой, тихо сказала:

– Нет, я ничего не помню…

– Ну да, – недоверчиво протянул Янкель. – А как по ночам болтали, не помнишь?

– Нет…

– А про папу своего американца-изобретателя тоже не…

Внезапно Янкель замолчал и с испугом поглядел на Тоню. Девочка стояла бледная, кусая губы, и с ненавистью смотрела на него. Казалось, сейчас она закричит, затопает, обругает его.

– Тося! – позвал чей-то тонкий голос. – Открой библиотеку…

– Сейчас! – крикнула Тоня, и, когда снова повернулась к Янкелю, лицо ее было уже спокойно.

– Слушайте, – сказала она тихо. – Убирайтесь вон отсюда.

– Убираться? – спросил Янкель. – Отсюда?

Улыбка еще блуждала на его физиономии, когда он ошалело повторял:

– Значит, совсем?.. Убираться?

– Да, совершенно.

– Окончательно?

Янкель очутился за калиткой.

– А клятва? – дрогнувшим голосом спросил он, подняв глаза на Тоню. И на секунду что-то хорошее мелькнуло на ее лице, но тотчас же исчезло.

– Поздно вспомнил, – сказала она тихо. – Все кончено.

– Совсем?

– Навсегда.

Янкель уныло вздохнул.

– Ламца-дрица! – сказал он с грустью, потом плюнул на носок сапога и тихо заковылял прочь.

* * *

Янкель медленно шел, раздумывая о случившемся. У школы его окликнула знакомая торговка конфетами.

– Гришенька, – кричала девчонка. – Хочешь конфетов?

– Давай, – сказал Янкель и, не глядя, протянул руку.

Эта девчонка уже давно заигрывала с ним, но Янкель не обращал на нее внимания.

Девчонка выбирала конфеты, а сама поглядывала на Янкеля и тараторила не переставая.

Янкель не слушал ее. Внезапно новая мысль осенила его.

– Хорошо! – сказал он. – Пусть отвергает, мы не заплачем.

Он быстро взглянул на девчонку и спросил:

– Хочешь, гулять с тобой буду?

Девчонка зарделась.

– Да ведь если нравлюсь…

– Неважно, – сказал Янкель. – Завтра в семь. – И пошел в школу.

– Кобчик вешается! – крикнул Мамочка, едва Янкель показался в дверях.

– Где???

– В уборной. Закрылся, кричит, никого не подпускает…

Янкель побежал наверх. Оттуда доносился отчаянный шум. Когда они вбежали в класс, там происходила свалка. Ребята вытащили Костю из уборной. Он брыкался и кричал, чтобы его отпустили. Потом вырвался и полез в окно. Его держали, а он, отбиваясь, исступленно вопил:

– Пустите, не могу!

– Костя, ангелок, успокойся.

– Не успокоюсь!..

Долго болтались Костины ноги над Старо-Петергофским проспектом, но все же ребята одолели его и втащили обратно.

Костя притих, лишь изредка хватался за голову и скрипел зубами.

Поздно вечером Янкель и Костя сидели в зале.

– Плюнь на все, – утешал Янкель, – девчонок много. Я вон себе такую цыпочку подцепил, конфетками угощает.

Янкель вынул горсть конфет. Костя протянул было руку, но тотчас отдернул. На карамели плясала рыжая баядерка.

– Не ем сладкого, – сказал он, морщась. Потом, поглядев на Янкеля, спросил:

– А ты был у своей?

– Я? – удивился Янкель, – У кого это? Уж не у той ли, о которой

рассказывал?

– Ну да, у той…

– Вот чудак! – захохотал Янкель. – Вот чудак! Очень мне надо шляться ко всякой. Не такой я дурак.

А немного помолчав, грустно добавил:

– Ну их… Женщины, ты знаешь, вообще какие-то… непостоянные…

* * *

Весна делала свое дело. В стенах Шкиды буйствовала беспокойная гостья – любовь.

Кто знает, сколько чернил было пролито на листки почтовой бумаги, сколько было высказано горячих и ласковых слов и сколько нежнейших имен сорвалось с грубых, не привыкших к нежности губ.

Даже Купа, который был слишком ленив, чтобы искать знакомств, и слишком тяжел на подъем, чтобы целые вечера щебетать о всякой любовной ерунде, даже он почувствовал волнение и стал как-то особенно умильно поглядывать на кухарку Марту и чаще забегать на кухню, мешая там всем.

– Черт! – смеясь, ругалась Марта, но не сердилась на Купу, а даже наоборот, на зависть другим стала его прикармливать. Купа раздобрел, разбух и засиял, как мыльный шар.

Янкель же, словно мстя старой подруге, с жаром и не без успеха стал ухлестывать за торговкой конфетами и даже увлекся ею.

Теперь все могли хвастать своими девицами по праву, и все хвастали. А однажды сделали смотр своим «дамам сердца».

По понедельникам в районном кино «Олимпия» устраивались детские сеансы, в этом же кино в майские дни начальство решило устроить большой районный детский праздник.

Так как при кино был сад, решили празднество перенести на воздух.

К этому дню готовились долго и наконец известили школы о дне празднования. Празднество обещало быть грандиозным. Шкида не на шутку взволновалась. Влюбленные парочки, разумеется, сговорились о встрече в саду и теперь готовились вовсю.

Наконец наступил этот долгожданный день.

После уроков ребят одели в праздничную форму, заставили получше вымыться и наконец, построив в пары, повели в сад.

Шкида явилась туда в самый разгар сбора гостей и едва-едва удерживалась в строю, но приказ Викниксора гласил: «Не распускать ребят раньше времени», и халдеи выжидали.

Праздник начался обычным киносеансом в театре. Показывали кинодраму, потом комическую и видовую, а после сеанса ребята заметили исчезновение из театра пятерых «любовников». Однако очень скоро их нашли в саду.

Все они были с подругами и прогуливались, гордо поглядывая на товарищей. Это было похоже на конкурс: чья подруга лучше? В этом соревновании первенство завоевал Джапаридзе. Черномазый грузин закрутил себе такую девицу, что шкидцы ахали от восхищения:

– Вот это я понимаю!

– Это да!

– Вот так синьорита Маргарита!..

Невысокая, с челкой, блондинка, по-видимому, была очень довольна своим кавалером, жгучим брюнетом, и совершенно не замечала его хитростей. А Дзе нарочно водил ее мимо товарищей и без устали рассказывал смешные анекдоты, отчего ротик девочки все время улыбался, а голубые глаза сверкали весело и мило.

Она оказалась лучшей из всех шкидских подруг, и Янкель, очарованный ее красотой, невольно обозлился на свою пару, курносую, толстую девицу, беспрерывно щелкавшую подсолнухи, которые она доставала из платка, зажатого в руке.

«Ну что за девчонка?» – злился Черных, чувствуя на себе насмешливые взгляды ребят. Наконец, не выдержав, он силой увлек ее за деревья и остановился, облегченно вздыхая.

– Давай, Маруся, посидим, отдохнем, – предложил он.

– Ой, нет, Гришенька, – кокетливо запищала толстуха, – от чего отдыхать-то? Я не устала, я не хочу. Скоро ведь танцы будут. Пойдем, Гришенька…

И она опять повисла на руке своего кавалера. Гришенька скрипнул зубами и, с толстухой на буксире, покорно потащился туда, где ярко сияли электрические фонари и где в большой деревянной «раковине» военные музыканты уже настраивали свои трубы и кларнеты.

Скоро в саду начались танцы. Мягко расползались звуки вальса по площадке, и пары закружились в несложном па. Стиснув зубы, закружился и Янкель со своей немилой возлюбленной.

* * *

Пример заразителен. Праздник помог почти всем шкидцам отыскать себе «дам», результатом чего явилось около двадцати новых влюбленных»

Влюбленных было легко распознать. Они были смирны, не бузили, все попадали в первый или второй разряд и все стали необычайно чистоплотны.

Обычно так трудно было заставить ребят умываться, – теперь они мылись тщательно и долго. Кроме того, Шкида заблестела проборами. Причесывались ежеминутно и старательно.

Такая же опрятность появилась и в одежде. Республика Шкид влюбилась.

Не обошлось и без трагических случаев. Бобра однажды из-за подруги побили, так как у этой подруги уже был поклонник, ревнивый и очень сильный парень, который не замедлил напомнить о себе и свел знакомство с Бобром на Обводном канале.

После этого Бобер целую неделю не выходил на улицу, одержимый манией преследования.

Цыган также много вытерпел, так как его девочка любила ходить в кино, а денег у него не было, и приходилось много и долго ее разубеждать и уверять, что кино – это гадость и пошлость.

За любовь пострадал и Дзе. Ради своей возлюбленной он снес на рынок единственное свое сокровище – готовальню, а на вырученные деньги три дня подряд развлекал свою синеглазую румяную подругу из нормального детдома.

Весна бежала день за днем быстро и незаметно, и Викниксор, поглядывая на прихорашивающихся ребят, озабоченно поговаривал:

– Растут ребята-то. Уже почти женихи. Скоро надо выпускать, а то еще бороду отрастят на казенных хлебах.

* * *

В любовных грезах шкидцы забыли об опасностях и превратностях судьбы, но однажды смятение и ужас вселились в их размягченные сердца.

Викниксор пришел и сказал:

– Пора стричь волосы. Лето наступает, да и космы вы отрастили – смотреть страшно. Грязь разводите!

Слова простые, а паники от них – как от пожара или от наводнения.

Волосы стричь!

– Да как же я покажусь моей Марусе, куцый такой?

Увлекшись сердечными делами, ребята забыли о стрижке, хотя и знали, что это было в порядке вещей, как и во всех других детских домах.

И вот однажды за ужином было объявлено: завтра придет парикмахер.

Однако старшие решили отстоять свои волосы. Созвали негласное собрание и послали делегацию, чтобы просить разрешения четвертому и третьему отделениям носить волосы. Викниксор смягчился, и разрешение было дано, но лишь одному четвертому

отделению, и при условии, чтобы ребята всегда держали волосы в порядке и причесывались. На другой день им выдали гребни, которые при детальном обследовании оказались деревянными и немилосердно драли на голове кожу. Однако и деревянные гребни были встречены с радостью.

– Наконец-то мы – взрослые.

– Даешь прическу!

Но скоро злосчастные волосы принесли новое горе. Часто на уроке за трудной задачей шкидец по привычке лез пятерней в затылок, и в результате голова превращалась в репейник, а халдей немедленно ставил на вид небрежный уход за прической. Старшие оказались между двух огней. Лишиться волос – лишиться подруги, оставить волосы – нажить кучу замечаний.

Но недаром гласит русская пословица, что, мол, голь на выдумки хитра. Дзе дал республике изобретение, которое обеспечило идеальный нерассыпающийся пробор. Изобретение это демонстрировалось однажды утром, в умывальне.

– Способ необычайно прост и легок, – распространялся Джапаридзе, стоя перед толпой внимательно слушавших его ребят. Потом он подошел к умывальнику и с видом фокусника начал объяснять изобретение наглядно, производя опыт над собственной головой.

– Итак. Я смачиваю свои взбитые волосы обыкновенной сырой водой без каких-либо примесей.

Он зачерпнул воды из-под крана и облил голову.

– Затем гребнем я расчесываю волосы, – продолжал он, проделывая сказанное. – А теперь наступает главное. Пробор готов, но прическу надо закрепить. Для этого мы берем обыкновенное сухое мыло и проводим им по пробору в направлении зачеса, чтобы не сбить прически. Через пять минут мыло засохнет, и ваш пробор никогда не рассыплется.

Изобретение каждый испытал на себе, и все остались довольны. Правда, было некоторое неудобство. От мыла волосы слипались, на них образовывалась крепкая кора, и горе тому, кто пробовал почесать зудевший затылок. Рука его не могла проникнуть к нужному месту. Кора мешала. Преимущество же было в том, что раз зачесанная прическа держалась весь день, а кроме того, придавала волосам особый, блестящий вид.

Шкида засверкала новыми проборами, и вновь все тревоги были забыты. А под окнами на теплых и пыльных тротуарах снова нежно заворковали парочки голубков.

Но изобретению Дзе не дали хода. Кто-то рассказал об этом Викниксору, а тот из предосторожности решил посоветоваться с врачом. Врач и погубил все.

– От таких причесок беда. Насекомые разводятся. Вы запретите им это проделывать, а то вся школа обовшивеет.

Этого было вполне достаточно, чтобы на другой день привилегированных старших парикмахер без разбора подстриг под «нулевой». Вместе с волосами исчезла и любовь. Никто не пошел вечером на свидание с девицами, и те, прождав напрасно, ушли.

Республика Шкид проводила весну, солнце уже пригревало по-летнему, и у ребят появились другие интересы.

Так как на лето школа осталась на этот раз в городе, надо было искать курорт, и его после недолгих поисков нашли в Екатерингофском парке на берегах небольшого пруда, около старого Екатерининского дворца. Сюда устремились теперь все помыслы шкидцев: к воде, к зелени, к футболу, и здесь за беспрерывной беготней постепенно забывались теплые белые весенние ночи, нежные слова и первые мальчишеские поцелуи.

На смену любви пришел футбольный мяч, и только Джапаридзе нет-нет да и вспоминал с грустью о голубоглазой блондинке из соседнего детдома, и даже, пожалуй, не столько о ней, сколько о загубленной своей готовальне, новенькой готовальне с бархатным нутром и ровненько уложенными блестящими циркулями. Только Дзе грустно вспоминал весну…

Крокодил

Он вошел в канцелярию, снял поблекшую фетровую шляпу, поправил завязанный на шее бантом шарф и отрекомендовался:

– Сергей Петрович Айвазовский, племянник своего дяди – Айвазовского – того самого, что «Девятый вал» написал и вообще…

Пришел просить места. Долгая безработица истрепала нервы, измучила голодом, холодом и тоской безделья… Айвазовский решил обратиться в дефективный детдом.

Викниксор просмотрел рекомендацию губоно и, просматривая,

мельком оглядел Айвазовского.

Был он довольно высокого роста, широк в плечах, а гордое, с поднятым носом, лицо заставляло предполагать твердый и сильный характер.

– Хорошо, – сказал Викниксор. – Я приму вас штатным воспитателем; но, кроме того, нам нужен преподаватель рисования… Вы могли бы?..

– Я племянник Айвазовского, – с гордостью ответил тот. – А кроме того, я окончил Академию художеств. Я…

– Прекрасно, – оборвал завшколой. – Вы зачислены в штат. Завтра вы дежурите с двух часов дня. Надеюсь, вы сумеете подойти к воспитанникам.

– О! – воскликнул Айвазовский. – Это я сумею сделать… У меня есть опыт… Я…

Похоже было, что он хотел добавить – «племянник Айвазовского», но не сказал этого, не успел: в коридоре затрещал звонок, возвещая о конце урока, и канцелярия заполнилась педагогами и воспитателями.

Айвазовский помял шляпу, посмотрел на разговорившегося с другими Викниксора, хотел было протянуть руку, потом раздумал и, сказав: «До завтра», вышел из канцелярии, поблескивая золоченым пенсне на задранном вверх носу.

На другой день после уроков в класс четвертого отделения вошел Викниксор в сопровождении Айвазовского.

Воспитанники встали.

– Ребята, – проговорил Викниксор, – вот ваш новый воспитатель… Художник. Очень хороший человек… Надеюсь, что сойдетесь с ним…

Когда Викниксор вышел из класса, ребята обступили нового воспитателя.

Тот, в свою очередь, сжав под мышкой портфель, рассматривал через пенсне своих новых питомцев. В классе он почему-то сразу возбудил смешливое настроение.

– Как имя твое, о пришелец, новый воин из стана халдеев? – притворно торжественным тоном вопросил Японец.

– Меня зовут Сергей Петрович, – ответил воспитатель. – А фамилия моя Айвазовский.

– Айвазовский! – раздались возгласы. – Не художник ли?

– Да, художник, – вскинув голову, ответил халдей. – Я племянник своего дяди Айвазовского, который написал «Девятый вал» и другие картины.

– Здорово! – воскликнул Янкель.

Ребята еще плотнее обступили нового воспитателя.

Тот уселся за пустую парту и положил перед собой портфель.

– А вы что делаете? – спросил он. – Чем занимаетесь в свободное время?

– Халдеев бьем, – пробасил Купец.

– Что? – переспросил Айвазовский.

– Халдеев бьем, – повторил Офенбах. – Бузим, в очко дуемся…

– Да-а, – протянул Айвазовский, не понявший сказанного Купцом. – А я, – сказал он, – иначе с вами занятия поведу. У меня своя система

воспитания.

– Какая же у вас система? – спросил кто-то.

– Может, расскажете? – попросил Янкель.

– У меня система следующая: я сам провожу с воспитанниками часы их досуга, читаю им вслух, играю…

В толпе ребят кто-то хихикнул.

– Интересно, – сказал Янкель. – Что ж, вы сегодня и приступите к воспитательной работе?

– Да, я думаю.

«Племянник своего дяди» порылся в портфеле и вытащил какую-то книжку.

– Я прочту вам сейчас интересную вещь, – сказал он. – Я хорошо читаю; кончил, между прочим, декламационные курсы…

– Валите, читайте, – перебил Ленька Пантелеев.

Айвазовский положил книгу на стол.

– Это что? – спросил Япошка и, взглянув на заглавие, громко расхохотался.

– «Крокодил» Корнея Чуковского, – прочел он. – Ловко!

Класс задрожал от смеха.

Воспитатель недоумевающе оглядел смеющихся и спросил:

– Вы чего смеетесь? Это очень интересная книга.

– Ладно, читайте! – снова закричал Пантелеев.

Айвазовский встал, поставил ногу на скамейку парты и, закинув голову, начал:

Жил да был крокодил,

Он по Невскому ходил,

Папиросы курил,

По-турецки говорил…

Кр-ро-кодил,

Крррро-кодил

Крррокодилович…

Читал он эти детские юмористические стихи с таким пафосом, так ревел, произнося слово «крокодил», что слушать без смеха было нельзя. Ребята заливались.

Айвазовский обиженно захлопнул книгу.

– Что смешного? – сказал он задрожавшим от обиды голосом. – Вы глупые мальчишки и не понимаете поэзии.

– Вали, читай! – кричали ребята. – Читайте, Сергей Петрович!

Похмурившись немного, воспитатель перевернул страницу и продолжал чтение. Каждый раз, как он декламировал: «Кр-ро-кодил, крррро-кодил, Крррокодилович», стекла в классе дрожали от неудержимого, буйного, истерического смеха.

Когда он кончил, Японец вскочил на парту и произнес:

– Внимание! Традиции и обычаи Улиганской республики в частности и всей Шкиды в целом требуют, чтобы каждому новому шкидцу или халдею давалась кличка. Настоящий новоиспеченный халдей не является исключением и ждет своего боевого крещения. Думаю, что имя Крокодил больше всего подойдет к нему.

– Браво! – закричали ребята и наградили Японшку аплодисментами.

Потом каждый счел долгом подойти к Айвазовскому, похлопать

его по плечу и сказать:

– Поздравляю, Крокодил Крокодилович.

Воспитатель сидел, растерянно разглядывая облепившие его лица. Он не знал, что делать, или же просто не сумел проявить свой прекрасный воспитательский опыт.

Так началась педагогическая карьера Крокодила Крокодиловича Айвазовского, племянника своего дяди, великого морского пейзажиста Айвазовского. С первых же дней он потерял у воспитанников авторитет…

– Барахло, – сказали шкидцы.

* * *

Первый урок рисования состоялся на другой день в четвертом отделении. Крокодил вошел в класс и, пройдя к учительскому столу, поставил на него карельской березы ящичек с карандашами и вылитый из гипса усеченный конус.

При его входе встало человек пять, остальные решили испытать отношение нового педагога к дисциплине и остались сидеть. Крокодил никому замечания не сделал, а, выложив из ящика груду разнокалиберных карандашных огрызков, сказал:

– Возьмите себе по карандашу.

Каждый подошел к столу и выбрал огрызок подлиннее и получше. На столе осталось еще штук двадцать пять карандашей.

Япошка, страдавший какой-то чувственной любовью к предметам канцелярского обихода – карандашам, перьям, бумаге, – подмигнул

Янкелю и, вздохнув, шепнул:

– Смачно. А?

– Д-да, – поддакнул Черных, жадно оглядев карандашную груду.

– Приготовьте бумагу, – скомандовал преподаватель.

– Новое дело, – возмутился Воробей. – Что мы, свою бумагу будем портить, что ли?

– Факт, – поддержал Пантелеев. – Тащите из халдейской – там этого добра имеется.

– Верно? – спросил Крокодил. – У вас такой порядок?

– А то как же иначе.

Крокодил пошел в канцелярию.

Не успела захлопнуться дверь, как Япошка, Янкель, а за ними и все остальные ринулись к столу.

Через секунду от карандашной груды на столе осталась жалкая кучка в пять–шесть самых плохих, рвущих бумагу карандашей.

Возвратившись с бумагой, Крокодил не заметил расхищения. Он роздал бумагу и, поставив на верх классной доски усеченный конус, предложил воспитанникам нарисовать его.

Имевшие склонность к изобразительным искусствам принялись рисовать, а остальные, вынув из парт книжки, углубились в чтение.

Книги читали самые разнохарактерные.

Янкель мысленно перенесся в Нью-Йорк и там на Бруклинском мосту вместе с «гениальным сыщиком Нат Пинкертоном» сбрасывал в воду Гудзонова пролива двенадцатого по счету преступника…

Японец переходил от аграрной революции к перманентной и, не

соглашаясь с Каутским, по привычке даже в уме пошмыгивал носом…

Пантелеев сочувственно вздыхал, ощущая острую жалость к коварно обманутой любовником бедной Лизе, а Джапаридзе дрался в горячей схватке на стороне отважных мушкетеров, целиком погрузившись в пухлый том романа Дюма…

Класс разъехался в разные части света: кто к индейцам в прерии, кто на Северный полюс. Звонка не услышал никто, и к настоящей жизни из мира грез призвал лишь возглас Крокодила:

– А где же карандаши?

Никто не ответил.

– Где же карандаши? – повторил педагог.

Опять никто не ответил. Воспитанники разбрелись по классу и не обращали внимания на воспитателя.

– Отдайте же карандаши! – уже с ноткой отчаяния в голосе прокричал Крокодил.

– Пошел ты, – пробасил Купец, – не зевай, когда не надо.

Ребята рассмеялись.

– Не зевай, Крокодил Крокодилович, – сказал Сашка Пыльников и хлопнул воспитателя по плечу.

– Ах, так! – закричал Крокодил. – Так я вам замечание запишу в «Летопись». Мне Виктор Николаевич сказал: будут шалить – записывайте.

– Ни хрена, – возразил Ленька Пантелеев. – Всех не перепишете.

– Нет, перепишу, – ответил уже дрожавший от негодования Крокодил. – Я вам коллективное замечание напишу… Колл-лективное

замечание! – повторил он и, осененный этой мыслью, сорвался с места и, схватив усеченный конус и пустой ящичек, выбежал из класса.

«Коллективное замечание» он действительно записал:

> «Воспитанники четвертого отделения похитили у преподавателя карандаши и отказались их возвратить, несмотря на требования учителя».

Викниксор заставил класс возвратить карандашные огрызки и оставил все отделение на два дня без прогулок.

Класс озлобился.

– Ябеда несчастный! – кричал Японец в набитой до отказа верхней уборной.

– Ябеда! Фискал! Крокодил гадов!

– Покрыть его!.. – предложил кто-то.

– Втемную!

– Отучить фискалить!

Решили крыть.

Вечером, когда Айвазовский вошел в класс, ему на голову набросили чье-то пальто, кто-то погасил электричество, затем раздался клич:

– Бей!

И с каждой парты на голову несчастного халдея полетели тяжеловесные книжные тома.

Кто-то загнул по спине Айвазовского поленом. Он закричал жалобно и скрипуче:

– Ай! Больно!

– Хватит! – крикнул Японец.

Зажгли свет. Крокодил сидел за партой, склонив голову на руки. Со спины у него сползало старое, рваное приютское пальто.

Злоба сразу прошла, стало жалко плачущего, избитого халдея.

– Хватит, – повторил Японка, хотя уже никто не думал продолжать избиение.

Айвазовский поднял голову. Лицо сорокалетнего мужчины было мокро от слез. Жалость прошла, стало противно.

– Тьфу… – плюнул Купец. – Как баба какая-то, ревет. А еще халдей… У нас Бебэ и тот не заплакал бы. Таких только бить и надо.

Айвазовский жалко улыбнулся и сказал:

– Ладно, пустяки.

Стало еще жалостнее… Стало стыдно за происшедшее…

– Вы нас простите, Сергей Петрович, – хмуро сказал Японец. – Запишите нам коллективное замечание для формы, а как человек – простите.

– Ладно, – повторил Крокодил. – Я вас прощаю и записывать никого не буду.

– Вот это человек, – сказал Пантелеев. – Бьют его, а он прощает. Прямо толстовец какой-то, а не халдей.

Айвазовский встал.

– Ну, я пойду…

Дойдя до дверей и открыв их, он вдруг круто обернулся и, побагровев всем лицом, закричал:

– Я вам покажу, дьяволы!.. Я вам… Сгною! – проревел он и выбежал

из класса.

* * *

Поведение Айвазовского возбуждало всеобщую злобу. Случай с «христианским прощением» нашел отклик: Крокодила покрыли и в третьем отделении.

Кипчаки избили его основательно и, когда он попытался разыграть и у них умилительную сцену «всеобщего прощения», добавили еще и «на орехи». Били не книгами, а гимнастическими палками и даже кочергой. На оба отделения градом сыпались замечания, все воспитанники этих отделений не выходили из четвертого и пятого разрядов.

В ответ на усиление наказаний разгоралась и большая буза… Крокодил не успевал отхаживать синяки.

В «Летописи» тех дней попадались записи такого рода:

> «Еонин и Королев не давали воспитанникам старшей группы покоя: в продолжение нескольких часов кричали, смеялись, разговаривали, всячески ругали воспитателя, называя его всевозможными эпитетами, особенно Королев, который неоднократно подходил к койке воспитателя, стараясь его ударить, придавить и т.п.».

Или:

> «Пантелеев в спальне говорил Еонину, спрашивая у него: «Дай мне сапог, я хочу ударить им в воспитателя»

Или:

«Кто-то из воспитанников бросил сапогом в воспитателя при общем и единодушном одобрении учеников старшей и третьей группы».

Обилие замечаний в «Летописи» заставило задуматься педагогический совет школы, в частности и самого Викниксора. Нужно было найти что-нибудь, что бы отвлекло воспитанников от бузы и помогло им выйти из бесконечного пятого разряда.

И Викниксор придумал.

Однажды за ужином он заявил:

– Ребята… До сих пор у нас были только плохие замечания… Сейчас мы вводим и хорошие замечания… каждый ваш хороший поступок будет записываться в «Летопись». Плюс на минус равняется нулю… Хорошее замечание уничтожает плохое.

Шкида радовалась, но недолго.

Вскоре оказалось, что хороший поступок – определение неясное.

В тот же день Офенбах, полгода не бравший в руки учебника географии, вызубрил наизусть восемнадцать страниц «Европейской России».

Хорошего замечания он не получил, так как оказалось, что учить уроки – вещь хорошая, но не выдающаяся, учиться и без замечаний надо… Все упали духом, а Офенбах, не имея сил простить себе сделанной глупости, со злобы избил Крокодила.

Тогда Викниксор нашел выход.

– Поступком, который заслуживает хорошего замечания, – сказал он, – будет считаться всякая добровольная работа по

самообслуживанию – мытье и подметание полов, колка дров и прочее.

Шкида взялась за швабры, пилы и мокрые тряпки, принялась «заколачивать» хорошие замечания.

Воспитатели записывали замечания часто без проверки. Это навело хитроумного и изобретательного Янкеля на идею.

Однажды он подошел к Крокодилу и сказал:

– Запишите мне замечание – я уборную вымыл.

Айвазовский тотчас же сходил в канцелярию и записал:

«Черных добровольно вымыл уборную».

Янкелю это понравилось. Через полчаса он опять подошел к Крокодилу.

– Запишите – я верхний зал подмел.

Крокодил недоверчиво посмотрел на воспитанника, но все-таки пошел записывать. Янкель, обремененный десятком плохих замечаний, обнаглел.

– Я и нижний зал подмел! – крикнул он вслед уходящему Айвазовскому. – Запишите отдельно.

Монополизировать изобретение Янкелю не удалось. Скоро вся Шкида насела на Крокодила. В день он записывал до пятидесяти штук хороших замечаний.

Шкида выбралась из пятого разряда и уже подумывала пробираться к первому, когда Викниксор, заметив злоупотребления с Крокодилом, запретил последнему записывать кому-либо «плюсные» замечания.

К этому времени относится и появление «индульгенций».

Вечно избиваемый, оплеванный Крокодил дошел до последней степени падения. Когда его избивали, он просил, умолял, чтобы его не били, извинялся…

– Извиняюсь, – говорил он воспитаннику, который из юмористических побуждений наступал ему на ногу.

Держал он себя кротко и плохие замечания записывал лишь в крайних случаях.

Тогда Еошка придумал следующую вещь.

– Мы знаем, – сказал он, – что вам записывать плохие замечания велит Викниксор, – иначе бы вы не стали халдейничатъ, побоялись…

– Да, ты прав, я принужден записывать, – согласился Айвазовский.

– А поэтому, – заявил Японец, – я предлагаю следующее: за каждое ваше замечание вы будете выдавать нам бумажку, индульгенцию, предъявитель которой может вас в любой момент избить без всякого с вашей стороны противоречия.

Не смевший пикнуть в присутствии Купца Крокодил беспрекословно согласился.

Каждый раз, записав замечание, он выдавал записанному им воспитаннику бумажку такого содержания:

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ

Предъявитель сего имеет право избить меня в любой день и час, когда я свободен и не в канцелярии.

С. П. Айвазовский.

Текст и форму индульгенции составил Японец. Он же первый получил индульгенцию, но избивать Крокодила не стал и бумажку

спрятал.

Айвазовский вошел в класс.

– К вам дело, – заявил Японец.

– Какое дело? – спросил Крокодил, усаживаясь на свое место.

Японец подошел к нему, вынул из кармана пачку бумажек и, сосчитав их, положил на стол.

– Двадцать восемь штук, сэр, – сказал он.

– Это что? – прошептал Крокодил, побледнев.

– Индульгенции, милый друг, индульгенции, – ответил Японец. – Ну-ка, подставляй спину.

Педагог, не сказав ни слова, с тоской посмотрел на Купца и нагнул спину. Под дружный хохот класса Японец отстегал двадцать восемь ударов.

За ним вышел Цыган.

– У меня меньше, – сказал он, – двадцать шесть штучек только.

Он отхлопал свои двадцать шесть ударов.

Потом вышел Купец. При виде его Крокодил задрожал.

– Ну, – пробасил Купец, – нагинайся.

Он ударил кулаком по спине несчастного халдея.

Крокодил взмолился:

– Не так сильно. Больно ведь!

Все сгрудились около стола… Офенбах замахивался в восьмой раз, когда возглас у дверей заставил ребят обернуться:

– Довольно!

У стены стоял Викниксор. Он стоял уже больше минуты и с

изумлением смотрел на творящееся.

– Довольно, – повторил он, – сядьте на места.

Потом, взглянув на оправлявшего пальто Крокодила, он сказал:

– Вы мне нужны – на минутку…

Айвазовский встал и вышел за Викниксором из класса.

Больше Шкида его не видала.

Преступление и наказание

Солнечные зайчики бегали по стенам. В открытое окно врывался и будоражил молодые сердца шум весенней улицы. Сидеть в четырех стенах было просто невозможно.

Сашка Пыльников и Ленька Пантелеев вышли во двор.

На дворе кипчаки играли в лапту, и рыжая Элла, примостившись на бревне, читала немецкий роман.

На дворе было хорошо, но сламщикам хотелось уйти от шума, где-нибудь полежать на солнышке и поговорить.

– Полезем на крышу, – предложил Сашка.

По мрачной, с провалами, лестнице они взобрались на крышу полуразрушенного флигеля. После темного чердака резкий свет заставил их зажмурить глаза.

– Вот это – лафуза, – прошептал Сашка.

На крыше только что стаял снег. Лишь местами в тенистых прикрытиях он серел небольшими пятнами… Ржавое железо крыши еще не успело накалиться, но было теплым и приятным, как плюш.

Товарищи легли на скате, упершись ногами в края водосточного

желоба и заложив руки за голову… Ленька закурил. Минут пять лежали молча, не шевелясь. Умильно улыбались и, как котята, жмурились на солнце.

– Хорошо, – мечтательно прошептал Сашка. – Хорошо. Так бы и лежал и не вставал.

– Ну нет, – ответил Пантелеев, – я бы не согласился лежать все время. В такой день побузить хочется – руки размять…

Он вдруг выпрямился и, нагнувшись к Сашке, ударил его широкой ладонью по животу. Сашка завизжал, завертелся, как вербная теща, и, схватив за шею Пантелеева, повалил его на себя.

Равные силы сверстников заставили их минут десять бороться за первенство. Наконец Пыльников победил. Прыгая около лежащего на лопатках Пантелеева, он кричал:

– Здорово! В один хавтайм уложил чемпиона мира.

Пантелеев улыбался широкой калмыцкой улыбкой и хрипел:

– Нечестно. На шею надавил, а то бы…

Лежать уже не хотелось… Меланхоличность Сашки сошла на нет, и он уже отплясывал гопака по дряблой крыше флигеля.

Под ногу ему подвернулся камень. Сашка схватил его и, размахнувшись, пустил в небо. Острый камень со свистом проделал параболу, скрылся из глаз и упал где-то далеко, на чужом дворе.

– Смачно! – воскликнул Ленька и принялся искать камень, чтобы не ударить лицом в грязь. Камня на крыше не оказалось, и Ленька полез через слуховое окно на чердак. Через минуту он вернулся с полным подолом красного кирпичного щебня.

– А ну-ка?! – Черная точка взлетела к небу и погасла. За ней другая…

– Так кидаться неинтересно, – сказал Сашка. – Надо цель какую-нибудь найти.

Он подошел к краю крыши и заглянул вниз.

Внизу узкий проход между двумя стенами занимала помойная яма. Параллельно флигелю вытянулось одноэтажное здание домовой прачечной.

Солнце ломало лучи о высокий остов флигеля и золотило верхние рамы окон.

Сашка минуту посидел на корточках, как зачарованный глядя на сверкающие стекла, потом протянул руку, взял камень и, не сходя с места, бросил им в стекло.

Стекло треснуло, зазвенело и рассыпалось тысячами маленьких брильянтиков.

Сашка поднял голову. Ленька стоял возле него и, не сводя глаз, молча смотрел на зияющий оскал свежей пробоины. Потом он взял камень, нацелился и выбил остаток стекла верхней рамы.

…Кидали долго, ни на минуту не останавливались, бегали на чердак за свежим запасом щебня, бросали целые кирпичи. Когда в окнах прачечной не осталось ни одного стекла, товарищи переглянулись.

– Ну, как? – глупо спросил Ленька.

– Дурак! – буркнул Сашка, заглядывая вниз.

Солнце, как и раньше, улыбалось широкой приветливой улыбкой,

в воздухе играла весна, но на крыше почему-то стало неуютно; уже не хотелось валяться на скате и прижиматься щекой к плюшу.

– Хряем вниз, – сказал Пыльников.

Когда они спускались по мрачной лестнице, Ленька выругался и сказал:

– Наплевать… Не узнают… Никто не видел.

Сашка ничего не ответил, только вздохнул. Никем не замеченные, они вышли во двор. Малыши все еще играли в лапту. Серый мяч, отлетая от плоской доски, прыгал в воздухе. Эланлюм сидела на бревнышке и, отложив книгу, мечтательно рассматривала барашковое облачко на синем небе. Ленька и Сашка подошли к ней и, попросив разрешения, уселись рядом на пахучую сосновую поленницу.

– Где вы были? – проницательно оглядев питомцев, спросила Элла.

Ленька перекинулся взглядом с Сашкой и ответил:

– В классе, Элла Андреевна.

– В классе? Что же вы там делали?

– Ельховский пыль стирал. Он дежурный, а я… – Ленька вдруг притворно смутился.

– А ты что?

– А я… я, Элла Андреевна, сейчас над переводом из Гейне работаю…

Эланлюм удивленно вскинула глаза, потом улыбнулась.

– Правда? Гейне переводишь? Молодец. Ну что ж, выходит?

Пантелеев заврался.

– Очень даже выходит. Я уже сто двадцать строк перевел.

Он чувствовал, что Сашка смотрит на него и делает какие-то знаки глазами, но повернуться не мог.

– Я вообще немецким языком очень интересуюсь, – продолжал он. – Прямо, вы знаете, как-то… очень люблю немецкий.

Вестфальское лицо Эланлюм расцвело.

– Я и из Гете переводы делаю, Элла Андреевна.

Для Эланлюм этого было достаточно.

– Ты должен показать мне все эти переводы. И почему вообще ты раньше не показывал их мне?

Пыл разглагольствования внезапно сошел с Леньки… Он вдруг ни с того ни с сего насторожился и, пробормотав: «Кажется, Япошка зовет» – быстрыми шагами пошел со двора.

За ним ринулся и Сашка.

Когда они поднимались по лестнице в Шкиду, Сашка спросил:

– Зачем ты врал о всяких Гейне и Гете? И откуда ты выкопаешь переводы?

Ленька не знал, зачем он врал, и не знал, откуда выкопает переводы.

– Скажу, что сжег, – успокоил он сламщика.

В классе никого не было, кроме Япошки и Кобчика. Они ходили в Екатерингоф купаться. Пришли мокрые и веселые. Сейчас приятели сидели за партой и о чем-то беседовали. Япошка, по обыкновению, шмыгал носом и размахивал руками, а Кобчик возражал без горячности, но резко и визгливо.

– Ты плохо знаешь немецкий язык, поэтому не можешь судить! – кричал Япошка.

– И все-таки повторяю: Гейне непереводим, – визжал Финкельштейн.

Сашка и Ленька прислушались. И тут говорят о Гейне.

– Хочешь, докажу, что можно перевести Гейне так, что перевод будет не хуже оригинала? – объявил Японец.

Пантелеев сорвался с места и подскочил к нему.

– Слабо, – закричал он, – слабо перевести сто строчек Гейне и немножко Гете!

Японец удивленно посмотрел на него и, шмыгнув носом, ответил:

– На подначку не иду.

– Ну, милый… Еоша… – взмолился «налетчик».

Он рассказал товарищу о том, как он заврался перед Эланлюм, и о том, как важно для него выпутаться из этого неприятного положения.

Япошка забурел.

– Ладно, – сказал он, – выпутаемся. Переведу… Для меня это – пара пустяков.

Для Пантелеева снова солнце стало улыбаться, он снова услышал уличный шум и почуял весну. Вместе с ним расцвел и Сашка.

После, в компании Воробья и Голого Барина, они ходили в Екатерингоф, купались, смотрели на карусели, толкались в шумной веселой толпе гуляющих и пришли в школу прямо к вечернему чаю.

О происшествии на крыше вспомнили, лишь укладываясь спать. Расшнуровывая ботинок, Ленька нагнулся к Пыльникову и шепнул:

– А стекла?..

Сашка ответить не успел. Дежурный халдей Костец громовыми раскатами своего львиного голоса разбудил всю спальню:

– Пантелеев, не мешай спать товарищам!

Когда Костец, постукивая палочкой, пошел в другую спальню, Сашка высунулся из-под одеяла и прохрипел:

– Ерунда.

* * *

На другой день погода изменилась. Ночью прошла гроза, утро было радужное, и солнце заволакивали бледно-серые тучи. Но чувствовалась весна.

Пыльников и Пантелеев встали в прекрасном настроении.

За чаем Японец не на шутку ошарашил сидевшего с ним рядом Пантелеева:

– А я перевел сто двадцать строк, – шепнул он.

– Когда? – позабыв нужную предосторожность, чуть не закричал Ленька.

– Утром, – ответил Японец. – Встал в семь часов и перевел… И из Гете два стихотворения перевел…

После чая Японка передал Пантелееву три листа исписанной бумаги. Пантелеев тотчас же засел за переписку перевода, дабы почерк не дал повода к сомнению в его самодеятельности.

Ленька сидел у окна. Гейне вдохновил его, взбудоражил его творческую жилку. Ему захотелось самому написать что-нибудь.

Окончив переписку, он засмотрелся на улицу. На углу улицы рыжеусый милиционер в шлеме хаки улыбался солнцу и стряхивал дождевые капли с непромокаемого плаща. Чирикали воробьи, и под лучами солнца сырость тротуаров стлалась легким туманом.

Леньке захотелось описать эту картину красиво и жизненно. И он написал как мог:

Голосят воробьи на мостовой,
Смеется грязная улица…
На углу постовой –
Мокрая курица.
Небо серо, как пепел махры,
Из ворот плывет запах помой.
Снявши шлем, на углу постовой
Гладит дланью вихры.
У кафе – шпана:
– Папирос «Зефир», «Осман»!
Из дверей идет запах вина.
У дверей – «Шарабан».
Лишь одни воробьи голосят,
Возвещая о светлой весне.
Грязно-серые улицы спят
И воняют во сне.

Потом он показал это стихотворение товарищам и Сашкецу. Всем стихотворение понравилось, и Янкель взял его для одного из своих журналов.

Пыльников утро провел в музее – составлял таблицу архитектурных стилей. Ионические и коринфские колонны, портики, пилястры и абсиды увлекли его… Ни он, ни Пантелеев ни разу за все утро не вспомнили о прачечной и о разбитых стеклах.

Гроза разразилась в обед.

Если говорить точнее, первые раскаты этой грозы прокатились еще за полчаса до обеда. По Шкиде прошел слух, что в прачечной неизвестными злоумышленниками уничтожены все стекла. В эту минуту двое сердец тревожно забились, две пары глаз встретились и разошлись.

А за обедом, после переклички, когда дежурные разносили по столам дымящиеся миски пшенки, в столовую вошел Викниксор.

Он вошел быстрыми шагами, оглядел ряды вставших при его появлении учеников, ни на ком не остановил взгляда и сказал:

– Сядьте.

Потом нервно постучал согнутым пальцем по виску, походил по столовой и, остановившись у стола, по привычной своей манере растягивая слова, произнес:

– Какие-то канальи выбили все стекла в прачечной.

Глаза всех обедающих оторвались от стынущей пшенной каши и изобразили знак вопроса.

– Вышибли стекла в пяти окнах, – повторил Викниксор. – Ребята, это вандализм. Это проявление дегенератизма. Я должен узнать фамилии негодяев, сделавших это.

Ленька Пантелеев посмотрел на Сашку, тот покраснел всем

лицом и опустил глаза.

Викниксор продолжал:

– Это вандализм – бить стекла, когда у нас не хватает средств вставить стекла, разрушенные временем.

Еле досидев до конца обеда, Сашка позвал Леньку:

– Пойдем поговорим.

Они прошли в верхнюю уборную. Там никого не было. Сашка прислонился к стене и сказал:

– Я не могу. Мы действительно были скотами.

– Пойдем сознаемся, – предложил Пантелеев и закусил нижнюю губу.

Пыльников секунду боролся с собой. Он надулся, зачем-то потер щеку, потом взял Леньку за руку и сказал:

– Пойдем.

По лестнице наверх поднимался Викниксор. Когда он прошел мимо них, Пантелеев обернулся и окликнул:

– Виктор Николаевич.

Викниксор обернулся.

– Да?

Отвернувшись в сторону, Пантелеев сказал:

– Стекла в прачечной били мы с Ельховским.

Наступила пауза.

Викниксор молчал, ошеломленный слишком скорым признанием.

– Прекрасно, – произнес он, подумав. – Можете оба отправляться домой, ты – к матери, а ты – к брату.

Ударил гром.

Сашка подошел к окну, закрыл лицо руками и съежился.

– Виктор Николаевич! – визгливо прокричал он. – Я не могу идти. У меня мать больная… Я не могу.

Пантелеев стоял возле Сашки, стиснув зубы и руки.

– Извините, Виктор Николаевич… – начал было он.

– Нет, без извинений. Отправляйтесь вон из школы, а через месяц пусть зайдут ваши матери. Скажите спасибо, что я не отправил вас в реформаторий.

И, повернувшись, он зашагал в апартаменты Эланлюм.

Пантелеев проводил его взглядом и, хлопнув по плечу Сашку, сказал:

– Идем, Недотыкомка.

* * *

– Домой я идти не могу, – сказал Сашка.

– И мне не улыбается, – хмуро пробасил Пантелеев.

Они сидели во дворе, на сосновой поленнице, где накануне разговаривали с Эланлюм.

День клонился к концу. Серые тучи бежали по небу, обгоняли одна другую и рассыпались мелкими каплями дождя.

Сашка сидел, как женщина, сомкнув колени и подперев ладонью щеку. На коленях у него лежал маленький серый узелок.

В узелке было два носовых платка, книжка афоризмов Козьмы Пруткова и первый том «Капитала».

Сашка сжал руками узелок, поднял голову и вздохнул.

– Чего вздыхать? – сказал Ленька. – Вздохами делу не поможешь. Надо кумекать, что и как. Домой ведь не пойдем?

– Нет, – вздохнул Сашка.

– Ну, так надо искать логова, где бы можно было кимарить.

– Да, – согласился Сашка.

Товарищи задумались.

– Есть, – сказал Ленька. – Эврика! Во флигеле под лестницей есть каморка, хряем туда…

Они встали и пошли к флигелю. В лестнице, по которой они вчера поднимались на крышу, несколько ступенек провалилось, и образовалась щель.

Товарищи пролезли через нее и очутились в узкой темной каморке. Ленька зажег спичку… Желтоватый огонек млел и мигал в тумане. Оглядев помещение, товарищи поежились.

Кирпичные стены каморки были слизисты от сырости… Коричневый мох свисал с них рваными клочьями… На полу были навалены старые матрацы, рваные и грязные… Ноги вязли в серой, слипшейся от сырости мочале…

– Комфогт относительный, – сказал Пантелеев, и, хотя произнес он это с усмешкой, голос его прозвучал глухо и неприятно.

– Противно спать на этой гадости, – поморщился Сашка и ткнул ногой в мочальную груду.

– Что же делать? Ничего, брат, привыкай.

Ленька, которому приходилось в жизни ночевать и не в таких

трущобах, подав пример, подавил отвращение и опустился на мокрое, неуютное ложе.

За ним улегся и Сашка.

Немного поговорили. Разговоры были грустные и все сводились к безвыходности создавшегося положения.

Потом заснули и проспали часов шесть. Разбудили яркий свет и грубый голос, будивший их. Сламщики очнулись и вскочили.

В отверстие на потолке просовывалась чья-то голова и рука, державшая фонарь.

– Вставай, вставай! Ишь улыглысь…

Это был Мефтахудын.

Товарищи окончательно проснулись и сидели, уныло позевывая.

– Жалко тебе, что ли? – протянул Ленька.

– Ны жалко, а ныльзя… Выктор Николайч сказал: обыщи вэсь дом, если сыпят – витащи.

– Сволочь, – пробурчал Сашка.

– И ваабще здесь спать нельзя.

– Почему нельзя? – спросил Пыльников.

– Сыпчики ходят.

– Какие сыпчики? – удивился Сашка.

– Сыпчики… С шпалырами и вынтовками.

– Сыщики, наверное, – решил Ленька. – Он нас запугать хочет. Нет, Мефтахудын, – обратился он к сторожу. – Мы отсюда не уйдем… Идти нам некуда.

Мефтахудын немного посопел, потом голова и рука с фонарем

скрылись, и сапоги татарина застучали по лестнице вниз.

Товарищи снова улеглись. Засыпать было уже труднее. В каморку пробрался холод, сламщики дрожали, лежа под Сашкиным пальто и под двумя рваными, мокрыми тюфякями.

– Разведем огонь, – предложил Ленька.

– Что ты! – испугался Пыльников. – Тут солома и все… Нет, еще пожар натворим.

– Глупости.

Ленька вылез из-под груды матрацев и принялся расчищать мочалку, пока не обнажился грязный каменный пол.

Тогда он положил на середину образовавшегося круга небольшой пучок мочалы и зажег спичку. Просыревшая насквозь мочала не зажигалась.

– У тебя нет бумаги? – спросил Пантелеев.

– Нет, – ответил Сашка, – у меня книги, а книги рвать жалко.

Ленька порылся за пазухой и вытащил бумажный сверток.

– Это что? – спросил Сашка.

– Генрих Гейне, – протянул Ленька жалким голосом и в темноте грустно улыбнулся.

Он скомкал один лист и поджег его. Пламя лизнуло бумагу, погасло, задымилось и снова вспыхнуло.

– Двигайся сюда, – сказал Ленька.

Сашка подвинулся.

Они сожгли почти весь перевод Гейне, когда на лестнице раздались шаги. Ленька обжег ладони, в мгновение погасив костер.

В отверстие снова просунулась рука с фонарем и на этот раз уже две головы. Раздался голос Сашкеца:

– Эй вы, гуси лапчатые! Вылезайте!

Пыльников и Пантелеев прижались к стене и молчали.

– Ну, живо!

– Лезем, – шепнул Ленька.

По одному они вылезли через отверстие на лестницу. Вылезли заспанные и грязные, облипшие мокрой мочалой и соломой.

Ничего не сказали и стали спускаться вниз.

Сашкец и Мефтахудын проводили их до ворот. Сашкец стоял, всунув рукав в рукав, и ежился.

– Нехорошо, дядя Саша, – сказал Пыльников.

– Что ж делать, голубчики. – распоряжение Виктора Николаевича, – ответил Алникпоп. И, затворяя калитку, добавил: – Счастливо!

На улице было холодно и темно.

Фонари уже погасли, луны не было, и звезды неярко мигали в просветах туч.

Сашка и Ленька медленно шли по темному большому проспекту. Прошли мимо залитого огнями ресторана.

– Сволочи, – буркнул Сашка.

Это относилось к нэпманам, которые пировали в этот поздний ночной час.

Ребята уже чувствовали голод.

Дошли до Невского. На Невском ночные извозчики ежились на козлах.

– Идем назад, – сказал Ленька.

– Стоит ли? – протянул Сашка. – Все равно спать не дадут.

– Ни черта, идем.

Снова пришли к зданию Шкиды.

Предусмотрительный Мефтахудын закрыл ворота, пришлось пролезать сквозь сломанную решетку, запутанную колючей проволокой.

Никем не замеченные, залезли под лестницу и заснули.

* * *

Утром по привычке проснулись в восемь часов. Когда вышли во двор, в Шкиде звонили к чаю. Нежаркое солнце отогревало землю, роса на траве испарялась легким туманом.

За дровами, с веревкой и топором в руках, вышел Мефтахудын. Он вытер ладонями лицо, посмотрел на восток и зевнул.

Увидев мальчишек, подошел.

– Что, в флыгэли начивали?

– Нет, – испугался Сашка. – Нет. Мы не в флигеле…

Мефтахудын засмеялся.

– Знаем я, сам видел, как лезли.

Потом посмотрел на небо и добавил:

– А минэ што – жалко, что ли. Я свой дэла сдэлал.

Ленька хлопнул татарина по плечу.

– Знаю!

Когда Мефтахудын ушел, он предложил:

– Пойдем в Шкиду…

Они поднялись в школу и прошли на кухню… Староста и дежурный напоили их чаем, позвали Янкеля и Японшку.

– Ну как? – сочувственно спросил Японец.

– Плохо, – ответил Ленька. – Больше гопничать нельзя. Холодно.

– Д-да, – протянул Янкель. – А вы все-таки поскулите у Викниксора, – может, разжалобится.

Напившись чаю, сламщики, по совету товарищей, пошли к заведующему.

– Войдите! – крикнул он, когда они постучались к нему.

Ребята вошли и остановились у дверей.

– Вам что?

– Простите, Виктор Николаевич…

– Нет… Я сказал: из школы вон. Мне таких мерзавцев не нужно.

Повернулись, чтобы уйти.

– Впрочем… Если вставите стекла, то…

– То?

– То… Можете через месяц вернуться в школу.

– Спасибо, Виктор Николаевич.

Вышли… Сделалось совсем грустно и тяжело.

– Это что же значит? – проговорил Ленька. – Если не вставим стекла, так и совсем можем не являться? Так, что ли?

– Видно, так, – вздохнул Пыльников.

– Надо мыслить, где достать денег. Стекла вставлять, как видно, придется.

Они снова вышли во двор.

– Идем на улицу, – сказал Сашка.

Прекрасный весенний день не доставил им обычного удовольствия. Шли медленно – куда глаза глядят.

– Что-нибудь надо продать, – сказал Сашка.

– Да, – согласился Пантелеев. – Надо что-нибудь продать… А что?

Оба задумались.

Шли мимо Юсупова сада.

– Зайдем, – предложил Ленька.

Зашли, уселись на скамейку…

В саду весна чувствовалась ярче, чем на улице. Набухали почки, и на берегу освободившегося от льда пруда пробивалась первая травка.

Сламщики сидели и думали.

– У меня есть одна вещица, – покраснев, заявил Ленька.

– Какая вещица?

– Зуб.

Он снял кепку и, отогнув подкладку, вытащил оттуда что-то маленькое, завернутое в бумажку.

– Золотой зуб, – повторил он. – Я его осенью в Екатерингофе нашел… Думаю, что можно продать.

Сашка улыбнулся.

– Зачем же ты его столько времени берег?

Ленька покраснел еще больше.

– Глупо, конечно, – сказал он, – но говорят, что зуб приносит счастье.

– Счастье, – усмехнулся Сашка. – Много он тебе счастья принес.

Ленька решил продать зуб.

– А я что продам? – сказал Пыльников.

Он развязал узелок. Вынул марксовский «Капитал».

– Дадут что-нибудь?

Ленька взглянул на заглавие.

– Думаю, что не дешевле моего зуба стоит.

Сашка перелистал страницу. Потом положил книгу обратно в узелок.

– Нет, – сказал он, – Маркса продавать не могу… Я лучше сапоги продам.

Ботинки у него были новенькие, английские. Брат зимой привез, когда приезжал навещать.

– Продам, – решил Сашка.

Он тут же снял ботинки и завернул их в узелок.

– Идем, – сказал он.

Они вышли из сада. Сашка с прошлого лета не ходил босиком и сейчас шел неуверенно, подпрыгивая на острых камнях.

Сперва зашли в ювелирный магазин.

Толстый еврей-ювелир долго рассматривал зуб, сначала простым, затем вооруженным глазом, потом посмотрел на парней и спросил:

– Откуда у вас это?

– Нашли, – ответил Ленька.

Ювелир минуту раздумывал, потом бросил зуб на чашку

миниатюрных весов и, не спрашивая о пене, вынул и положил перед товарищами бумажку в пять лимонов.

– Мало, – сказал Пантелеев.

Ювелир взял бумажку, чтобы спрятать.

– Ладно, давай, – проговорил Ленька и, спрятав дензнаки в карман, вместе с Сашкой вышел из магазина. – Спекулянт чертов! – буркнул он.

Из магазина пошли на Александровскую толкучку, где за десять лимонов продали первому попавшемуся маклаку Сашкины английские ботинки.

В Шкиду поехали на трамвае: устали за сутки и имели возможность позволить себе такую роскошь.

К Викниксору в кабинет вошли без всякой робости.

– Опять? – спросил тот. – В чем дело?

– Получите за ваши стекла, – сказал Ленька и выложил перед завшколой пятнадцать миллионов рублей.

Викниксор посмотрел на деньги, присел к столу и написал расписку.

– Возьмите, – хмуро сказал он.

Потом смягченным тоном добавил:

– Через месяц приходите.

Сламщики вышли.

– Куда идти? – тихо спросил Сашка.

– Домой, – ответил Ленька, – больше идти некуда.

Сходили в класс, попрощались с товарищами и разошлись – один на Мещанскую, другой на Васильевский остров.

– Т-сс. Тише.

– Ни звука.

Три тени, бесшумно скользя, вышли на парадную лестницу и минуту прислушивались. В Шкиде было тихо. Ребята уже спали, и только изредка тишину нарушал шорох возившейся под полом крысы.

– Ну, идем. Нас уже ждут, – опять раздался шепот, и три таинственные фигуры начали спускаться по лестнице, осторожно держась за перила и стараясь не производить шума.

Мелькнул просвет парадной двери, выходившей на улицу, но за ненадобностью давно уже и наглухо закрытой.

Таинственные фигурки минуту потоптались на месте, словно совещаясь, и, наконец, решившись, стали так же бесшумно прокрадываться под темный свод лестницы. Непроницаемая безмолвная мгла поглотила загадочных пришельцев. Они шли на ощупь, держась за холодные выступы ступеней и удаляясь все дальше от света. Тусклым просвет парадных дверей поблек вдали, и зеркальные окна замутились и посерели, едва виднеясь мертвыми матовыми пятнами. Вдруг передняя тень вздрогнула и отпрянула назад.

– Смотрите!

Прямо со стены глядело на них страшное, квадратное, бледно светящееся, словно фосфорическое, пятно.

Пришельцы прижались к противоположной стене. Но тут один из них, самый храбрый, рассмеялся и сказал:

– Ведь это ж трансформаторная будка. Чего вы сдрейфили?

Почти тотчас откуда-то сбоку из темноты раздался глухой голос.

– Пароль?

– Четыре сбоку! – ответила первая тень.

– Ваших нет! Проходите, – донеслось снова из темноты, и перед таинственными пришельцами раскрылась дверь в слабо освещенное помещение.

Это был дровяной сарай Мефтахудына, куда он складывал дрова, перед тем как распределять их по печкам.

И сейчас еще в сарае было немного дров, разложенных рядами у стенок. На одной из этих поленниц сидели три темные сгорбившиеся фигуры.

При появлении новых пришельцев сидевшие приветствовали их громкими криками:

– Урра! Пришли. Пыльников! Кобчик!

– Кубышка, и ты?!

– А что я – рыжий, что ли? Я тоже хочу работать в вашей организации!

В сарае шесть человек расселись на дровах и, закрыв плотно двери, замерли.

Кроме пришедших там были Янкель, Японец и Пантелеев, совсем недавно вернувшийся в Шкиду после скандального изгнания из школы за битье стекол.

Ребята посовещались минуту, потом Японец встал и заговорил, подняв руку:

– Внимание. Сегодня мы открываем второе собрание нашей

подпольной организации РКСМ, но так как у нас есть два новых члена, коими являются Кубышка и Кобчик, то я кратко изложу им нашу программу и причины, побудившие нас затеять это дело.

Японец откашлялся.

– Итак, товарищи, вы знаете, что наша Шкида считается домом для дефективных, то есть почти тюрьмой, поэтому ячейку комсомола нам открыть нельзя. Но среди нас есть желающие подготовиться к вступлению в комсомол по выходе из Шкиды… Вот для этого, то есть для изучения политграмоты и основ марксизма, мы и основали этот подпольный кружок. К сожалению, мы не имеем руковода, опытного и деятельного, как Кондуктор, который, как вы знаете, уехал от нас уже три, если не четыре, месяца назад на работу в деревню. Вы знаете также, что мы много раз просили Викниксора выхлопотать нам нового политграмщика, но до сих пор он, как известно, и в ус не подул. Нам осталось одно: заниматься самим. Мы не знаем, как посмотрел бы на это дело Викниксор, а кроме того, и не хотели затягивать дела переговорами, поэтому и решили открыть этот нелегальный кружок. Пока у нас занятия узкоспециальные, сейчас мы проходим историю революционного движения среди молодежи, а дальше будет видно.

Япошка замолчал и обвел взглядом окружающих. Потом, смахнув рукой пот с лица, он перешел к лекции. Как самый осведомленный и начитанный, он взял на себя роль лектора и работал очень добросовестно, тщательно подготовляясь к каждой лекции.

– Итак, пойдем дальше. В прошлый раз мы с вами разбирали зарождение Союза молодежи и дошли вплоть до раскола буржуазного

«Труда и света». Теперь мы проследим зарождение и постепенный рост нашего Союза рабочей молодежи…

Аудитория слушала. Пятеро ребят с бритыми головами жадно уставились на лектора и затаив дыхание ловили слова. Угольная лампочка, облепленная наросшей паутиной, словно улыбалась близоруким глазом, слабо освещая «подпольную организацию» и облупившиеся стены.

* * *

Следующий сбор был назначен на двенадцать часов ночи – излюбленное время всех заговорщиков.

Летний день для Шкиды утомителен. Слишком много движения, слишком много уроков, а кроме того, охота и выкупаться сходить, и поиграть в рюхи или в футбол. В результате к вечеру полная усталость. Спальни сразу же погрузились в сон, и не успел дежурный воспитатель затворить за собою дверь, как снова забегали по старому зданию таинственные тени.

Ночной дежурный – Янкель. Он свободно выпускает из здания «заговорщиков» и последним уходит сам.

На этот раз сбор происходил в развалинах двухэтажного дома во дворе. Под лестницей, в каморке, где еще совсем недавно скрывались Пантелеев и Пыльников, светлячками вспыхнули огоньки. Тени собирались опять.

– Пароль?

– Деньги ваши!

– Будут наши! Проходи, – слышится голос невидимого стража.

Сегодня пришел новый член организации – Воробей. В кружке уже семь человек.

– Как бы не засыпаться! Слишком много коек пустует, – высказывает опасение Янкель, но под негодующие окрики он вынужден замолчать.

– Сегодня, товарищи, мы перейдем к разбору Третьего съезда, который знаменует собой новый поворот к мирному строительству.

Кружок притих и внимательно слушал, сбившись вокруг мерцающей свечки.

Ночь выдалась мягкая, но с ветерком.

Мефтахудын сидел в дворницкой, повторял наизусть русскую азбуку, иногда сбиваясь и заглядывая в букварь. Наконец он поднялся, потянулся, зевнул, оглядел кровать и стены.

– Пора спать, – громко произнес он и вышел во двор, чтобы сделать последний в этот день обход. В подворотне тихо посвистывал теплый ветер. Он словно целовал, ласкал огрубевшие, покрытые жесткой щетиной щеки Мефтахудына… Татарин размяк, умилился, пришел в восторг:

– Ай да пагодка! Якши! От-чень карашо.

Пребывая в этом восторженном настроении, он тихо зашагал по двору, осматривая двери и мурлыкая под нос родную песню:

Ай джанай

Каласай.

Сэкта, сэкта

Менела-а-ай.

Вдруг Мефтахудын смолк и насторожился, уставившись испуганными глазами в развалины. Оттуда глухо доносились голоса. Татарин подошел ближе к полуразвалившейся двери и вдруг отскочил:

– Эге-ге! Бандиты!

Голоса, доносившиеся из сырого помещения, показались ему незнакомыми, грубыми и даже страшными. В довершение всего из всех щелей двери сочился бледный, дрожащий свет. Мефтахудын минуту постоял, соображая, потом неслышно отошел от двери и заспешил обратно в школу. Так же торопливо он вбежал по черной лестнице наверх и помчался к Викниксору. Минуту спустя заведующий и Алникпоп, дежуривший в эту ночь, спускались по черной лестнице и сопровождавший их Мефтахудын возбужденно рассказывал:

– Гляжу, свет, слышу – бал-бал-бал. Эге, думаю, субчики, бандиты. Мефтахудына – нет, не проведешь. И к вам бежал, скоро-скоро.

Педагоги и дворник осторожно подкрались к разрушенному дому. Викниксор вошел первый, поднялся на несколько ступеней и, заглянув в сырой коридор, замер от удивления.

Прежде всего он увидел возбужденное лицо Япончика, освещенное желтым светом свечки, потом уже разглядел других. Викниксор прислушался.

– Одной из главных задач Четвертого съезда Союза молодежи было улучшение экономического положения рабочих-подростков. На заводах шли массовые сокращения молодежи, как

малоквалифицированной силы. Нужно было забронировать подростков, поднять квалификацию. На это главным образом и обратил внимание Четвертый съезд РКСМ.

Вдруг речь Япончика перебил знакомый бархатный голос:

– Позвольте, вы что тут делаете?

Семь голов повернулись, и семь пар глаз впились в темноту, из которой выплыло сердитое лицо Викниксора.

Кто-то сразу понял, что запорались, и крикнул:

– Спасайся!

Кто-то из кружковцев бросился к дыре в лестнице, но тотчас же отпрянул назад. Оттуда, улыбаясь, выглядывало скуластое лицо Мефтахудына.

– Попались, субчики!

Ребята остановились в растерянности, не зная, куда податься.

– Что вы тут делаете? – так же сердито повторил Викниксор.

– Ничего… так… тепло… ну, мы и вышли посидеть… – растерянно лепетал Япончик, теребя листы истрепанного учебника политграмоты.

Викниксор заметил книгу и, взяв ее из рук растерявшегося лектора, задумчиво перелистал, потом коротко бросил:

– Идите спать!

Опустив головы, подпольщики один за другим прошли мимо Сашкеца, а тот укоризненно качал головой и бормотал:

– Ах, гуси лапчатые… Ах, гуси!..

* * *

На другой день Викниксор все знал. Достиг он этого самым несложным путем: пришел в класс и стал расспрашивать. Собственно, ребятам скрывать было нечего, и только испуг и необычайная обстановка обескуражили их ночью, но сегодня они все спокойно рассказали и даже сами смеялись вместе с заведующим над своей «подпольной работой».

Потом Викниксор весь день ходил задумчивый, а вечером неожиданно сообщил классу:

– Я протестовать и не думаю даже. Наоборот, охотно иду вам навстречу. Вы не имеете права создать ячейку РКСМ, но вы можете организовать свой кружок, свою ячейку местного характера, в которой, не будучи членами комсомола, вы, однако, наравне со всем Союзом будете вести учебу и даже больше того – вы как передовые поведете по пути коммунистического воспитания всю школу. Организуйтесь, придумайте кружку название и беритесь за дело. Помещение у вас будет. В ваше распоряжение я отдаю наш музей. Кстати, вы можете заодно взять на себя попечение и о самом музее – подбирать экспонаты, охранять их и так далее…

Шкидский музей родился уже давно и как-то незаметно, после бешеной журнальной лихорадки, которой перехворала вся Шкида. Журналы эти были первыми вкладами в музей. Потом туда стали попадать наиболее выдающиеся ученические работы, хранился там и показательный учетный материал. Вскоре материала скопилось немало.

В тот же вечер, по уходе Викниксора, ребята созвали экстренное собрание.

– Ребята! – ораторствовал Японец. – Задачи нашего коллектива, нашей ячейки, остаются прежние, что и в подполье, но теперь прибавляются новые: вовлечение других и развертывание работы в общешкольном масштабе. Надо придумать название кружку.

– Красная звезда!

– Знамя!

– Коммунар!

– Юный коммунар!

– Правильно! Во! Юный коммунар! И сократить в Юнком.

– Сократить в Юнком! Правильно!

Голоса разделились. Проголосовали. Большинство оказалось за Юнком. Тут же избрали редколлегию для своего органа, в которую вошли Японец, Янкель и Пантелеев.

А на следующее утро уже вышел первый номер стенгазеты «Юнком» с передовицей, извещавшей об открытии новой организации. В этой пространной декларации говорилось о многом, а в конце крупным шрифтом был объявлен призыв о вступлении в Юнком. Но начало оказалось тяжелым. Скоро юнкомцам, еще не завоевавшим авторитета в школе, уже пришлось проводить один из пунктов своей программы. В этой программе, среди прочего, они заявили, что будут бороться с воровством в школе.

Мелкие кражи в Шкиде совершались довольно часто. То полотенце исчезнет, то наволочка пропадет.

И вот исчезли сапоги. Когда утром шкидцы по обыкновению вскочили по звонку с постелей, второклассник Андронов сделал печальное открытие.

– Ребята, у меня сапоги тиснули, – скорбно проскулил он, болтая босыми ногами.

Спальня загудела.

– Врешь!

– Сам заначил!

За чаем Викниксор грозил и стыдил ребят, а потом вдруг обратился к старшим:

– Вот первое боевое крещение Юнкома. Юнкомцы – это сознательные, передовые ученики. Сейчас вы и должны доказать свою сознательность. Я не буду искать преступника. Вы сами найдете его и сами его осудите, а чтобы я знал о том, что долг свой вы выполнили, представьте мне украденные сапоги.

Юнкомцы встревожились, но, обсудив, согласились с предложением Викниксора. Хочешь не хочешь, а надо было бороться с воровством.

Сперва попробовали воздействовать на массы сознательностью, но Шкида дала Юнкому отпор – не потому, что поддерживала воров, а просто невзлюбила юнкомцев, считая их выскочками и подлизами. Тем более что нашлись подстрекатели в лице Цыгана, которого юнкомцы обошли при создании организации, и новичка – силача Долгорукого.

Оба они подружились и теперь вместе решили показать Юнкому

свою силу. Цыган ехидно наблюдал за тщетными стараниями юнкомцев убедить ребят искать вора и посмеивался. Попытка организовать ребят, вовлечь их в организацию, юнкомцам не удалась, однако они решили добиться своего.

– Что же делать? – уныло бурчал Янкель.

– Как что? Будем сами искать, – загорячился Джапаридзе, только что вступивший в Юнком и теперь решивший проявить себя.

Дзе поддержал и Воробей, сразу же вдохновившийся идеей сыска.

– Факт, будем сами искать. Все печки обыщем, а найдем.

Делать ничего не оставалось, и ребята бросились на поиски.

Начали с верхнего этажа. Неистовавшая пара особенно старалась.

– Посмотри в отдушину, – деловито говорил Воробышек.

Дзе залезал рукой, долго шарил и вынимал вместо сапог груду сажи.

Тем временем отношение школы к юнкомцам все ухудшалось. Кто-то перелицевал слово «ячейка» в «ищейка», и несчастных «сознательных», лазивших по печкам, дразнили ищейками. Однако к вечеру сапоги нашлись. Нашли их внизу в камине. После ужина ребята собрались в помещении Юнкома и совещались.

– Плохо дело.

– Да, большинство против.

– Надо, братцы, найти способ завоевать и перетянуть массы на свою сторону.

Вдруг раздался стук в дверь. Японец, предусмотрительно заперший дверь на ключ, подошел и, взявшись за ручку, спросил:

– Кто там?

– Открой! – послышался голос Цыгана.

Япошка нерешительно оглянулся на ребят.

– Не открывай! – рассвирепел Янкель.

– Он нас, паскуда, травил сегодня. Скажи ему, что не желаем с ним разговаривать.

– Правильно! – поддержали и остальные, но Цыган стучался и злобно кричал. Потом он ушел, а минуту спустя вернулся с Долгоруким. Оба начали изо всех сил ломиться в дверь.

– Открывай, сволочи, а то изобьем всех! – кричал разъяренный Цыган, но Юнком твердо решил выстоять осаду. Вся ячейка дружно уперлась в дверь и стойко выдерживала натиск. Наконец, видя бесполезность борьбы, Цыган отступил, а затем и совсем ушел.

Джапаридзе первый облегченно вздохнул.

– Ну и дела! Надо что-нибудь предпринять.

– Есть, – оживился Пыльников.

– Что есть?

– Придумал!..

– Да что ты придумал?

– Создадим юнкомскую читальню для всех ребят.

– Идея!

– Книги наскребем ото всех понемногу.

Идея вдохновила ячейку, и все работали со старанием. Неделю спустя, вернувшись из отпуска, Янкель притащил около пуда старых журналов, которые он собирал еще с дошкидских времен. Пантелеев

принес почти такую же по весу пачку книг самого разнообразного характера, начиная с детских сказок и кончая Плутархом и другими историческими трудами. Все это тщательно рассортировали и, прибавив несколько личных книг Финкельштейна, Пыльникова и Японца, разложили на большом столе. А за вечерним чаем Янкель встал и, обращаясь к ребятам, пригласил желающих провести время за полезным чтением. Комната Юнкома, как брюхо голодного, проглатывала одного за другим воспитанников. Скоро все места были заняты. Юнкомская читальня понравилась многим. Тут стояла мягкая мебель и чувствовался не только уют, но и комфорт, который так стремились создать устроители. Тут и там слышались разговоры:

– Неплохо.

– Что неплохо?

– Юнкомцы-то, я говорю, устроились.

– Да. И почитать есть что.

Журналы и книги читались бойко, нарасхват, и скоро читальню полюбили. Правление Юнкома, назвавшее себя Цека, уже задумывалось о расширении работы. Скоро стал расти и коллектив ячейки. Приходили записываться не только из третьего, но из второго и даже из первого отделения. Пора было браться за серьезную работу, и тогда было созвано большое открытое собрание ячейки, на котором присутствовало семнадцать членов и кандидатов «Юного коммунара».

На этом собрании был окончательно утвержден Центральный комитет, вернее, президиум, в который вошли старейшие члены и устроители – Япошка, Пантелеев, Пыльников, Кобчик и Янкель. Тут же

все члены были разбиты на две группы слушателей политграмоты – младшую и старшую. Руководом для обеих групп остался Японец. Потом кто-то внес новое предложение: Юнком должен взять на себя и трудовое воспитание шкидцев. Было решено организовать трудовые субботники: по переноске дров, очистке панелей, уборке мусора, пилке дров и т.д. Предложение приняли единогласно и в первую же субботу его осуществили, причем к работе привлекли и беспартийных ребят.

Работали ребята не за страх, а за совесть, только оппозиция по-прежнему ехидно подсмеивалась. Ввиду большой популярности Юнкома выступать открыто она не решалась, но все же старалась хоть чем-нибудь уязвить юнкомцев. Ярых оппозиционеров было только трое: Цыган, Долгорукий и Бессовестин, давно уже прозванный Бессовестным, но Юнком не боялся их. Он окреп и качественно и количественно.

– А ну, братва, поддай! – покрикивал Джапаридзе, пыжась над тяжелым бревном, и братва поддавала, и бревна исчезали в сарае. Субботник прошел с подъемом, и это еще больше подхлестнуло ребят.

Солнечный июль катился цветными днями, но юнкомцам некогда было упиваться солнцем. Работа захватила крепко и надолго. Юнком разросся. Один за другим вырастали новые кружки. Появился кружок рисования, за ним литературный, политический; кроме того, еженедельно читалась устная газета. Но ярче всего расцвел Юнком, когда в Шкиду пришел новый педагог и воспитатель Дмитрий Петрович Тюленчук. Сперва его ребята не приняли, показалось, что он строг и сух. Кроме того, он был хромой, а для жестоких питомцев это

давало еще больше поводов смеяться над ним.

На первых порах за танцующую походку его прозвали «Рубль двадцать», но потом, когда пригляделись ближе и полюбили его, не называли его иначе как дядя Дима.

Тюленчук был украинец, тихий и чуть сентиментальный. Он любил свою родину и свой предмет – русский язык. В работе Юнкома он принял самое деятельное участие, и в скором времени литкружок Юнкома сделался наиболее мощным из всех кружков. Кружковцы сперва вели работу замкнутую, втихомолку, а когда окрепли и спаялись, вынесли ее напоказ всей школе.

Литкружок стал устраивать регулярные собрания, на которых члены кружка зачитывали свои произведения. Стали выходить литературные альманахи. За альманахами появились литературные суды над героями классических произведений, а в довершение всего литгруппа Юнкома открыла издательство и дала кружку название «Зеленое кольцо».

«Зеленое кольцо» – это не просто красивые слова, это аллегория. Содружество – кольцо молодых, зеленых литераторов. И тут осуществилась мечта Японца о хорошем литературном журнале.

«Зеленое кольцо» предприняло издание толстого литературно-художественного ежемесячника «Аргонавты». А через некоторое время вышел и первый выпуск библиотечки «Зеленое кольцо» с поэмой Пантелеева о блокаде и голоде.

«Лондон – Чикаго
Без остановок» –

Четок и звонок

Клич реклам…

Так начиналась эта поэма, носившая название «Мы им». За этим выпуском последовали и другие…

Юнком твердо стал на рельсы. Оживилась комната Юнкома. Кружки занимались одновременно в четырех углах, а посередине, за столом, уткнувшись в книги, сидели любители чтения. И, как тогда, в темную ночь, в ночь рождения подпольной коммунистической организации, слышались обрывки речи, но уже не придушенные и тихие, а звонкие и свободные:

– Второй конгресс Коминтерна… Двадцатый год.. Тридцать семь стран…

И слушатели, затаив дыхание, внимательно вслушивались в слова лектора.

– Хорошо, – говорил Пантелееву размякавший в такие минуты Янкель, совсем недавно сделавшийся его сламщиком.

– Хорошо, – подтверждал Ленька, оглядывая чистенькую веселую комнатку.

– Коминтерн… Условия вступающим партиям… Разложения не должно быть… Пропаганда…

Бьются новые слова и глубоко западают в мозг юнкомцев. Густо алеет красное знамя школы, поставленное в угол, покрытое чехлом, и подмигивает весело желтенький подсолнух с двумя буквами «ШД» – герб республики Шкид.

Содом и Гоморра

Викниксор уехал в Москву на какой-то съезд работников соцвоса. Управление республикой перешло к Эланлюм. Хотя она и была человеком с сильным характером, но все же она была женщиной. Шкидцы сразу же это поняли, и поняли по-своему. Они забузили. Женщина, по их мнению, была существом куда более безвольным, чем мужчина, да еще такой мужчина, как Викниксор. И этого было достаточно, чтобы Шкида закуролесила.

Сначала особой бузы не было, просто расхлябалась дисциплина: позже ложились спать, опаздывали в столовую и на уроки, чаще грубили воспитателям. Но вскоре нашлись ребята, которые поняли, что из положения можно извлечь выгоду. Коноводом оказался недавно пришедший в Шкиду Сивер Долгорукий…

Происхождения он был, по шкидским масштабам, высокого – сын артиста, а внешности самой грубой, почему и получил в Шкиде прозвище Гужбан.

Гужбан родился в интеллигентной семье – отец, мать и сестра его, как сказано выше, были артистами. Привыкнув к свободной жизни богемы, родители отдали сына с самых малых лет в приют для детей артистов. Там Сивер пробыл до девятилетнего возраста и уже успел показать свою натуру. В «артистическом» приюте он воровал, хулиганил. Его перевели в Царское Село, в приют классом ниже. Там он показал себя вовсю, воровал уже запоем: у начальства, у прислуги и даже у товарищей. Учился в Царскосельской гимназии, но учиться не любил, лодырничал и притом проявил воровские способности. Из

первого же класса его выгнали. Вскоре и из приюта выгнали – перевели в другой приют, для дефективных…

Случилось это уже после революции. К этому времени Сивер Долгорукий успел навеки потерять отца, мать и сестру. Отец умер, а мать и сестра уехали неизвестно куда, забыв о нем, – может быть, в горячке, а может быть, и намеренно. Долгорукий пошел по дефективным приютам, из каждого вылетал за воровство, в некоторых как будто остепенялся, но, не выдержав и проворовавшись, шел дальше. Побывал в лавре и в конце концов каким-то образом попал в Шкиду. Сюда пришел он с репутацией «безнадежного», но Викниксор принял его, так как не считал, что можно говорить о безнадежности парня, которому только-только исполнилось пятнадцать лет. Впрочем, возраст Долгорукого всегда и для всех оставался загадкой. Говорил он, что ему пятнадцать лет, а по виду казалось не меньше восемнадцати. Проверить же было невозможно – метрики Долгорукого были утеряны, так что весьма вероятно, что в летах он привирал, – может быть, для того, чтобы оттянуть срок подсудности. Во всяком случае, он пришел с очень плохой славой, сразу же в Шкиде начал бузить, воровать, а тут подвернулось «безвластие», и он полностью показал свою натуру.

* * *

Гужбан был в сламе с Цыганом. Цыган, сам будучи парнем развитым, любил дружить с ребятами младших классов, и притом очень часто с отъявленными бузотерами. Может быть, рассчитывал

уберечь их от окончательной порчи, хотя и сам он в моральном отношении не был особенно устойчив. Гужбан был хитрым и в то же время сильным. Только перед ним стушевывался Цыган. Долгорукий сумел подчинить его своей воле.

Однажды после уроков Гужбан зашел в четвертое отделение и позвал Цыгана:

– Идем, мне надо с тобой поговорить.

Цыган встал и вышел из класса. Они прошли в верхний зал и уселись на подоконник.

– В чем дело? – спросил Цыган.

Гужбан осмотрелся вокруг и, прищелкнув языком, таинственно пробасил:

– Дело… Заработать можно.

– На чем?

Гужбан еще раз предусмотрительно оглянулся.

– Кофе… – зашептал он. – Голый барин бачил… Пеповский кофе… на дворе. Там мешок стоит. Голый с Козлом дырку проколупали, фунта два в карманах унесли и чухонке за двадцать лимонов боданули… Слыхал?

– Слыхал… Ну так что же?

Гужбан нагнулся к самому уху Громоносцева.

– Кофе-то, он – дорогой…

– Ну так что ж? – повторил Цыган.

– В мешке небось на целый миллиард его!..

Цыган вздрогнул, потом побледнел.

– Понимаю, – прошептал он. – Но я не хочу, честное слово, Гужбан, я этого больше не хочу…

– Дурак. Счастье в рожу прет, а он – «не хочу».

– Засыплемся ведь…

– Ни псула. В том-то и дело, что обделаем так, что и следа не оставим. Уж поверь.

Цыган стоял, облокотившись на подоконник, кусая губы и бегая взором по полу.

– Когда же? – спросил он.

– Ночью. Тут на арапа нельзя взять, надо с хитростью.

Цыган уже согласился, а согласившись, вошел в азарт.

– Кто да кто? – проговорил он. – Вдвоем неловко, надо шайкой. Голый и Козел уже в курсе, я думаю – их взять в сламу.

– Идет.

Сламщики отыскали Старолинского и первоклассника Козла. Объяснив без обиняков сущность дела, они сразу же встретили согласие.

Только Голый барин слегка сопротивлялся, как до этого сопротивлялся Цыган, но и он, по своему безволию, уже через полминуты вошел в шайку.

Товарищи тут же распределили роли. Цыган и Гужбан делают дело, другие два – зекают.

План похищения кофе разработали подробно, над этим долго размышляли в разрушенном сарае на заднем дворе.

* * *

В большой школьной спальне было тихо. Изредка поскрипывала дверца электрического вентилятора да храпели воспитанники, каждый по-своему – кто с присвистом, кто хрипло, кто нежно и ровно. Угольная лампочка, застыв, не мигала…

За стеной, в квартире Эланлюм, саксонские куранты пробили два часа. В тот же момент в разных углах спальни четыре головы приподнялись над подушками и прислушались. Остальные ребята лежали не двигаясь и храпели, как прежде. Тогда четыре человека, неслышно спрыгнув на пол, крадучись пробрались к дверям и вышли в коридор.

– Вниз, – шепнул Гужбан.

Сошли по парадной лестнице вниз, к запасному выходу из швейцарской. Но двери, обычно закрываемые лишь на засов, были теперь заперты на ключ.

– Чертова бабушка! – выругался Цыган.

– Ни хрена, – ответил Гужбан. – Хряем наверх, через выходную дверь.

– А ключ?

Гужбан не задумывался.

– Хряемте наверх. Подкупим дежурного и баста… Когда придем, говорите, что в уборную шли, завернули покурить.

Но хитрости не потребовалось. На кухне горел свет, тараканы бегали по выложенным кафелем стенам, и мерно тикали часы. Дежурный Воробей сидел у стола, положив голову на руки. Гужбан

один прошел на кухню и, подойдя на цыпочках к Воробью, заглянул ему в лицо… Воробей спал. Гужбан тихо открыл ящик стола и, вынув большой, надетый на проволочное кольцо ключ, так же осторожно закрыл ящик и вышел из кухни…

Осталось открыть выходную дверь. Это было нетрудно. Четыре парня спустились по лестнице во двор.

Ночь была жаркая. Пахло гнилым деревом и землей. В шкидских окнах было темно. Лишь наверху в мансарде, где жил Алникпоп, теплилась мигающим огоньком керосиновая горелка. Где-то на улице проехала извозчичья пролетка, гулко отщелкали подковы по мостовой, и снова замерла ночь.

– Тссс… – прошипел Гужбан, и видно было, как в темноте блеснули стиснутые белые зубы.

Крадучись по стене, прошли к дверям, ведущим в магазин ПЕПО. У железных дверей стоял, как ненужная вещь, мешок. Цыган нагнулся и прочел при свете фонаря:

– «Бритиш… ост-инд-кофе». Кофе! – чуть не закричал он. – И верно – кофе, елки-палки!

– Тише ты, цыганская морда! – прошипел Долгорукий. – Живо! Барин, Козел, на стрему!.. Голый на забор, Козел к лестнице!

Сам он схватил мешок с одного конца. Цыган впился пальцами в другой. С тяжелой пятипудовой ношей они побежали к забору.

За забором находился завод огнетушителей, отделяемый от улицы полуразрушенным одноэтажным зданием, бывшим когда-то заводским складом.

– Лезь на забор! – приказал Цыгану Гужбан. – И ты, Голый!

Громоносцев и Старолинский взобрались на невысокий деревянный забор, утыканный острыми гвоздями. Держаться на этих гвоздях было нелегко. Гужбан напряг мускулы и, подняв мешок, подал его товарищам.

– Держите, затыки, – прохрипел он. – Осторожно!..

Потом залез сам на забор и, прислушавшись, скомандовал:

– Бросай!

Тяжелая туша мешка ударилась о груду угольного щебня. За мешком спрыгнуло на землю три человека. Они минуту сидели молча, ощупывая продранные штаны, потом схватили мешок и поволокли его в развалины склада. Там зарыли мешок, засыпали щебнем и с теми же предосторожностями отправились в обратный путь.

Воробей все еще крепко спал, поэтому положить ключ в ящик стола было делом мгновения. Не замеченные никем, прошли в спальню, разделись и заснули.

Продать кофе взялся Гужбан, имевший на воле связь со скупщиками краденого.

* * *

– Пейте, товарищи, пейте, растыки грешные!

Пили, плясали, пели…

Трещали половицы, трещали головы, в ушах трещало, шабашом кружило в глазах.

– Пейте! – кричал Гужбан. – Пейте, браточки!..

Сидел Гужбан на березовом полене, суковатом, с обтертой корой. Цыган развалился на полу в позе загулявшего в волжских просторах Стеньки Разина. Тут же были Козел, Барин, Купец, Бессовестный, Кальмот, Курочка и два юнкомца – два юнкомца, поддавшиеся искушению, подкупленные юнкомцы – Пантелеев и Янкель.

Справляли успех дела.

Гужбан загнал кофе за восемьсот лимонов, а восемьсот лимонов и в те дни были суммой немалой, тем более в Шкиде, сидевшей на хлебе – фунтовом пайке, на пшенке и тюленьем жире.

Деньги поделили не поровну. Гужбан взял триста лимонов, Цыган двести, а Голому и Козлу по полтораста отмерили. А в честь успеха дела задали кутеж, кутеж, по шкидским масштабам, необыкновенный.

Дело не раскрылось совсем. В школе о нем не узнали. Пеповцы решили, должно быть, что кофе украли налетчики с воли, а заглянуть наверх не додумались.

А шайка, заполучив большие деньги, не зная, куда их деть, кутила…

– Пейте, задрыги!

Ящики пива на полу, четверть самогона на столе, сделанном из поленьев, колбаса, конфеты, бисквиты, шоколад…

В комнате ломаного флигеля, в комнате, заложенной дровами, – кутеж…

– Пей!

Многие пили впервые…

Пили и блевали тут же у поленницы – рядом с шоколадом и

бисквитами «Альберт»…

– Спой, голубчик, – обнимал Гужбан Бессовестного, – Володька, черт, спой, прошу тебя… Песен хочу!

Пел Бессовестный голосом мягким и красивым:

Позарастали стежки-дорожки,

Где проходили милого ножки,

Позарастали мохом-травою,

Где мы гуляли, милый, с тобою.

Янкель и Пантелеев – в углу. Сидели тихо, не шевелясь. Хмель расползался по телу, сердце стучало от хмеля. От хмеля ли только? От стыда стучало сердце и ныло.

«Юнком, коммунары… Продались… Эх, жисть-жестянка!..»

Выпив же самогона, повеселели. Стыд прошел, хмель же не проходил… Пели, обнявшись, деланным басом Пантелеев и природным тенором Янкель:

На пятнадцать лимонов устрою дебош,

Эй, Гужбан, пива даешь!

Купец, надрызгавшись, валялся на полу, сгребал Старолинского, щекотал.

– Голенький, дай лимончик.

Давал ему Барин лимончики. Жалко, что ли, когда их в кармане сто штук!..

Звенели от пляски остатки оконных стекол, и текло пиво, смешиваясь с блевотиной, под поленницу березовую.

Идет мой милый с города пьяный,

Стук-стук в окошко, я, твой коханый.

С кровати встала, дверь отворила,

Поцеловала, спать положила

Пел Бессовестный, обнимал Бессовестного Гужбан – сын артиста, – смеялся и плакал.

– Володька… Пой! Пой, растыка! Талант сжигаешь… Хо-хо-аааа!..

Потом обнимал Цыгана, целовал, шептал:

– Морда цыганская, дружище!.. У меня отец и мать сволочи, один ты друг. А я съехал, скатился к чертям…

Пили, пели, плясали…

Потом всей компанией, босой, рваной и пьяной, пошли гулять… По улице шли – смеялись, кричали, ругались, а Бессовестный шел наклонив голову и по просьбе Гужбана пел:

– Не ходи, милый, с городу пьяный,

Тебя зачалит любой легавый.

– Милая Дуся, я не боюся,

Если зачалят, я откуплюся.

У Калинкина моста стоял автомобиль, дрянненький фордовский автомобиль, тонконогий, похожий на барского мальчика, короткоштанного, голоколенного.

– Мотор! – закричал Гужбан. – Мотор! В жисть не ездил на моторе.

– Сколько до Невского? – обратился он к шоферу.

Шофер – латыш или немец – поглядел с удивлением и ужасом на босых, лохматых парней и крикнул:

– Пошел потальше, хуликан!..

– Сколько? – рассвирепев, прокричал Гужбан, выхватывая из кармана пачку лимонов.

Шофер торопливо осмотрелся по сторонам, открыл дверцу автомобиля.

– Сатись… Пятьдесят лимоноф…

– Лезь, шпана! – закричал не задумываясь Гужбан.

Полезли босые в кожаную коляску автомобиля фордовского. Уселись. Ехали недолго, по Фонтанке. На Невском шофер дверцу отворил:

– Фылезай.

Вылезли, бродили по Невскому…

Ели мороженое с безвкусными вафлями (на вафлях надписи – «Коля», «Валя», «Дуня»), ели яблоки, курили «Трехсотый «Зефир» и ругались с прохожими.

Потом пошли оравой в кино. Фильм страшный – «Таинственная рука, или Кровавое кольцо» с Пирль Уайт в главной роли.

Смотрели, лузгали семечки, сосали ириски и отрыгали выпитым за день самогоном и пивом.

Домой в школу возвращались поздно, за полночь… Заспанный Мефтахудын открывал ворота, ругался:

– Сволочи, секим башка… Дождетесь Виктыр Николаича.

Ночной воспитатель записал в «Летопись»:

> «Старолинский, Офенбах, Козлов, Бессовестин, Пантелеев, Черных и Курочкин поздно возвратились с прогулки в школу, а воспитанники Долгорукий и

Громоносцев не явились совсем».

Гужбан и Цыган в школе не ночевали, они ночевали на Лиговке…

* * *

Янкель и Пантелеев стояли опустив головы, не смотрели в глаза. Цекисты, сгрудившись у стола, дышали ровно и впивались взорами в обвиняемых…

Рассуждали:

– Сами признались. Снисхождение требуется.

– Факт. Порицание вынесем, без огласки.

И в сторону двух:

– Смотрите!..

Янкель и Ленька взглянули в глаза Японцу.

– Япошка!.. Честное слово… Сволочи мы!..

* * *

У Гужбана деньги вышли скоро… Казалось только, что трудно истратить восемьсот миллионов, а поглядишь, в день прокутил половину, там еще – и ша! – садись на колун. А сидеть на колуне – с махрой, с фунтяшником хлеба – после шоколада, кино, ветчины вестфальской и автомобиля – дело нелегкое.

Гужбан задумался о новом. Новое скоро придумал и осуществил.

Темной ночью эта же компания взломала склад ПЕПО, что помещался на шкидском же дворе. Сломали филенки дверные,

пролезли, вынесли ящик папирос «Осман», филенки забили.

Снова кутили.

На полу, в коридорах, классах и спальнях школы – всюду валялись окурки с золотым ободком, «Осман» курила вся школа, и на колуне никто не сидел: щедрым себя показал Гужбан с миллиарда.

Случилось еще – ушли в отпуск лучшие халдеи – Косталмед и Алникпоп. Эланлюм растерялась совсем, уже не могла вести управление, сдерживать дисциплиной Содом и Гоморру…

Пошло безудержное воровство. Крали полотенца, одеяла, ботинки.

Юнком пытался бороться, но при первой же попытке подручные Гужбана избили Финкельштейна и пригрозили Пантелееву и Янкелю рассказать всей Шкиде про кофе и Пирль Уайт.

Как-то пришел к Пантелееву Голый барин. Дружен был он с Пантелеевым, любил его и говорил по-человечески.

– Боюсь я, Ленька, – сказал он. – Наши налет на «Скороход» готовят, надо сторожа убить… Ей-богу… Мне убивать…

Бледнел гимназистик Голенький, рассказывая.

– Мне. Да я… После придет в столовую Викниксор да скажет: «Кто убил?» – так я бы не вытерпел, истерика бы со мной случилась, закричал бы…

Голый плакал грязными слезами, морщил лицо, как котенок…

– Ладно, – утешал Пантелеев, – не пропал ты еще… Вылезешь…

А раз сказал:

– Записывайся в Юнком.

Удивился Голый, не поверил.

– А разве примут?

– Попробуем.

Свел Ленька Барина на юнкомское собрание, сказал:

– Вот, Старолинский хочет записаться в Юнком. Правда, он набузил тут, но раскаивается, и, кроме того, у нас не комсомол, организация своя, дефективная, и требования свои.

Приняли в кандидаты. Стаж кандидатский назначили приличный и обязали порвать с Гужбаном.

Но Гужбан не остыл. Сделав дело, он принимался за другое. Покончив с ПЕПО, вывез стекла из аптекарского магазина, срезал в школьных уборных фановые свинцовые трубы. Однажды ночью пропали в Шкиде все лампочки электрические – осрамовские, светлановские и дивизорные – длинные, как снаряды трехдюймового орудия.

Зараза распространялась по всей Шкиде. Рынок Покровский, уличные торговки беспатентные трепетали от дерзких мальчишеских налетов.

Это в те дни пела обводненская шпана песню:

С Достоевского ухрял
И по лавочкам шманал…
На Английском у Покровки
Стоят бабы, две торговки,
И ругают напропад
Достоевских всех ребят,

С Достоевской подлеца –

Ламца-дрица а-ца-ца…

Это в те дни школа, сделав, казалось, громадный путь, отступила назад…

Первый выпуск

Волком выла за окном ветреная ночь, тарахтели на скрепах колеса, слабо над дверью мигала свеча в фонаре. Рядом в соседнем купе – за стеной лишь – кто-то без умолку пел:

Выла вьюга, выла, выла,

Не было огня-а-а,

Когда мать роди-ила

Бедново миня…

Пел без умолку, долго и нудно; и поздно, лишь когда в Твери стояли – паровоз пить ушел, – смолк: заснул, должно быть… За окном завывала на все голоса ветреная ночь, а в купе храпели – студент с завернутыми в обмотки ногами, дама в потрепанном трауре и уфимский татарин с женой. Храпели все, а татарин вдобавок присвистывал носом и во сне вздыхал.

Викниксору спать не хотелось. Днем он немного поспал, а сейчас сидел не двигаясь в углу, в полумраке, и, прикрывшись от фонарных лучей, думал…

Мысли ползли неровные, бессвязные, тянулись туда, в ту сторону, куда вертелись колеса вагонов, – к Питеру, к Шкиде.

За месяц съезда еще больше полюбил Викниксор Шкиду, понял,

что Шкида – его дитя, за которым он хочет и любит ходить. Что-то там? Хорошо ли все, не случилось ли чего? Знает Викниксор, что все может случиться: Шкида – ребенок-урод, положиться на него трудно. А сейчас и момент опасный выдался: много «необделанных», новых дефективников пришло перед самым Викниксоровым отъездом…

– Что-то там?..

Думал Викниксор… А потом задремал. Снились – Минин на Красной площади, «Летопись», Эланлюм, ребята в школьной столовой за чаем, вывеска на Мясницкой – «Главчай», докладчик бритый, с усами вниз, на съезде соцвоса и Шкида опять – Японец с гербом-подсолнухом в руках, Юнком…

Потом смешалось все. Вывеска на Мясницкой попала в «Летопись», «Летописью» размахивал бритый докладчик соцвоса, в школьную столовую вошел каменный Минин… Заснул Викниксор.

Разбудил студент:

– Вставайте, товарищ… Питер.

Вставать не хотелось. Зевая, спустил ноги, поднял свалившееся на пол пальто…

Когда вышел на площадь, – радость забилась в груди. Теплым, родным показалось все – питерские извозчики, газетчики, носильщики. И даже Александр III с «венцом посмертного бесславья» показался красавцем.

Над Петроградом встало утро.

Было не жарко. Викниксор хотел сесть в трамвай, но трамвай долго не шел, и он решил идти пешком. Снял пальто и пошел по

Лиговке, по Обводному к школе. Пуще прежнего беспокоил вопрос: что-то там?

На Обводном, у электрической станции, катали возили по сходням на баржу тачки с углем. Викниксор постоял, посмотрел, как черный уголь, падая в железное брюхо баржи, сверкал хрустальными осколками, посмотрел на воду, блестевшую накипью нефти, потом вспомнил – что-то там? – и зашагал быстрее.

Солнце упрямо лезло вверх, было уже жарко, золотая сковородка стояла теперь у Ново-Девичьего монастыря.

* * *

Эланлюм сидела, Викниксор стоял, хмурился, слушал. В глазах его уже не было улыбки.

– Ах, Виктор Николаевич, я из сил выбилась, я ничего не могла сделать, я устала…

Викниксор стоял, облокотившись на шифоньерку. Молчал. Слушал. Эланлюм рассказывала:

– Этот Долгорукий… Он неисправим, он рецидивист, он страшный…

Викниксор молчал. В глазах его улыбка становилась растерянной, грустной, почти отчаянной.

Долго потом сидел у себя в кабинете за массивным столом и, прикрыв абажур, думал.

«…Долгорукий безнадежен?.. Не может быть, что в пятнадцать лет мальчик безнадежен… Что-то не использовано, какое-то средство

забыто…»

Открыл ящик стола, вынул папку коричневую с надписью: «Характеристики вков».

Отыскал и отложил одну.

…Сивер Долгорукий… Вор. Воровал в приюте для детей артистов, воровал у товарищей… Детдом №18… Воровал… Детскосельская гимназия. Воровал, выгнан… Учился плохо… Институт для дефективных подростков… Воровство, побег… Лавра…

А все-таки что-то еще не использовано. Что же?!

И вот нашел, вспомнил забытое. Трудовое воспитание!

Труд, физический труд… Он в мастерских и цехах фабричных, у домны, у плуга, у трактора «Фордзон». Он – лучший воспитатель на земле, он сможет сделать то, чего не смогли сделать люди с книгами…

К нему решил обратиться Викниксор за помощью, когда дело казалось уже безнадежным.

В тот же день, усталый, метался он из губоно в земотдел, из земотдела в профобр. Доказывал, убеждал, а убедив, возвращался в Шкиду и, поднимаясь по лестнице, напевал:

Путь наш длинен и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы выйти в люди.

За вечерним чаем Викниксор, хмурясь, вошел в столовую.

– Здравствуйте.

– Здрасти, Виктор Николаевич, – ответили глухим хором.

Сидели, ждали. Знали, что Викниксор что-нибудь скажет, а если

скажет, то нерадостное что-нибудь.

Молчали. Дули в кружки горячего чая, жевали хлеб. Маркс – портрет над столом волынян – впивался взором в мрачные зрачки Федора Достоевского. Ребята смотрели на Викниксора. Викниксор молчал. Пар туманом плыл над столами…

Наконец Викниксор сказал:

– Сегодня – общее собрание.

Кто-то вздохнул, кто-то спросил:

– Когда?

– Сейчас же… После чая.

Кончили чай, отделенные дежурные убрали посуду, смели хлебные крошки с обитых черной клеенкой столов. Викниксор поднялся, постучал пальцем по виску и заговорил, растягивая слова, временами повышая голос, временами опуская его до шепота:

– Ребята! Вы знаете, о чем я буду говорить, о чем я должен говорить, но чего не скажу. Вы знаете: за мое отсутствие в школе произошли вещи, никогда раньше не имевшие случая… Все, что случилось, зафиксировано в «Летописи»… Школа превратилась в притон воришек, в сборище опасного в социальном отношении элемента… Это только кажется, но это не так. Я верю, что школа осталась той же, подавляющее большинство вас изменилось к худшему лишь постольку, поскольку отошло от уровня… Но это пустяки. Это можно исправить. Виною всему группа…

Викниксор посмотрел в сторону Долгорукого. За Викниксором все взоры обратились в ту же сторону. Гужбан съежился и опустил глаза.

– …Группа, – повторил Викниксор, – группа негодяев, рецидивистов, атаманов… Такими я считаю…

Все насторожились. Создалась тишина, мрачная, тяжелая тишина.

– …Долгорукого, Громоносцева, Бессовестина. Их я считаю в условиях нашей школы неисправимыми. Единственное, что я мог для них придумать, это трудовое воспитание. Они переводятся в Сельскохозяйственный техникум, в Петергофский уезд. Я надеюсь, что там, в мирной обстановке сельского хозяйства, в постоянном физическом труде, они исправятся. Я надеюсь…

Слова Викниксора прервали дикие грудные всхлипы, крикливые стоны. Показалось, что ветер завыл в трубе и, хлопая вьюшками, рвется наружу…

Это рыдал Цыган. Рыдал, уткнувшись лицом в сложенные руки, дергал плечами. Рыдал первый раз в Шкиде. Потом закричал:

– Не хочу! Не хочу в сельский техникум… Учиться хочу… на профессора. На математический факультет хочу. А свиней пасти не желаю…

И снова рыдал, дергал плечами… Потом притих.

Викниксор подождал немного, прошелся из конца в конец столовой и продолжал:

– Громоносцев хочет учиться, но учиться он не может. Человек этот морально слаб. Из него выйдет негодяй, а образованный негодяй во сто раз хуже необразованного. Если труд его исправит, – он сможет вернуться к книгам. Поэтому, повторяю, лучшего выхода я не вижу. Дальше… Остальные должны быть наказаны, и за них мы возьмемся

своими силами. Вы должны сами выявить из своей среды воров. Для этой цели мы прибегнем – к остракизму…

Загудела столовая, зашумела, как лес осеннею ночью… Кто-то закричал:

– Долой!

Кто-то зашикал и криком же ответил:

– Правильно! Даешь остракизм!

Викниксор, любивший оригинальное, залез в глубокую древность, вытащил оттуда остракизм и сказал: «Шкидцы, вот вам мера социальной защиты, вот средство от воров, патент на которое я, к сожалению, взять не могу, так как он уже взят две с половиной тысячи лет тому назад в Афинах…»

* * *

Дежурный воспитатель Амебка нарезал шестьдесят листков бумаги и роздал их по столам.

– Каждый должен написать три фамилии, – сказал Викниксор, – фамилии тех, кого он считает наиболее опасными. Получивший более пяти листков переводится из школы в другое заведение, больше трех – получает пятый разряд и букву «В» (вор), получивший более одного листка переводится разрядом ниже того, в котором находится в настоящий момент. Пишите, но – смотрите, будьте справедливы, не сводите счетов с недругами, не вымещайте злобу на невиновных… Пишите!..

Столовая снова загудела и тотчас же погрузилась в молчание.

Медленно заходили карандаши по бумаге, заскрипел графит… Сидели, обдумывали, прятали, прикрывали рукой листки…

Написав, каждый сворачивал листок в трубочку и отдавал дежурному. Дежурные относили бумажные «остраконы» к воспитательскому столу и складывали их в припасенный для этой цели ящик. Наконец, когда в ящике скопилось ровно шестьдесят листков, Викниксор встал и заявил:

– Приступим к выяснению результатов. Выберите контролеров.

Контролерами избрали Курочку, Японца, Кобчика и Мамочку. Японец притащил из класса лист писчей бумаги и чернила и уселся рядом с Викниксором для подсчета голосов. Тогда Викниксор вытащил из ящика первый листок…

Снова тишина, жуткая и тяжелая.

Викниксор развернул листочек и прочел:

– «Громоносцев, Долгорукий, Устинович».

Развернул второй листок.

– «Долгорукий, Громоносцев, Федулов».

Развернул третий.

– «Долгорукий, Козлов, Петров».

Четвертую записку столовая встретила жутким смехом:

– «Боюсь писать – побьют».

Около двадцати листков оказались незаполненными, – вероятно, по той же причине.

Кончив чтение записок, Викниксор совместно с контролерами занялся подсчетом голосов. Результаты оказались такими: Долгорукий

– тридцать шесть, Громоносцев – тридцать, Козлов – двадцать шесть, Устинович – тринадцать, Бессовестин – семь… Старолинский получил три голоса. Купец – два. Янкель и Пантелеев – по одному.

Викниксор сообщил:

– В сельскохозяйственный техникум переводятся не три человека, а четыре. А именно – Долгорукий, Бессовестин, Громоносцев и Устинович. Козлов, как не подходящий по знаниям к техникуму, переводится на Тарасов или на Мытненку…

Козлов заплакал. «Тарасов» и «Мытненка» были распределители, откуда прямая дорога вела в лавру.

– Общее собрание закрыто, – объявил Викниксор.

Ребята поплелись из столовой.

Когда все вышли, за столом остался один Цыган. Он сидел, уткнувшись лицом в сложенные руки, и всхлипывал.

* * *

Через несколько дней состоялся «первый выпуск». Он прошел без помпы. За обедом Викниксор смягченным тоном сказал напутственную речь выпускникам. Все смирились с перспективой ухода из школы: Долгорукий – по привычке скитаться с места на место, Устинович – по врожденному хладнокровию, а Бессовестин был даже немного рад переводу в Сельскохозяйственный техникум, так как любил крестьянскую жизнь. Лишь один Громоносцев до конца оставался хмур, ни с кем не разговаривал, и часто слышали, как он по ночам плакал…

После обеда выпускники, распрощавшись с товарищами и

халдеями, отправились на Балтийский вокзал, к пятичасовому поезду на Нарву. Провожали их Янкель, Пантелеев, Японец и Дзе.

Шли по Петергофскому, потом свернули на Обводный. Выпускники, одетые в полученное из губоно «выпускное» – суконные пальто, брюки и гимнастерки, – несли на плечах мешки с бельем и прочим небогатым имуществом.

Громоносцев, окруженный товарищами по классу, шел позади.

– Что, Коля, неохота уходить? – спросил Янкель.

Цыган минуту молчал.

– Убегу! – воскликнул он вдруг глухим голосом. – Честное слово, убегу… Не могу.

– Полно, Цыганок, – ласково проговорил Японец. – Обживешься. Пиши чаще, и мы тебе будем писать. Конечно, уходить не хочется, все-таки три года пробыли вместе, но…

Дальше Японец не мог говорить – что-то застряло в горле.

Каждый старался утешить Цыгана, как мог.

На вокзале выпускников ожидал вернувшийся недавно из отпуска Косталмед. Он усадил их в вагон, вручил билеты и, простившись, ушел в школу.

Провожающие до звонка оставались в вагоне с выпускниками. Когда на перроне прозвенел второй звонок, товарищи переобнимались и перецеловались друг с другом. Громоносцев опять заплакал. Заплакали и Японец с Пантелеевым.

– Счастливо! – крикнул Янкель, выходя из вагона. – Пишите!..

– Будьте счастливы! – повторили другие.

Поезд тронулся. Изгнанники сидели молча. Говорить было не о чем, вспоминать о прошлом было страшно и больно, нового еще не было.

В купе было душно, пахло стеариновым нагаром и нафталином. Тарахтели на скрепах колеса, в окне плыли березы, и казалось, что не березы, а люди бежали, молодые резвые девушки в белых кружевных платьях.

Раскол в Цека

Уже час ночи. Утомившиеся за день шкидцы спят крепким и здоровым сном. В спальне тихо. Слышно только ровное дыхание спящих. В раскрытые окна врывается ночной ветерок и освежает комнату.

Все спят, только Ленька Пантелеев и Янкель, мечтательно уставившись в окно, шепотом разговаривают. Сламщикам не спится. Их кровати стоят как раз у окна, и прохладный воздух освежает и бодрит разгоряченные тела.

– Ну и погодка, – вздыхает Янкель.

– Да, погодка что надо, – отвечает Пантелеев.

Янкель минуту молчит и чешет голову, потом вдруг неожиданно говорит:

– Эх, Ленька! Сказать тебе? Задумал я одну штуку!..

– Какую?

– Ты только не смейся, тогда скажу.

– Чего же смеяться, – возмущается Пантелеев. – Что же мы – газве

не сламщики с тобой?

– Правда, – говорит Гришка. – Мы с тобой вроде как братья.

– Конечно, бгатья. Ну?

– Что ну?

– Какую штуку?

– Есть у меня, понимаешь, мечта одна, – тихо говорит Янкель, умиленно глядя на кусочек неба, виднеющийся из-за переплета окна. – Хочу я, брат, киноартистом сделаться.

Пантелеев вздрагивает и быстро поднимает голову над подушкой.

– И ты?

– Что и ты?

– И ты об этом мечтаешь?

– А разве и ты? – изумился Янкель, и Пантелеев смущенно признается:

– И я. Только я хочу режиссером быть. Артист из меня не получится. Я в Мензелинске пробовал… Дикция у меня неподходящая.

– А у меня какая? Подходящая? – интересуется Гришка, имеющий довольно смутное представление о том, что такое дикция и с чем ее кушают.

– У тебя – хорошая, – говорит Пантелеев. – Ты все буквы подряд произносишь. А я картавлю…

Даже в темноте видно, как покраснел Ленька. Янкелю делается жалко сламщика.

– Ничего, – говорит он, утешая друга, и, помолчав, великодушно

добавляет: – Зато я рисовать не могу. Я – дальтоник.

Это почище дикции. Пантелеев сражен. Минуту он молчит и соображает, потом спрашивает:

– Руки трясутся?

– Нет, руки не трясутся, а я в красках плохо разбираюсь. Не отличаю, где красная, где зеленая. А вообще, ты знаешь, это здорово, что у нас одна мечта с тобой.

– Еще бы, – соглашается Пантелеев. – Вдвоем легче будет. Ведь я, ты знаешь, давно уже думал: как выйду из Шкиды, – так сразу в Одессу на кинофабрику. Попрошусь хоть в ученики и буду учиться на режиссера.

– А меня возьмешь?

– Куда?

– В Одессу.

– Чудила. Я тебя не только в Одессу, я тебя на главную роль возьму.

– А какие ты фильмы ставить будешь?

– Ну, это мы подумаем еще. Революционные, конечно…

– Вроде «Красных дьяволят»?

– Хе! Получше еще даже.

Янкель уже загорелся.

– А ты знаешь, ведь это не так сложно все. Выйдем из Шкиды, получим выпускное и – айда на юг. Эх, даже подумать приятно!.. Солнце… пальмы там всякие… виноград… Черное море… Шиково заживем, Ленька, а?

У Янкеля, за всю жизнь не выезжавшего из Питера дальше Лигова и Петергофа, представление о юге самое радужное. Умудренный жизненным опытом Ленька несколько охлаждает его пыл.

– А деньги? – спрашивает он, иронически усмехаясь.

– Какие деньги?

– Как какие? А на что жить будем? Да и на дорогу… Ведь зайцами небось не поедем.

– А что? Разве трудно?

– Нет, с меня хватит, – говорит мрачным голосом Ленька.

Янкель задумывается, сраженный вескими аргументами сламщика. Он пристально смотрит в окно, за которым синеет ночное питерское небо, и вдруг радостно вскрикивает:

– Эврика!

– Ну?

– Деньги надо копить.

– Спасибо! Весьма вам благодарен. Очень остроумная идея.

– А что? Конечно, остроумная. Начнем копить сейчас же, с этой минуты. Глядишь, к выходу и накопим изрядную сумму.

Янкель приподнимается, стаскивает с табуретки свои штаны и деловито роется в карманах. Потом извлекает оттуда две бумажки и показывает сламщику.

– Вот. От слов перехожу к делу. Вношу первый вклад. У меня два лимона есть. Если и у тебя есть, – давай в общую кассу.

Пантелеев вносит в общую кассу три миллиона.

– Начало положено, – торжественно заявляет Янкель, засовывая

пять миллионов рублей в обшарпанный спичечный коробок.

Для пущей торжественности сламщики закрепляют свой союз крепким рукопожатием.

И долго еще шелестят в тишине приглушенные голоса, долго не могут заснуть сламщики и все говорят, строят планы и мечтают. Изредка в их речь врывается лай собаки, свист милиционера или пьяный шальной выкрик забулдыги, которого хмель завел в неизвестные ему края.

* * *

Все чаще и чаще замечали шкидцы, как уединяются и шепчутся между собой сламщики Янкель и Пантелеев. Сядут в углу в стороне от всех и долго о чем-то говорят, горячо спорят. Сперва не обращали внимания. Ведь сламщики все-таки, мало ли у людей общих дел. Но дальше стало хуже – парочка совсем одичала, отдалилась от коллектива, и дошло до того, что ни тот ни другой не являлись на заседание Цека.

В Цека было всего пять человек, и отсутствие почти половины цекистов, конечно, было замечено. Ребята возмутились и сделали сламщикам выговор, но те и к этому отнеслись совершенно равнодушно.

Все больше и больше отходили Янкель и Пантелеев от Юнкома. «Идея» захватила целиком обоих. Уже не раз Япончик напоминал Янкелю:

– Пора бы «Юнком» выпускать. Две недели газета не выходит. На

собрании взгреют.

Но Янкель выслушивал его рассеянно. Говорил, глядя куда-то в сторону:

– Ладно, сделаем как-нибудь.

Оба сламщика стали необычайно рассеянны и сварливы. Уже давно оба перестали ходить на занятия Юнкома, и по-прежнему их головы были заняты только одним: набрать денег к выходу, уехать на юг, на кинофабрику.

Вечерами сидели в уголке и мечтали.

А в Юнкоме тем временем росло недовольство, глухое, но грозное.

– Что же это? Долго будет так продолжаться?

– Работу подрывают.

– Недисциплинированные члены!

– А еще в Цека забрались!

Ячейка волновалась.

Однажды на общем собрании юнкомцев обсуждался вопрос о новых членах. Среди вновь вступавших было много недозревших, которым необходимо было присмотреться, прежде чем самим работать в Юнкоме. При обсуждении кандидатур большинство Юнкома высказалось в этом духе. Другая же сторона – Янкель, Пантелеев и примкнувший к ним Джапаридзе – яростно отстаивала противоположную линию.

– Вы неправы, товарищи, – горячился Гришка. – Вы неправы. Наша организация сама по себе несовершенна и не узаконена. Мы еще сами

незрелые.

– Как сказать. Может быть, Черных о себе говорит, – ядовито вставил Японец.

– Нет. Я не только о себе говорю, а говорю о всех. Мы незрелы, но все же развиты более остальных, и наша прямая задача – как можно больше вовлекать новых членов, пусть даже малоподготовленных, но желающих работать. И именно здесь, у нас, в организации, они будут шлифоваться.

– Кто же их будет отшлифовывать? – пискнул Финкельштейн ехидно.

Янкеля передернуло.

– Конечно, не Кобчик, социальные взгляды которого в первобытном состоянии, – отпарировал он. – Новых членов будет отшлифовывать среда и общее стремление к одной цели. Пример такой шлифовки у нас уже есть.

– Укажи! – крикнул кто-то из сидевших.

– И укажу, – разгорячился Янкель. Потом он обернулся к Пантелееву: – Ленька, расскажи про Старолинского.

Ленька поднялся, шмыгнул носом и проговорил:

– Факт. Старолинский отшлифовался. От долгоруковских похождений до Юнкома путь далекий. Однако вы все знаете, что этот путь он прошел хорошо. Взгляните на Старолинского – вот он сидит. Разве можно теперь поверить, что Старолинский тискал кофе? Нельзя. Старолинский сейчас у нас лучший член. О чем же говорить-то?

Вид смущенного Старолинского на минуту убедил всех в правоте

меньшинства. Однако выступившие вслед за тем Еонин и Пыльников с треском разрушили все доводы Янкеля и Пантелеева.

Собрание единодушно постановило:

> «Прием членов ограничить. Каждый вступающий вновь должен выдержать месяц испытательного срока, затем месяц кандидатуры с рекомендациями трех членов и наконец месяц учебной подготовки».

Огорченное провалом меньшинство голосовало против, а потом, взобравшись на подоконник, вытащило из карманов папироски и отказалось принимать дальнейшее участие в собрании.

– Это неправильно. Это же обессиливание ячейки, насильственный зажим, – горячился разнервничавшийся Янкель, злобно обкусывая кончик папиросы и сплевывая прямо на улицу. Дзе и Пантелеев поддакивали ему. После этого обсуждался вопрос об Октябрьском спектакле. Когда все высказались, Еонин сделал попытку примирить меньшинство.

– Эй вы, на окне! Как ваше мнение о проведении вечера?

– Мы воздерживаемся от мнений, – буркнул Пантелеев.

– И предпочитаете курить?

– Хотя бы так.

Японец взволновался, потом притворно равнодушно заявил:

– Между прочим, мне кажется, надо обдумать вопрос о курении в Юнкоме. И вообще стоит ли членам нашей организации курить?

– Ишь гусь, – злобно хихикнул Янкель. – Сам не куришь, так под нас подкапываешься. Номер не пройдет. Решайте не решайте, а курить

будем.

– Как решим, – протянул Японец.

Дальше Янкель не выдержал и вышел за дверь, за ним последовал и Пантелеев, а Дзе, минуту постояв в нерешительности, погасил о подошву окурок и сел за стол. На повестку дня был поставлен вопрос о курении. Большинством голосов постановили: в помещении Юнкома не курить.

* * *

– Не курить, значит! Ну что ж, ладно, не будем курить в Юнкоме, – посмеивался Пантелеев, читая протокол собрания, вывешенный на стене.

– Это нарочно. В пику нам. Японец свое влияние и силу показать хочет. Предостерегает нас, – бормотал Янкель.

Постановление разъярило обоих. Сламщики настолько разгорелись боевым задором, что даже забыли о своей идее.

– Надо бороться. Пусть они знают, что и мы имеем право говорить. Мы им покажем, что они неправы, – горячился Янкель.

– Правильно, – согласился Пантелеев. – Мы должны говорить. А говорить веско и обдуманно можно только через печатный орган, следовательно…

– Ну?

– Следовательно…

Янкель насторожился.

– Ты хочешь сказать: следовательно, нужно издавать орган, через

который мы можем говорить с Юнкомом?

– Да, друг мой, ты прав, – заключил Пантелеев, снисходительно улыбаясь.

Янкель задумался, усиленно почесывая ногтем переносицу, потом попробовал протестовать:

– А «Юнком» как? Ведь и «Юнком» я же издаю. Следовательно…

– Да, опять следовательно… Следовательно, нужно либо бросить его, либо совместить с новым изданием. Да чего ты беспокоишься? Совместишь. А новый орган нам необходим.

– Да, ты прав.

Вечером в углу, в стороне от класса, сидели оба и что-то яростно строчили.

Никто не обращал внимания на притихших сламщиков, но Японец, хорошо знавший характер обоих, уже забеспокоился, чувствуя, что готовится что-то недоброе. Он несколько раз пытался пронюхать, что замышляют оппозиционеры, но ничего не смог выпытать и стал ждать, предварительно уведомив о готовящемся своих сторонников.

– В случае если что особенное, – сразу по коммунистической тактике! С корнем вырвем разлагающий элемент.

– Ясно, – пискнул Финкельштейн.

– Правильно, – поддакнул Пыльников, а потом, сморщившись, нерешительно добавил: – Только жалко, Еончик, ребята дельные.

– Какие бы они ни были, но, если они мешают нам, мы должны их обезвредить, – сурово отрезал Еонин, и его маленькая фигурка дышала такой решимостью, что Пыльников, при всей своей симпатии

к парочке бузотеров, не в силах был протестовать.

А утром вышла в свет новая газета – «День». В передовице сообщалось о том, что газета выходит не регулярно, а по мере накопления материала, но что линия газеты будет строго выдержана. В газете каждый может выступать с обсуждением и критикой всех школьных мероприятий.

«Все могут писать и свободно высказываться на страницах нашей газеты. «День» будет следить за всем и все обсуждать», – громко повествовала передовица, а чуть пониже шла статья, содержание коей всколыхнуло весь Юнком. Статья содержала ряд резких выпадов против руководства Юнкома. Собственно, Юнкому был посвящен весь номер, за небольшим исключением, и даже карикатура высмеивала манию секретаря Юнкома писать протоколы. На рисунке был изображен Саша Пыльников, в одной руке держащий папироску, а в другой кипу протоколов и спрашивающий сам себя: «Что вреднее – курение табака или писание протоколов?»

Такой резкий выпад оппозиции возмутил Юнком и особенно Сашу – Бебэ, который чрезвычайно обиделся. Больше всего возмутило ячейку то, что под газетой стояло: «Редактор: Пантелеев, издатель: Черных». Это был открытый вызов.

Еще не было случая, чтобы члены Юнкома выступали против своего коллектива, и вдруг такая неожиданность. Решили созвать расширенный пленум. Ввиду важности вопроса пришлось отменить трудовой субботник. Предстояла горячая схватка.

– Смотрите, ребята, не сдавай! – волновался Японец, когда

собрались все выделенные делегаты.

– Мы идем за комсомолом. Мы должны решать по-большевистски. Либо за, либо против – и никаких гвоздей.

Уже пленум был в сборе. Собралось семь человек. Не было только Янкеля и Леньки. За ними послали, и минуту спустя оба они, насупившись, вошли в комнату и сели. Япончик открыл заседание и взял слово.

– Сегодня, товарищи, мы вынуждены были неожиданно для всех созвать совещание, поводом к которому послужил выход газеты «День» – газеты, которую вдруг, без согласования с нами, начали издавать наши же товарищи из Цека. Газета «День» выпущена с явной целью подорвать авторитет Юнкома. Положение создается очень опасное. Мы будем говорить прямо. «День», если не совсем, то наполовину, может разложить нашу организацию, так как, я еще раз говорю, против Юнкома выступают сами юнкомцы – члены Цека. Мы-то, конечно, знаем, что за члены Цека Черных и Пантелеев, мы-то помним их веселые оргии с Долгоруким, но массы этого не знают, и массы будут им верить, так как печать – самое убедительное средство борьбы, а Янкель и Пантелеев, мы должны признаться, самые талантливые шкидские журналисты.

Япончик на минуту остановился, наблюдая за действием своих слов, но тут же увидел безнадежность положения. Лесть его не подействовала. Сламщики, по-видимому, даже и не думали о раскаянии. Оба они сидели и нахально-дерзко оглядывали противников.

Тогда Япончик перешел к делу.

– Ребята, надо ставить вопрос ребром. Либо Черных и Пантелеев должны будут немедленно прекратить издание своей газеты и выпустить очередной номер «Юнкома», в котором публично признают свои ошибки, либо…

– Что – либо? – со зловещим хладнокровием спросил Янкель.

– Либо мы будем принуждены обнародовать прошлое членов Цека, снять их с постов и… если не совсем… то хоть на месяц исключать из Юнкома. Мы должны держать твердую дисциплину.

– Ну и держите себе, братишки! – истерично выкрикнул Янкель. – «День» мы не прекратим, наоборот, мы его сделаем ежедневным. Прощайте.

Дверь хрястнула за сламщиками. И тотчас Юнком поставил вопрос об исключении Янкеля и Пантелеева. Постановление провели и сламщиков исключили. Тут же была выбрана новая редколлегия, которой поручили экстренно выпустить номер «Юнкома» с опровержением. Воробья назначили издателем, Пыльникова – редактором. Едва разошелся пленум и опустел Юнком, новая редколлегия уже взялась готовить номер, и на другой день с грехом пополам «Юнком» вышел.

Две недели республика Шкид жила в лихорадке, наблюдая за борьбой двух течений. На стороне Юнкома был завоеванный ранее авторитет, на стороне сламщиков – техника, умелое направление газеты и симпатии тех ребят, которых Японец и его группа не пускали в Юнком.

Янкель и Пантелеев после выхода нового «Юнкома» развили бешеные темпы. «День» стал ежедневной газетой, а впоследствии к нему прибавился еще и вечерний выпуск.

Новый «Юнком» был слишком медлителен и слаб, чтобы бороться с газетой, вдруг сразу получившей такое распространение и популярность. Дела в ячейке шли все хуже. «День» медленно, но верно вдалбливал шкидцам, что линия Юнкома неправильная, а сам Юнком мог только на митингах парировать удары оппозиции, так как орган их не в силах был поспеть за органом сламщиков. Массы отходили от Юнкома, стали недоверчивы, и только читальня по вечерам помогала Юнкому бороться с Янкелем и Пантелеевым, но и та висела на волоске. Юнкомцам было хорошо известно, что три четверти всех книг в читальне принадлежит оппозиции и что рано или поздно читальню разорят.

И это случилось. Раз вечером в Юнком вошли Янкель и Пантелеев. Был самый разгар читального вечера.

Десятки шкидцев сидели за столами и рассматривали картинки в журналах и книгах. Янкель остановился у двери, а Пантелеев подошел к Японцу и с изысканной корректностью произнес:

– Разрешите взять наши книги?

Японец побледнел.

Он ждал этого давно, но теперь вдруг струсил. Разгром читальни отнимал последнюю возможность привлечь и удержать массы. Однако надо было отдать.

– Берите, – равнодушно бросил он, но Пыльников, стоявший

рядом, услышал в голосе Еонина необычайную для него дрожь.

– Берите, – повторил Японец.

Под хихиканье и насмешки над обанкротившимся руководством сламщики отбирали свои книги, но теперь их уже не интересовало падение и гибель Юнкома и брали они свое только потому, что для пополнения своего «южного фонда» решили загнать книги на барахолке.

Воевать сламщикам надоело. Они снова вспомнили свою идею и отвели в газете целую полосу под отдел «Кино», где помещали рецензии о фильмах и портреты известных киноартистов.

Юнком получил передышку и стал выправляться.

«Шкидино»

Какой-то ученый, не знаем, в шутку или серьезно, заявил, что им открыт новый микроб, cino, который, попадая в человеческий организм, заставляет человека страдать манией киноактерства.

По всей вероятности, вышеописанный микроб кино залетел в Шкиду и забрался в податливые организмы Янкеля и Пантелеева. Мания киношества, прекратившая было свое действие во время разлада в Цека, снова дала себя чувствовать…

В один из понедельников два старших класса школы ходили в кинематограф – в «Олимпию», что на Международном проспекте. Смотрели какой-то чепуховый американский боевик с традиционными ковбоями, драками, погонями и поцелуями. Янкель и Пантелеев вернулись из кино возбужденные.

– Эх, мать честная, – вздохнул Янкель, – так бы и поскакал через прерию с баден-паулькой на затылке и с маузером в руках.

– Да, – ответил Пантелеев, за последнее время переменивший желание стать режиссером на решение сделаться киноартистом. – Да. А я бы сейчас… знаешь… я бы хотел в павильонной ночной съемке пришивать из-за угла какого-нибудь маркиза.

– Очень уж мы долго идею свою осуществить не можем, – снова вздохнул Черных, – да и забыли о ней.

– Эх, Одесса-мама… А знаешь что? Не лучше ли нам в Баку поехать? Там Перестиани…

– Нет, он не в Баку. Он в Тифлисе. Впрочем, съездим и в Баку. И в Тифлис смотаемся. Погоди, вот скопим два червонца…

– А сейчас что? Не могу я, Янкель, ждать… Честное слово.

– Дурак. Нервный какой! Что же делать – без гамзы ведь далеко не уедешь. Здесь нам, что ли, фильмы ставить?

Ленька Пантелеев вдруг просиял.

– Идея! – вскричал он. – Почему бы нам не устроить свое кино?!

– Ты что, с ума сошел? – сочувственно полюбопытствовал Янкель.

– Нисколько. И тебе не советую с ума сходить, а лучше послушай…

– Слушаю, – сказал Янкель.

* * *

Во всех классах висели небольшие плакатики, написанные от руки акварельными красками:

ВНИМАНИЕ!!!

в пятницу в 8 часов

в белом зале

СОСТОИТСЯ ПРОСМОТР ФИЛЬМЫ

«ПУПКИН У РАЗБОЙНИКОВ»

1-я серия из цикла

«Приключения Антона Пупкина»

ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА ФИРМЫ

ШКИДКИНО

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Шкидцы недоумевали. Никто не знал, чья это выдумка, что это за «Шкидкино», все непонимающе переспрашивали:

– Шкидкино? Что за черт? Ты не знаешь?

– Не знаю. Витя, наверно, аппарат где-нибудь выкопал.

– Волшебный фонарь, должно быть.

– Не… Это юнкомцы туманные картины – анатомию всякую – показывать будут.

– Анатомию! Дурак! При чем же Пупкин и анатомия?

– Пупкин? Пупок…

– Ну и еще раз дурак!

– А я так думаю – все это для бузы сделано, издевается кто-нибудь, вот и все…

– Посмотрим.

До пятницы Шкида находилась в неведении. В пятницу вечером еще с семи часов в Белый зал потянулись шкидцы. Зал был полуосвещен. Сцену закрывал темный занавес, и за него до поры до времени никого не пускали. Когда кто-нибудь пытался приоткрыть занавес и заглянуть вглубь, сердитый голос Пантелеева, находившегося где-то за кулисами, тотчас окрикивал:

– Куда лезешь? Тегпенья нет подождать, что ли? Бгысь!

Ровно в восемь часов на авансцену за занавес вышел Янкель.

– Товарищи, – сказал он. – Прошу внимания. Сейчас вы увидите фильму «Пупкин у разбойников» – первую постановку объединенного треста «Шкидкино». Просьба соблюдать тишину, так как до сведения Викниксора не доведено, а он, как вам известно, находится в двадцати ярдах отсюда. Прошу подняться на сцену, где временно помещается наш кинотеатр.

Проговорив это, Янкель распахнул край занавеса. Шкидцы полезли на сцену. Там было совершенно темно. За кулисами слышались постукивания молотка и ругань Пантелеева.

– Что за буза? – прошептал кто-то. – Где же тут кинтель?

Кто-то выразил сомнение в реальности кино, кто-то заскулил:

– Ну что же, начинайте!..

В этот момент на одной из стен сцены вспыхнул квадратный глазок дюйма в три в длину и ширину. Шкидцы радостно заголосили.

– Гляди-ка! И правда... Зажглось!

Кинематограф Пантелеева и Янкеля отличался своеобразным

устройством. Экрана как такового не существовало. Через проекционное окошко проходила длинная бумажная лента с отдельными «кадрами» – рисунками, освещаемая сзади сильной электрической лампой. Смотреть приходилось отходя от глазка не дальше чем на два-три шага…

Но шкидцы не были требовательны, а кроме того, зрелище, устроенное сламщиками, было тем конем, которому в зубы не смотрят. Поэтому сдержанными, но единодушными аплодисментами встретили шкидцы первый титр:

ПУПКИН У РАЗБОЙНИКОВ

Фильма в 3-х частях

Сценарий Ал. Пантелеева

Режиссер Гр. Черных

шкидкино

Дождавшись, чтобы все прочли эту надпись, Пантелеев передернул ленту дальше. Следующий «кадр» изображал толстую физиономию человека, под которой красовались стихи:

Прекраснейший в мире человек
Вызывает всюду смеха стон.
С соломенной шляпой на голове
Вылезает Пупкин Антон.

Дальше был изображен Пупкин, сидящий на скамейке сада за чтением газеты.

Как-то в сумерки, летом,

Лет тому пять назад,

Захватив от скуки газету,

Забрался Антоша в сад.

На увлекшегося чтением Пупкина набросились вылезшие из кустов разбойники. Связав беднягу вдоль и поперек толстенным канатом, они стащили его в свое логово и, бросив в подвал, ушли. Пупкин различными ухищрениями, какие часто практикуются в детективных фильмах, выбрался на волю и –

Снова Антон Митрофанович Пупкин,

Щеки надув и поджавши губки,

Свободен, беспечен, могуч и здоров,

Как двадцать быков и пятнадцать коров.

КОНЕЦ

Демонстрация «фильмы» тянулась не более трех минут, но шкидцы были в восторге. Выразив свои чувства аплодисментами, они уже собирались расходиться, когда «экран» снова вспыхнул, извещая, что «сейчас пойдет видовая из жизни школы Достоевского». «Видовая» оказалась удачно зарисованными Янкелем сценками школьной жизни в различных ее моментах – в классе, в столовой, в спальне, за пилкой дров – и отдельными типами халдеев и шкидцев.

Ребята расходились, очень довольные сеансом.

– Вот это я понимаю, – говорил Купец, – это тебе не Юнком!

Через два дня Шкидкино поставило новый фильм – «Пупкин

попадает в лавру», – в котором остроумно показывались приключения Пупкина среди преступного мира Петрограда.

Программа менялась каждые два дня… Однажды, когда режиссер и сценарист находились в «кинотеатре» за просмотром только что изготовленного фильма «Антон Пупкин в прериях», Янкель сказал:

– Знаешь что, а мы бы могли извлекать пользу из своего кино!

– Как то есть пользу? – удивился Пантелеев.

– Да так… не вечно же нам с Шкидкино валандаться? Идеал-то наш Госкино…

– Ну так что ж?

– Давай устроим платное кино.

Пантелеев задумался.

– Хреновина. Заскулят еще.

– Ни псула. Две копейки золотом назначим, – это недорого.

«Пупкин в прериях» шел уже в условиях коммерческого расчета. Платность заметно отразилась на посещаемости. В первый раз пришло лишь десять человек, во второй и того меньше – всего шесть или семь.

– Да, действительно хреновина, – согласился Янкель. – Надо, знаешь, что-то придумывать.

И сламшики придумали.

Обычно перед демонстраций нового фильма давались анонсы в афишах и плакатах, развешивавшихся в классах, а на этот раз маленькие афишки раздавались по рукам:

СЕГОДНЯ

в 8 часов веч. в Шкидкино идет новая фильма –

только для взрослых

ПУПКИН ДОН-ЖУАН

В первый раз за долгое время Белый зал был переполнен. Явно неприличную ленту шкидцы смотрели смакуя и гогоча.

На следующий день после постановки «Дон-Жуана» в газете «Юнком» появилась статья:

ОБ ОДНОЙ КИНОФИЛЬМЕ

> Два товарища, бывшие некогда членами Юнкома и даже его Центрального комитета и исключенные за неподчинение дисциплине, в настоящее время занимаются делами, недостойными даже их. Они устроили игрушечный кинематограф, в котором показывают безобразные картины, и притом за плату. Не видим нужды говорить о разлагающем действии этого «Шкидкино» на воспитанников младших отделений, а просто заявляем: администрация, прикрой лавочку.

Викниксор прочитал статью, призвал к себе «кинематографистов» и заявил:

– Если еще раз повторится такая штука, будете оба переведены в лавру. А пока получите по пятому разряду на брата и – налево кругом!..

Бумажная панама

У Сарры Соломоновны не ларек, а целый кондитерский магазин. Целый день Сарра Соломоновна стоит, обложенная банками с

монпансье, леденцами, пряниками и шоколадом…

– Мадам! – кричит Сарра Соломоновна. – Мадамочка, вы не забыли купить конфет для вашего милого мальчика?

Дела у Сарры Соломоновны идут хорошо… Каждый день ее брат Яша привозит на маленькой тележке полные банки сластей, а вечером увозит их почти пустыми. У Сарры Соломоновны поэтому всегда довольный вид. Целый день и зиму и лето она стоит за своим ларьком и кричит:

– Гражданин? Почему бы вам не купить плитку шоколада для вашей симпатичной жены?

Пантелеев и Янкель познакомились с Саррой Соломоновной, покупая у нее четвертку сахарного песку.

Янкель вдруг спросил:

– Вы что, ларек домой на ночь увозите?

Сарра Соломоновна инстинктивно вздрогнула. Вопрос ей показался странным – и даже страшным.

«Это, наверное, налетчики, – подумала она. – Уж не хотят ли они ограбить мой ларек?»

– Нет, – сказала она. – Ларек я сдаю на хранение одному очень честному и сильному мужчине… Он же его и увозит на своей собственной тележке.

– А сколько вы ему платите? – полюбопытствовал Пантелеев.

Сарра Соломоновна вздохнула:

– Ой, не говорите, сколько я ему плачу… Я ему плачу пятьдесят миллионов в месяц…

– Здорово! – невольно воскликнул Янкель.

– Ну и сволочь же, – прошипел Пантелеев.

– А зачем вам это знать? – спросила Сарра.

– Мы вам будем носить ларек за двадцать миллионов, – сказал Пантелеев.

Сарра Соломоновна недоверчиво посмотрела на ребят, но все же согласилась.

– Хорошо, носите, – сказала она, – хотя это и очень подозрительно, но вы берете дешевле, и притом у меня на собственной квартире ларек будет сохраннее… Этот рыжий человек недавно сломал мне навес.

С этого дня Черных и Пантелеев каждодневно к семи часам вечера являлись на рынок и уносили в один присест нетяжелые сравнительно части ларька Сарры Соломоновны. Потом, войдя к ней в доверие, они помогали ее брату Яшке перевозить и товар.

Однажды Сарра Соломоновна сказала:

– Ой, вы бы знали, мальчики, как трудно сейчас работать торговцу… Как все дорого – патенты, налоги… Бумага оберточная и та дорогая. Ой, какая дорогая бумага, дороже, чем сам товар…

– Почем же теперь бумага? – из учтивости поинтересовался Янкель.

– Не говорите, - вздохнула Сарра Соломоновна. – Тридцать миллионов пуд.

Когда товарищи, перетащив ларек на квартиру Сарры Соломоновны, на Екатерининский канал, возвращались в школу,

Пантелеев сказал:

– Знаешь что, у меня явилась идея. Давай копить бумагу…

– Что-о? – закричал Янкель.

– Будем копить бумагу, – повторил Пантелеев. – Пуд скопить не так долго, если собирать даже старые тетради и газеты; а пуд стоит два рубля золотом, это все-таки прибавит к нашему фонду…

– А и правда, – призадумался Янкель. – Давай попробуем, – может быть, от этого приблизится срок осуществления нашей идеи, – улыбнулся он.

– Баку… – мечтательно прошептал Пантелеев.

С того же дня они начали собирать бумагу… Первым долгом собрали все старые, исписанные тетради и газеты. Оказалось не так много – четверть фунта всего. За неделю скопили двенадцать фунтов.

– Э, да это долгая волынка, – вздыхал Янкель.

Но все-таки не прошло и месяца, как они скопили пуд шесть фунтов бумаги, которую снесли к Сарре Соломоновне и продали ей за двадцать пять лимонов. Кроме того, они получили от Сарры Соломоновны и месячную плату за переноску ларька. В их «фонде» уже скопилось около пяти рублей золотом.

А тут еще подвернулся этот случай…

Однажды Янкель менял в библиотеке книги… Он лазил по пыльным полкам, отыскивая «Голод» Кнута Гамсуна… Библиотекарша Марья Федоровна сидела за столом, принимала и обменивала книги другим улиганам. Янкель был скрыт от нее шкафами. Он забрался по стремянке на самую верхнюю полку – в надежде хоть там отыскать

нужную книгу. Но на верхней полке, больше других пыльной и даже затянутой паутиной, он наткнулся на книги, не пригодные к чтению современной молодежи…

Это были «Свод законов Российской империи» и «Правительственный вестник» за 1896 год. Таких книг на полке было больше ста штук.

Янкель вытащил один из томов «Свода законов». В книге, не очень объемистей, было фунтов десять веса… Янкель, недолго думая, огляделся и сунул «Свод» за пазуху, под кушак. Не замеченный Марьей Федоровной, он вышел из библиотеки и прошел в класс.

– Прибавление к фонду, – сказал он Пантелееву, сидевшему за партой и старательно рисовавшему очень плохого ковбоя.

Пантелеев взял книгу и, перелистнув, спросил:

– Где ты выкопал эту рухлядь?

– Рухлядь, а стоит денег, и немалых, – ответил Черных. – Я ее слямзил в библиотеке. Таких книг там тьма, и лямзить их легко.

Пантелеев задумался.

– Вот что, – сказал он. – Лямзить незачем. У меня явилась мысль, благодаря которой мы сможем самым честным путем сделаться богачами.

– Честным путем богачами? – удивился Янкель.

– Да. То есть честным наружно. В сущности, это будет афера панама…

Янкель заинтересовался:

– Ну, ну, валяй дальше.

Пантелеев перелистнул страницу.

– Видишь, тут очень много чистых листов… Ты поймай Викниксора и покажи ему книгу…

– Показать книгу? Да ты что – сдурел?

– Засохни… Покажи Викниксору и попроси у него разрешения взять эту «ненужную рухлядь» для использования на журналы.

Янкель подумал минутку и просиял:

– Понимаю!..

Немного погодя в класс зашел Викниксор. Он разговорился с ребятами, кого-то обещал записать, кому-то приказал сдать в гардеробную пальто. Когда он собирался покидать класс, к нему приблизился Черных.

– Виктор Николаевич, – потупившись, сказал он. – У меня к вам просьба.

– В чем дело?

Янкель вытащил книгу.

– Вот… В библиотеке я нашел книги старые, «Свод законов», они сейчас никому не нужны… Можно мне взять для рисования? Там их немного…

– Гм… Рисовать, говоришь? Что ж, возьми. И правда – древность никому не нужная.

Лишь Викниксор вышел из класса, Янкель и Пантелеев бросились в библиотеку и, сняв с полки штук десять книг, потащили их к выходу.

– Ребята, вы куда? – закричала Марья Федоровна.

– В класс, – небрежно бросил Янкель. – Нам Виктор Николаевич

позволил.

Воспитательница проводила их удивленным взглядом. Вечером она справилась у Викниксора, тот подтвердил слова Янкеля.

А Янкель и Пантелеев за какую-нибудь неделю натаскали из библиотеки около десяти пудов бумаги. Бумагу они стаскивали во двор и прятали под лестницей флигеля.

Наконец, решив, что и натасканного довольно, они прекратили «честное расхищение» и задумались о способе переправки груза на Покровский рынок.

– Надо нанять ребят, – предложил Пантелеев.

Они подыскали в младших классах десять человек, согласившихся снести бумагу за небольшое вознаграждение на рынок.

* * *

Проходившие в тот вечер по Старо-Петергофскому проспекту граждане в ужасе шарахались в сторону при виде вереницы парнишек, спокойно тащивших на бритых головах бумажные кипы.

– Господи! – закричал кто-то. – Да что же это, никак негры идут, караван невольников со слоновой костью?!

– Не беспокойтесь, – ответил Янкель полным достоинства голосом. – Это не негры. У негров физиономии черные, а у этих товарищей самые обыкновенные.

– Не создавайте панику, – присовокупил Пантелеев.

Пантелеев и Янкель шли впереди «каравана», изредка помогая уставшему «невольнику» и принимая от него груз.

Караван без особых происшествий дошел до Покровки. Там грузовладельцы распорядились, чтобы бумагу сложили на парапет церковной ограды, приказали зорко зекать, а сами пошли подыскивать покупателей.

Покупатели нашлись очень скоро. Три пуда купила Сарра Соломоновна, остальные семь разошлись в момент по ларькам мясного отдела рынка.

У сламщиков на руках оказалась невиданная ими ранее сумма – двести шестьдесят лимонов. Шестьдесят лимонов они великодушно отдали грузчикам и с тем отпустили их…

Оставалось лишь купить червонцы.

Пошли к валютчикам, которые в те дни буквально залепляли все входы и выходы рынка. Курс червонца равнялся восьмидесяти миллионам рублей дензнаками; они приобрели два червонца. Две заветные белые бумажки очутились у них в руках.

Остальные деньги они в тот же день прокутили – сходили в кино, закупили папирос, колбасы и хлеба.

Два же червонца до поры до времени заначили крепко и надежно. «Идея» могла быть осуществлена в любую минуту.

Спектакль

Столовая ревела, стонала, надрываясь десятками молодых глоток:

– Накормим гостей!

– Из пайка уделим!

– Угостим!

Столовая ревела вдохновенно, азартно, единодушно. Наконец Викниксор поднял руку и наступила тишина.

– Значит, ребята, решено. Всех гостей мы будем угощать. Чем? Это обсудит специально выделенная комиссия. На угощение придется уделить часть вашего пайка, но мы постараемся сделать это безболезненно. Значит, на выделение продуктов из пайка все согласны?

– Согласны!

– Уделим!

– Угостим гостей!

Столовая ревела, стонала, надрывалась.

Это были предпраздничные дни Великой Октябрьской революции. Республика Шкид решила с помпой провести торжество и для этого торжественного дня поставить спектакль. Для гостей, родителей и знакомых, не в пример прочим школам, единогласно постановили устроить роскошный ужин. Поэтому-то так азартно и ревела республика, собравшись в столовой на обсуждение этого важного вопроса.

– Уделим! Уделим! – кричали со всех сторон, и кричали так искренне и единодушно, что Викниксор согласился.

Шкида перед праздником наэлектризована.

В столовой еще не отшумело собрание, а в Белом зале, на самодельной сцене, уже собрались участники завтрашнего спектакля.

Идет репетиция. Завтра праздник, а пьеса, как на грех, трудная во

всех отношениях. Ставят «Город в кольце». Вещь постановочная, с большим количеством участников, с эффектами. Конечно, ее уже урезали, сократили, перелицевали. Из семи актов оставили три, но и эти с трудом влезают в отпущенные Викниксором сорок минут.

– Черт! Пыльников, ведь ты же шпионка, ты – женщина. На тебе же платье будет, а ты – руки в карманах – как шпана, разгуливаешь, – надрывается Япончик, главреж спектакля.

Пыльников снова начинает свою роль, пищит тоненьким бабьим голоском, размахивает ни к селу ни к городу длинными красными руками, и Япончик убеждается, что Сашка безнадежен.

– Дурак ты, Саша. Идиот, – шепчет он, бессильно опускаясь на табуретку. Но тут Саша обижается и, перестав пищать, грубо орет:

– Иди ты к чертовой матери! Играй сам, если хочешь!

Япончику ничего не остается, как извиниться, иначе ведь Сашка играть откажется, а это срыв. Прерванная репетиция продолжается.

– Эй, давай первую сцену! Заговор у белых.

Выходят и рассаживаются новые участники. В углу за кулисами возится Пантелеев. Он завтехчастью. На его обязанности световые эффекты, а как их устроить, если на все эффекты у тебя всего три лампочки, – это вопрос. Пантелеев ковыряется с проводами, растягивая их по сцене. Играющие спотыкаются и ругаются.

– Какого черта провода натянули?

– Убери!

– Что тут за проволочные заграждения?!

Но Япончик успокаивает актеров.

– Ведь надо, ребята, устроить. Надо, без этого нельзя. – И любовно смотрит на согнувшегося над кучей проволоки Леньку. Япончик радуется за него. Ведь сламщики – Ленька и Янкель – опять стали своими, юнкомскими. Правда, в Цека их еще не провели, но они уже раскаялись:

– Виноваты, ребята, побузили, погорячились.

Япончик помнит эти слова, сказанные открыто на заседании Цека. Не забыл он и о том, что и ему тоже пришлось признать свою ошибку: вопрос о членстве в Юнкоме решен компромиссно – в организацию «Юных коммунаров» принимают теперь каждого, за кого поручится хотя бы один член Цека.

* * *

– Янкель, а в чем мне выходить? Ты мне костюм гони, и чтоб обязательно шаровары широкие, – гудит Купец, наседая на Янкеля. Он играет в пьесе себя самого, то есть купца-кулака, и поэтому считает себя вправе требовать к своей особе должного внимания.

– Ладно, Купочка, достанем, – нежно тянет Янкель, мучительно думая над неразрешенным вопросом, из чего сделать декорации. Завтра уже спектакль, а у него до сих нор нет ни костюмов, ни декораций.

Янкель – постановщик, но где же Янкелю достать такие редкие в шкидском обиходе вещи, как телефон, винтовки, револьвер, шляпу? Но надо достать. Янкель отмахивается от наседающих актеров. Янкель мчится наверх – стучит к Эланлюм.

– Войдите.

– Элла Андреевна, простите, у вас не найдется дамской шляпки? А потом еще надо кортик для спектакля, и еще у вас, я видел, кажется, висел на стене штык японский…

Эланлюм дает и штык, и кортик. Эланлюм любит ребят и хочет помочь им. Все она дает, даже шляпу нашла, кругленькую такую, с цветочками.

От Эланлюм Янкель тем же аллюром направляется к Викниксору.

– Виктор Николаевич, декораций, бутафории нет. Виктор Николаевич, вы знаете, если бы можно было взять из кладовки штук десять американских одеял! А?

Викниксор мнется, боится: а вдруг украдут одеяла, но потом решает:

– Можно. Но…

– Но?..

– Ты, Черных, будешь отвечать за пропажу.

Янкелю сейчас все равно, только бы свои обязанности выполнить, получить.

– Хорошо, Виктор Николаевич. Конечно. Отвечаю.

Через десять минут под общий ликующий рев Янкель, кряхтя, втаскивает на спине огромный тюк с одеялами. Тут и занавес, и кулисы, и декорации.

– Братишки, а зал-то! Зал! Ведь украсить надо, – жалобно причитает Мамочка. Все останавливаются.

– Да, надо.

Ребята озадачены, морщат лоб – придумывают.

– Ельничку бы, и довольно.

– Да, ельничку неплохо бы.

– Ура, нашел! – кричит Горбушка.

– Ну, говори.

– Ельник есть.

– Где?

Весь актерский состав вместе с режиссерами и постановщиками уставился в ожидании на Горбушенцию.

– Где???

– Есть, – торжествующе говорит тот, подняв палец. – У нас есть, на Волковском кладбище.

– Дурак!

– Идиот! – слышатся возбужденные голоса, но Горбушка стоит на своем:

– Чего ругаетесь? Поедемте кто-нибудь со мной, ельничку привезем до чертиков. Веночков разных.

– Но с могил?

– А что такого? Неважно. Покойнички не обидятся.

– А ведь, пожалуй, и впрямь можно.

– Недурно.

– Едем! – вдруг кричит Бобер.

– Едем! – заражается настроением Джапаридзе. Все трое испрашивают у воспитателя разрешение и уезжают, как на подвиг, напутствуемые всей школой. Остающиеся пробуют работать,

репетировать, но репетиция не клеится: все помыслы там, на Волковом. Только бы не запоролись ребята.

Ждут долго. Кальмот чирикает на мандолине. Он выступает в концертном отделении, и ему надо репетировать свой номер по программе, но из репетиции ничего не выходит. Тогда, бросив мелодию, он переходит на аккомпанемент и нудно тянет:

У кошки четыре ноги-и-и,
Позади ее длинный хвост.
Но трогать ее не моги-и-и
За ее малый рост, малый рост.

А в это время три отважных путешественника бродили по тихому кладбищу и делали свое дело.

– Эх и веночек же! – восхищался Дзе, глядя на громадный венок из ели, перевитый жестяной лентой.

– Не надо, не трогай. Этот с надписью. Жалко. Будем брать пустые только.

На кладбище тихо. На кладбище редко кто заглядывает. Время не такое, чтобы гулять по кладбищенским дорожкам. Шуршит ветер осенний вокруг крестов и склепов, листочки намокшие с трудом подкидывает, от земли отрывает, словно снова хочет опавшие листья к веткам бросить и лето вернуть.

Ребятам в тишине лучше работать. Уже один мешок набили зеленью, венками, веточками и другой стараются наполнить. Забрались в глушь подальше и хладнокровно очищают крестики от зелени.

– И на что им? – рассуждает Дзе. – Им уже не нужно этих венков, а нам как раз необходимо. Вот этот, например, веночек. Его хватит всего Достоевского убрать. И на Гоголя останется… Густой, свежий, на весь зал хватит.

Мешки набиты до отказа.

– Ну, пожалуй, довольно.

– Да… Дальше некуда. Вон еще тот прихватить надо бы, и совсем ладно.

Нагруженные, вышли где-то стороной, оглянулись на крестики покосившиеся и пошли к трамваю. Приехали уже к вечеру, вошли в зал и остановились, ошеломленные необычайным зрелищем.

За роялем сидел воспитатель и нажаривал краковяк, а Шкида, выстроившись парами, переминалась с ноги на ногу и глядела на Викниксора, который стоял посреди зала и показывал на краковяка:

– Сперва левой, потом правой. Вот так, вот так!

Викниксор заскользил по паркету, вскидывая ноги.

– Вот так. Вот так. Тру-ля-ля. Ну, повторите.

Шкида неловко затопала ногами, потом подделалась под такт и на лету схватила танец.

– Правильно. Правильно. Ну-ну, – поощрял Викниксор.

Ребята вошли во вкус, а Кубышка, старательно выделывая кренделя своими непослушными ногами, даже запел:

Русский, немец и поляк
Танцевали краковяк.

В самый разгар общего оживления распахнулись двери зала и

послышался голос Джапаридзе:

– А мы зелень принесли!

– Ого!

– Ура! Даешь!

Пары сбились, и все бросились к пришедшим.

Развязывая мешки, Дзе спросил:

– А что это Викниксор прыгает?

– Дурак ты! Прыгает!.. Он нас танцам к завтрашнему вечеру учит, – обиделся Мамочка.

Зелень извлекли при одобрительном реве и тут же начали украшать зал. Уже наступил вечер, а ребята все еще лазали с лестницей по стенам, развешивали длинные гирлянды из ели и украшали портреты писателей и вождей зелеными колкими ветками.

– Ну вот, как будто и все.

– Да, теперь все.

Белый зал стал праздничным и нарядным, из казенного, сверкающего чистотой и белизной помещения он превратился в очень уютную большую комнату.

– Пора спать, – напомнил воспитатель, и через минуту зал опустел.

* * *

Утро особенно, по-праздничному шумно разгулялось за окном. Звуки оркестра, крики, говор разбудили шкидцев. Просыпались сами и

заражались настроением улицы. За утренним чаем Викниксор сказал небольшую речь об Октябрьской революции, потом от Юнкома говорил Еонин, а затем все встали и дружно пропели сперва «Интернационал», потом шкидский гимн.

День начался сутолокой. В зале шла последняя, генеральная репетиция, в кухне готовился ужин гостям. В канцелярии стряпались пригласительные билеты и тут же раздавались воспитанникам, которые мчались к родителям, к родственникам и знакомым.

Шкида стала на дыбы.

Подошло время обеда, но как-то не обедалось. Ели нехотя, занятые разговорами, взволнованные. Старшие, не дообедав, ушли на репетицию, младшие, рассыпавшись по школе, таскали в зал стулья и скамейки и устанавливали их рядами. Шкидцы сияли, и Викниксор был вполне доволен, видя отражение праздника на их лицах.

Часа в четыре актеры кончили репетицию.

– Довольно прилично, – заключил критически Япончик, потом скомандовал:

– Час отдыху. А затем – гримироваться!

Декорации также были готовы. Американские одеяла оказались хорошим подспорьем, и маленькая подкраска цветными мелками дала полную иллюзию комнаты. Установили стол и стулья, на сцену повесили карту.

В пятом часу начали собираться гости. Специально откомандированный для этой цели отряд шкидцев отводил их в комнату для ожидания, и там они сидели до поры до времени со

своими родственниками-учениками.

На сцене тем временем шли последние приготовления. Притащили обед – суп и несколько булок из порций, предназначавшихся гостям. Все это требовалось в первом действии. Кулак, хозяин дома, должен был угощать на сцене участников белого заговора.

За кулисами гримировались, когда пришел Викниксор и озабоченно бросил:

– Пора начинать!

– Мы готовы, – раздалось в ответ. Пять минут спустя зазвенел звонок, призывающий занять места. Сгрудившись у занавеса, ребята смотрели в щелку, как заполнялось помещение. Народу пришло много. При виде рассаживающихся гостей Японец заволновался, скрипнул зубами и неопределенно процедил:

– Ну, будет бой. Не подпакостить бы, ребятки.

– Не подпакостим. Япончик, – ухмыльнулся Купец, что-то прожевывая. – Не бойся, не подпакостим…

Грянул второй звонок. Зал зашумел, заволновался и стал затихать. С третьим звонком судорожно дернулся занавес, но не открылся. Зрители насторожились и впились глазами в сцену. Занавес дернулся еще два раза и опять не раздвинулся. В зале наступила тишина. Все с интересом следили за упрямым занавесом, а тот волновался, извивался, подпрыгивал, но пребывал в прежнем замкнутом положении. Кто-то в зале посочувствовал:

– Ишь ты, ведь не открывается.

Вдруг из-за сцены донеслось приглушенное восклицание:

– Дергай, сволочь, изо всей силы. Дергай, задрыга!

Что-то треснуло, занавес скорчился и расползся, открывая сцену. Зрители увидели комнату и стол посредине, вокруг которого шумели заговорщики.

Спектакль начался.

На сцене собралось довольно необычное общество.

За столом сидел Купец в каком-то старомодном сюртуке или в визитке и в широченных синих шароварах. Возле него восседала какая-то не то баба, не то дамочка. Определить социальную принадлежность этой особы было затруднительно, потому что она была как бы склеена из двух разных половинок: верхняя часть, вполне отвечавшая требованиям спектакля, изображала интеллигентную особу в шляпе с пером, а нижнюю она как будто заняла у какой-то рязанской крестьянки в ярком праздничном платье с разводами. Однако с таким раздвоением личности зрители скоро свыклись, так как и другие заговорщики выступали в не менее фантастических костюмах, а главный вдохновитель белых, французский дипломат, в подтверждение своей буржуазной сущности имел всего-навсего один довольно помятый цилиндр, которым он и жонглировал, прикрывая шкидские брюки из чертовой кожи и холщовую рубаху.

Действие проходило мирно, и Японец уже начал было успокаиваться, как вдруг на сцене произошло недоразумение.

Кулак по ходу пьесы возымел желание угостить заговорщиков и, воодушевившись, позвал кухарку.

– Эй, Матрена! Неси на стол! – густейшим басом заговорил Купец.

В ответ – гробовое молчание.

– Матрена, подавай на стол!..

Опять молчание. Заговорщики смущенно заерзали, смущение проникло и в зрительный зал. Зрители заинтересовались упрямой Матреной, которая с таким упорством не откликалась на зов хозяина, и затаив дыхание ждали.

Купец побледнел, покраснел, потом в третий раз гаркнул, уже переходя границы текста из пьесы:

– Матрена! Ты что ж, дурак, принесешь жрать или нет?

Вдруг за кулисами что-то завозилось, потом тихий, по внятный голос выразительно прошипел:

– Что же я тебе вынесу, дубина? Слопал все до спектакля, а теперь просишь.

В зале хихикнули. Япончик побледнел и помчался на другую сторону сцены. Там, у кулисы, стояла растерявшаяся кухарка – Мамочка.

– Неси, сволочь! Неси пустые тарелки, живо! – накинулся на нее Японец.

Между тем Купец, не имея мужества отступить от роли, продолжал заунывно взывать:

– Матрена! Подавай на стол, Матрена! Неси на стол.

Весь зрительный зал сочувствовал Офенбаху, попавшему в глупое положение, и вздох облегчения пронесся в рядах зрителей, когда одноглазая Матрена, гремя пустой посудой, показалась наконец

на сцене. Спектакль наладился. Играли ребята прилично, и зрители были довольны.

Во втором действии, однако, опять произошла заминка.

В штаб красных пришла шпионка. Сцена изображала сумерки, когда Саша Пыльников, облаченный в шляпу с пером, таинственно появился перед зрителями. Он прошипел дьявольским голосом о конце владычества красных и подбежал к карте.

– Ага, план наступления, – хрипло пробормотал он.

Зрители притаились, зорко наблюдая за коварной лазутчицей из стана белых. Тут Саше понадобилось достать коробок и, чиркнув спичкой, при ее свете разглядывать план. И вот, в решительный момент он вдруг вспомнил, что спички находятся под юбкой, в кармане брюк.

Саша похолодел, но раздумывать было некогда, и, мысленно обозвав себя болваном, он полез в карман. Зал ахнул, испуганный таким неприличным поведением шпионки. Но тотчас же все успокоились, узрев под юбкой знакомые черные брюки.

Инцидент прошел благополучно, но, продолжая играть свою роль, Саша вдруг услышал за кулисами весьма отчетливый голос Япончика:

– Разве не говорил я, что Саша – круглый идиот?

Третье действие прошло без всяких осложнений, и пьеса кончилась.

Концертное отделение отменили, так как Кальмот разнервничался и порвал все струны на мандолине, а его номер был главным.

После спектакля гостей повели к столу, где их ожидали ужин и чай с бутербродами и булками.

И тут шкидцы показали свою стойкость. Они проголодались, но держались бодро. Трогательно было наблюдать, как полуголодный воспитанник, глотая слюну, гордо угощал свою мамашу:

– Ешь, ешь. У нас в этом отношении благополучно. Шамовки хватает.

– Милый, а что же вы-то не едите? – спрашивала участливо мать, но сын твердо и непринужденно отвечал:

– Мы сыты. Мы уже поели. Во! По горло…

Пир кончился. За время ужина зал очистили от мебели, и под звуки рояля открылись танцы.

Шкидцы любили танцевать – и танцевали со вкусом, а особенно хорошо танцевали сегодня, когда среди приглашенных было десять или двенадцать воспитанниц из соседнего детдома. Все они были нарасхват и танцевали без отдыха.

Вальс сменялся падепатинером, падепатинер тустепом, а тустеп снова вальсом.

Скользили, натирали пол подметками казенной обуви и поднимали целые тучи пыли.

Перевалило за два часа ночи, когда Викниксор замкнул наконец на ключ крышку рояля.

Гости расходились, младшие отправились спать, а старшие, выпросив разрешение, шумной, веселой толпой пошли провожать воспитанниц.

Вместе с ними вышли Янкель и Пантелеев. Они взяли у Викниксора разрешение уйти в отпуск и были довольны необычайно.

На улице было не по-осеннему тепло.

У ворот парочка отделилась от остальных и не спеша двинулась по проспекту. Хрустела под ногами подмерзшая вода, каблуки звонко отстукивали на щербатых плитах. В три часа на улице тихо и пустынно, и сламщикам особенно приятна эта тишина. Сламщикам хорошо.

Все у них теперь идет так ладно, а главное – у них есть два червонца, с которыми они в любой момент могут тронуться в Одессу или в Баку на кинофабрику.

Подмерзшие лужи похрустывают под ногами.

Кой-где еще вспыхивают непогашенные иллюминации Октябрьского праздника.

Кой-где горят маленькие пятиугольные звезды с серпами и молотами.

Тихо…

Птенцы оперяются

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный
Пошел по Невскому гулять.
Его поймали,
Арестовали
И приказали расстрелять.

Янкель не идет, а танцует, посвистывая в такт шагу.

Что-то особенно весело и легко ему сегодня. Не пугает даже и то, что сегодня – математика, а он ничего не знает. Заряд радости, веселья от праздника остался. Хорошо прошел праздник, и спектакль удался, и дома весело отпускное время пролетело.

Я не советский,
Я не кадетский,
Меня нетрудно раздавить.
Ах, не стреляйте,
Не убивайте –
Цыпленки тоже хочут жить.

Каблуки постукивают, аккомпанируя мотиву, и совершенно незаметно проходит Янкель захолодевшие изморозью утренние сонные улицы. Кончился праздник. На мостовой уже видны новые свежие царапины от грузных колес ломовых телег, и люди снова бегут по тротуарам, озабоченные и буднично серые. Янкель тоже хочет настроиться на будничный лад, начинает думать об уроках, но из этого ничего не выходит – губы по-прежнему напевают свое:

Цыпленок дутый,
В лапти обутый,
Пошел по Невскому гулять.

Вот и Шкида.

Бодро поднялся по лестнице, дернул звонок.

Ах, не стреляйте,
Не убивайте…

– А-а-а! Янкель! Ну, брат, ты влип!

Цыпленки тоже хочут жить…

Янкель оборвал песню. Что-то нехорошее, горькое подкатилось к гортани при виде испуганного лица дежурного.

– В чем дело?

– Буза!

– Какая буза? Что? В чем дело?

Янкель встревожен, хочет спросить, но дежурный уже скрылся на кухне…

Побежал в класс. Открыл двери и остановился, оглушенный ревом. Встревоженный класс гудел, метался, негодовал. Завидев Янкеля, бросились к нему:

– Буза!

– Скандал!

– Одеяла тиснули.

– Викниксор взбесился.

– Тебя ждет.

– Ты отвечаешь!

Ничего еще не понимая, Янкель прошел к своей парте, опустился на скамью. Только тут ему рассказали все по порядку. Он ушел в отпуск, сцена была не убрана, одеял никто кастелянше не сдал, и они остались висеть, а вчера Викниксор велел снять одеяла и отнести их в гардероб. Из десяти оказалось только восемь. Два исчезли бесследно.

Новость оглушила Янкеля. Испарилось веселое настроение, губы уже не пели «Цыпленка». Оглянулся вокруг. Увидел Пантелеева и

спросил беспомощно:

– Как же?

Тот молчал.

Вдруг класс рассыпался по местам и затих. В комнату вошел Викниксор. Он был насуплен и нервно кусал губы. Увидев Янкеля, Викниксор подошел к нему и, растягивая слова, проговорил:

– Пропали два одеяла. За пропажу отвечаешь ты. Либо к вечеру одеяла будут найдены, либо я буду взыскивать с тебя или с родителей стоимость украденного.

– Но, Виктор Ник…

– Никаких но… Кроме того, за халатность ты переводишься в пятый разряд.

Тихо стало в классе, и слышно было, как гневно стучали каблуки Викниксора за дверью.

– Вот тебе и «цыпленок жареный», – буркнул Японец, но никто не подхватил его шутки. Все молчали. Янкель сидел, опустив голову на руки, согнувшись и касаясь горячим лбом верхней доски парты. Лица его но было видно.

* * *

Стояли в уборной Янкель и Пантелеев. Янкель, затягиваясь папироской, горячо и запальчиво говорил:

– Ты как желаешь, Ленька, а я ухожу. Проживу у матки неделю, соберусь – и тогда на юг. Больше нечего ждать. Сидеть в пятом разряде не хочу – не маленький.

– А как же Витя? Думаешь, отпустит? – сказал Пантелеев.

– А что Витя? Пойду к нему, поговорю. Он поймет. Дело за тобой. Говори прямо, останешься или тоже… как сговорились?

На несколько секунд задумался Пантелеев.

Гришкины глаза тревожно-вопросительно впились в скуластое лицо товарища.

– Ну как?

– Что «как»? Едем, конечно!..

Облегченный вздох невольно вырвался из груди Янкеля.

– Давай руку!

– Айда к Викниксору! – засмеялся Пантелеев.

– Айда! – сказал Янкель.

Шли, не слышали обычного шума, не видели сутолоки, беготни малышей, вообще ничего вокруг не видели. Остановившись передохнуть у дверей Викниксоровой квартиры, невольно поглядели на сцену, снова оголенную, и Янкель скрипнул зубами.

– Сволочи. Это новички сперли, не иначе. Наши ребята не способны теперь на это.

– Ну ладно, идем.

Вошли в знакомый, до мельчайших подробностей примелькавшийся за долгое пребывание в школе кабинет и остановились перед заведующим.

Викниксор сидел у стола, надвинув на глаза картонный козырек, и читал. Подняв козырек, он поглядел на ребят.

– В чем дело?

Янкель выступил вперед и заговорил нетвердым, но решительным голосом.

– Виктор Николаевич, – сказал он, – мы хотим уйти из школы!.. Да, мы хотим уйти из школы, потому что мы уже выросли.

Викниксор сбросил козырек и с чуть заметной усмешкой с ног до головы оглядел ребят, будто желая удостовериться, действительно ли они выросли. Перед ним стояли те же ребята, даже на лицах мелькало легкое волнение, обычное при разговоре с воспитателем, но в голосе Гриши Черных, воспитанника четвертого отделения, Викниксору послышались новые, неслыханные нотки.

Мужественно говорил Гриша Черных:

– Виктор Николаевич, ей-богу, мы выросли. Когда я пришел в школу, мне было тринадцать лет. Я многого не понимал. Десять уроков в день я истолковывал как наказание. Тогда мне казалось, что уроки и изолятор – одно и то же. Тогда я боялся изолятора. Теперь мне шестнадцать лет, и я не могу мириться с узкими рамками школьного режима. Да, не могу… При всем моем уважении к изолятору, к пятому разряду и к вам, Виктор Николаевич…

– Да, и к вам, Виктор Николаевич, – поддакнул Пантелеев, и Викниксор, взглянув на Леньку, вспомнил, вероятно, как два с половиной года назад он разговаривал с этим парнем – здесь, в этом кабинете, у этого же стола.

– И к Элле Андреевне, – перечислял Янкель, – и к дяде Саше, и к «Летописи», и к урокам древней истории. Мы очень благодарны школе Достоевского. Она многому нас научила. Но мы выросли. Мы хотим

работать. Мы чувствуем силы…

И Янкель вытянулся, бессознательно расправляя грудь, а Пантелеев сжал кулаки и согнул руку, словно хотел показать Викниксору свои мускулы.

Оба застыли, ожидающе глядя на Викниксора.

Викниксор сидел задумавшись, а на лице его играла еле заметная, понимающая улыбка. Потом он встал, прошелся по комнате и еще раз посмотрел на обоих воспитанников долгим, внимательным взглядом.

– Вы правы, – сказал он.

Янкель и Пантелеев вздрогнули от радостного предчувствия.

– Вы правы, – повторил Викниксор. – Сейчас я услышал то, что хотел через полгода сам сказать вам. Теперь вижу, что немножко ошибся во времени. Вы выправились на полгода раньше. Вы правы. Школа приняла вас воришками, маленькими бродягами, теперь вы выросли, и я чувствую, что время, проведенное в школе, для вас не пропало даром. Уже давно я заключил, что вы достаточно сильны и достаточно переделаны, чтобы вступить в жизнь. Я знаю, что теперь-то из вас не получится паразитов, отбросов общества, и поэтому я спокойно говорю вам: я не держу вас. Я хотел через полгода сделать выпуск, первый официальный выпуск, хотел определить выпускников на места, но вы уходите раньше. Что ж, я говорю – в добрый путь. Идите! Я не удерживаю вас… Однако, если вам будет трудно устроиться, приходите ко мне, и я постараюсь помочь вам найти хорошую работу. Вы стоите этого. А американские одеяла забудем. Юнкомцы

приходили ко мне, ручались за вас и обещали разыскать вора.

* * *

Об уходе сламщиков Шкида узнала только через два дня, когда Янкель и Пантелеев пришли со склада губоно с выпускным бельем, или с «приданым», как называли его шкидцы. На складе они получили новенькие пальто, шапки, сапоги и костюмы и теперь, получив в канцелярии документы, зашли попрощаться с товарищами.

В классе шел урок истории.

Дядя Саша, как всегда, притворно сердито покрикивал на воспитанников и читал очередную лекцию по повторному курсу истории с упором на экономику. Сламщики вошли в класс и остановились. Потом Янкель подошел к Сашкецу и тихо проговорил:

– До свидания, дядя Саша. Мы уходим. Может, когда еще и встретимся…

– Ну что ж, ребятки, – сказал, поднимаясь, Алникпоп. – Конечно, встретимся. А вам и верно пора… пора начинать жить. Вон ведь какие гуси лапчатые выросли.

Он улыбнулся и протянул сламщикам руку.

– Желаю успехов. Прямой вам и хорошей дороги!..

– Спасибо, дядя Саша.

Урок был сорван, но Сашкец не сердился, не кричал, когда ребята всем классом вышли провожать товарищей. И тем, кто уходил, и тем, кто оставался, жалко было расставаться. Ведь почти три года провели под одной крышей, вместе бузили и учились, и даже ссоры сейчас

было приятно вспомнить.

У выходных дверей остановились.

– Ну, до свидания, – буркнул Японец, хлопая по плечам сламщиков. – Топайте.

Носик его покраснел.

– Топайте, черти!..

– Всего хорошего вам, ребята!

– Вспоминайте Шкиду!

– Заглядывайте. Не забывайте товарищей!

– И вы не забывайте!..

Улигания сбилась в беспорядочную груду, все толкались, протискивались к уходившим, и каждый хотел что-нибудь сказать, чем-нибудь выразить свою дружбу.

Вышел дежурный и, лязгая ключом по скважине, стал открывать дверь.

– Ну, – сказал Янкель, берясь за дверную ручку, – не поминайте лихом, братцы!..

– Не помянем, не бойтесь.

– Пгощайте, юнкомцы! – крикнул Пантелеев, улыбаясь и сияя скулами. – Пгощайте, не забудьте найти тех, кто одеяла пгибгал!..

– Найдем! – дружно гаркнули вслед.

– Найдем, можете не беспокоиться.

Сламщики вышли. Хлопнула выходная дверь, брякнула раза три расшалившаяся цепочка, и, так же лязгая ключом по скважине, дежурный закрыл дверь.

– Ушли, – вслух подумал Японец и невольно вспомнил Цыгана, тоже ушедшего не так давно, вспомнил Гужбана, Бессовестного – и вслух закончил мысль: – Ушли и они, а скоро и я уйду! Дядя Саша, а ведь грустно все-таки, – сказал он, вглядываясь в морщинистое лицо халдея. Тот минуту подумал, поблескивая пенсне, потом тихо сказал:

– Да, грустно, конечно. Но ничего, еще увидитесь. Так надо. Они пошли жить.

Последние могикане

Бежали дни… Не бежали: дни умеют бегать, когда надо, сейчас же они шли вымеренным маршем, шагали длинной, ровной вереницей, не обгоняя друг друга.

Как и в прошлом году, как и двести лет назад, пришел декабрь, окна подернулись узорчатой марлей инея, в классах и спальнях начали топить печи, и заниматься стали до десяти часов в день…

Потом пришел январь. В ночь на первое января, по достаточно окрепшей традиции, пили клюквенный морс, заменявший шампанское, ели пирог с яблочным повидлом и говорили тосты. В первый день нового года устроили учет: как и в прошлом году, приезжала Лилина и другие гости из губоно, Петропорта и соцвоса, говорили речи и отмечали успехи, достигнутые школой за год. В четвертом отделении возмужалые уже шкидцы проходили курс последнего класса единой школы, готовились к выпуску. Верхи поредели. Не было уже Янкеля, Пантелеева и Цыгана. В январе ушли еще трое – Воробьев, Тихиков и Горбушка. Их, как не отличавшихся особенными способностями и

тягой к умственным наукам, Викниксор определил в фабзавуч одной из питерских типографий. Жили они первое время в Шкиде, потом перебрались в общежитие.

В феврале никто не ушел.

Никто не ушел и в марте.

Март, как всегда, сменил апрель. В городских скверах зазеленели почки, запахло тополем и вербой, на улицах снег делался похожим на халву. В середине апреля четвертое отделение лишилось еще одного – Джапаридзе. Не дождавшись экзаменов и выпуска, Дзе ушел к матери – помогать семье. Викниксор отпустил его, найдя, что парень выровнялся, жить и работать наверняка может и обществу вреда не принесет.

Уходили старые, приходили новые. Четвертый класс пополнялся слабо, младшие же чуть ли не каждый день встречали новичков – с Мытненки, из лавры, из «нормальных» детдомов и с улицы – беспризорных. Могикане уходили, оставляя традиции и давая место новому бытовому укладу.

В мае сдал зачет в военный вуз Купец – Офенбах. Карьера военного, прельщавшая шкидского Голиафа еще в приготовительных классах кадетского корпуса, снова соблазнила его. Он был счастлив, что сможет служить в Красной Армии. Через две недели после ухода из Шкиды Купа явился одетый в новенькую шинель с голубыми обшлагами и в шлеме с сияющей улыбкой заявил:

– В комсомол записался. Кандидатом.

От бычьего лица его веяло радостью. И после этого он часто

наведывался в школу…

В мае же получили письмо от Громоносцева:

«Дорогие товарищи – Японец, Янкель, Пантелеев, Воробей, Кобчик и дры и дры!

Собрался наконец вам написать. Часто вспоминаю я вас и школу, но неправы вы будете, черти, если подумаете, что я несчастлив. Я счастлив, товарищи, лучшего я не могу желать и глуп был, когда плакал тогда на вокзале и в вагоне. Викниксор хорошо сделал, что определил меня сюда. Передайте ему привет и мое восхищение перед его талантом предугадывать жизнь, находить пути для нас.

Наверно, вы удивлены, чем я счастлив, что хорошего я нашел здесь? Долго рассказывать, да и боюсь – не поймете вы ни черта, не сумею я рассказать всего. Действительно, первые два месяца жизнь в техникуме доставляла мне мучения. Но мучиться долго не дали… Завалили работой. Чем ближе к весне, тем работы больше. Я увлекся и не заметил, как полюбил сельское хозяйство, крестьянскую жизнь.

Удивляетесь? Я сам удивляюсь, когда есть время, что за такой срок мои взгляды переменились. Как раньше я ненавидел сельский труд, в такой же степени сейчас влюблен в сеялки, молотилки, в племенных коров и в нашу маленькую метеорологическую станцию. Сейчас у

нас идет посев, засеваем яровое. Я, как первокурсник, работаю не в поле, а в амбарах по разборке и рассортировке зерна. Эта, казалось бы, невеселая работа меня так увлекла, что и сказать не могу. Я уже чувствую, что люблю запах пшеничной пыли, удобренного поля, парного молока…

Недавно я работал на маслобойке. Работа эта для меня ответственная, и дали мне ее в первый раз. Я не справился, масло у меня получилось дурное. Я всю ночь проплакал, – не подумайте, что мне попало, нет, просто так, я чувствовал себя несчастным, оттого что плохо успел в любимом деле.

И еще чем я счастлив – эта учеба. Я не думал, когда ехал сюда, что здесь, кроме ухода за свиньями, занимаются чем-нибудь другим. Нет, здесь, а тем более зимой, я могу заниматься общеобразовательными науками, вволю читать книги.

Теперь – главное, о чем я должен вам сказать, не знаю, как бы поделикатнее выразиться. Одним словом, братья улигане, ваш друг и однокашник Колька Цыган разучился воровать. Правда, меня не тянуло к этому в последнее время и в Шкиде, но там случай наталкивал, заставлял совершать незаконное. Сейчас же ничто не заставит меня украсть, я это чувствую и верю в безошибочность этого чувства…

Я оглядываюсь назад. Четыре года тому назад я гопничал в Вяземской лавре, был стремщиком у хазушников. Тогда моей мечтой было сделаться хорошим вором, шнифером или квартирником. Я не думал тогда, что идеал мой может измениться. А сейчас я не верю своему прошлому, не верю, что когда-то я попал по подозрению в мокром деле в лавру, а потом и в Шкиду. Ей, Шкиде, я обязан своим настоящим и будущим.

Я записался в комсомол, уже состою действительным членом, пройдя полугодовой стаж кандидата. Уже выдвинулся – назначен инструктором кружка физической культуры. Так что за будущее свое я не боюсь – темного впереди ничего не видно.

Однако о себе, пожалуй, достаточно. Бессовестный и Бык тоже очень изменились внутренне и внешне. Бессовестный растолстел – не узнаете, если увидите, – и Бык тоже растолстел, хотя казалось, что при его комплекции это уже невозможно. Здесь его, между прочим, зовут Комолым быком.

Гужбана же в техникуме уже нет. У него, представьте, оказались способности к механике, и его перевели в Петроград, куда-то на завод или в профшколу – не знаю… Я рад, что он ушел. Он – единственный человек на свете, которого я искренне ненавижу.

У нас в техникуме учатся не только парни, но и

девушки. Я закрутил с одной очень хорошенькой и очень умной. Думаю, что выбрал себе «товарища жизни». Мечтаем (не смейтесь, ребята) служить на благо обществу, а в частности советской деревне, рука об руку.

Пишу вам и не знаю – все ли, с кем заочно говорю, еще в Шкиде. Пишите, как у вас? Что делаете? Что нового?

Остаюсь старый шкидец, помнящий вас товарищ

Колька Цыган».

Тогда же получили письмо от Янкеля и Пантелеева. Они писали из Харькова, сообщали, что совершают поездку по южным губерниям корреспондентами какого-то киножурнала. Письмо их было коротко – открытка всего, – но от него веяло молодой свежестью и радостью.

В июне состоялся пленум Юнкома. В то время в Юнкоме уже числилось тридцать членов. На пленуме выступил Японец.

– Товарищи, – сказал он, – я буду говорить от лица основателей нашей организации, от лица Центрального комитета. В комитете уже не хватает троих, остались лишь я да Ельховский. Скоро уйдем и мы. Ставлю предложение – переизбрать Цека.

Предложение приняли и избрали новый Цека, переименовав его в Бюро. Председателем Бюро выбрали Старолинского – Голого барина.

В начале июля в Шкиде с разрешения губоно и губкома комсомола организовалось ядро юных пионеров, в которое на первых порах было принято всего шесть человек – наиболее окрепшие из малышей…

В августе ушли из школы Кальмот и Саша Пыльников. Кальмот уехал к матери. Пыльников сдал экзамен в Педагогический институт.

Последним уходил Японец.

Он пытался вместе с Сашей попасть в Педагогический, но не был принят за малый рост, недостаточно внушительный для звания халдея. Но в конце концов ушел и Японец. Нашел место заведующего клубом в одном из отделений милиции.

Так рассыпалось по разным городам и весям четвертое отделение, бывшее при основании Шкиды первым. Старые, матерые шкидцы ушли, на их место пришли новые.

Машина всосала следующую партию сырья.

Эпилог, написанный в 1926 году

Со дня ухода последнего из первых прошло три года.

Не так давно мы, авторы этой книги, Янкель и Пантелеев, были на вечере в одном из заводских клубов. Там шла какая-то современная пьеса. После последнего акта, когда зрители собирались уже расходиться, на авансцену вышел невысокого роста человек с зачесанными назад волосами, в черной рабочей блузе, с красным значком на груди.

– Товарищи! – сказал он. – Прошу вас остаться на местах. Предлагаю устроить диспут по спектаклю.

Сначала мы не обратили на человека в блузе внимания, услыхав же голос и взглянув, узнали Японца. После диспута пробрались за кулисы, отыскали его. Он вырос за три года не больше чем на

полдюйма, но возмужал и приобрел какую-то артистическую осанку.

– Япончик! – окликнули мы его. – Ты что здесь делаешь?

Встретив нас радостно, он долго не отвечал на вопрос, шмыгал носом, хлопал нас по плечам, потом сказал:

– Выступаю в роли помощника режиссера. Кончаю Институт сценических искусств. А это – практика.

Кроме того, Японец служит завклубом в одном из отделений ленинградской милиции, ведет работу по культпросвету.

От Японца мы узнали и о судьбах Пыльникова и Финкельштейна. Саша Пыльников, некогда ненавидевший халдеев и все к халдеям относящееся, сейчас сам почти халдей. Кончает Педагогический институт и уже практикуется в преподавательской работе.

Поэт Финкельштейн – Кобчик – учится в Техникуме речи, тоже на последнем курсе.

Купца мы встретили на улице. Он налетел на нас, огромный, возмужалый до неузнаваемости, одетый в длинную серую шинель, в новенький синий шлем и в сапоги со шпорами. На левом рукаве его красовались какие-то геометрические фигуры – не то квадраты, не то ромбы. Он – уже краском, красный офицер.

На улице же встретили мы и Воробья. Он бежал маленьким воробышком по мостовой, обегая тротуар и прохожих, сжимая под мышкой портфель.

– Воробей! – крикнули мы.

Он был рад видеть нас, но заявил, что очень спешит, и, пообещав зайти, побежал. День спустя он зашел к нам и рассказал о себе и о

некоторых других шкидцах.

Работает он в типографии вместе с Кубышкой, Мамочкой, Горбушкой и Адмиралом. Все они комсомольцы и все активисты, сам же Воробей – секретарь коллектива. От Воробья же мы узнали о Голом барине и Гужбане. Голенький работает на «Красном треугольнике», Гужбан – на «Большевике».

И совсем уж недавно, совсем на днях, в нашу комнату ввалился огромный человек в непромокаемом пальто и высоких охотничьих сапогах. Лицо его, достаточно обросшее щетиной усов и бороды, показалось нам тем не менее знакомым.

– Цыган?! – вскричали мы.

– Он самый, сволочи, – ответил человек, и уже по построению этой фразы мы убедились, что перед нами действительно Цыган.

Он – агроном, приехал из совхоза, где работает уже больше года, в Питер по командировке. Ночевать он остался у нас.

Вечером, перед сном, мы сидели у открытого окна, говорили вполголоса, вспоминали Шкиду. Осенние сумерки, сырые и бледные, лезли в окно. В окно было видно, как на заднем дворе маленький парнишка гонял железный обруч, за забором слышалось пение «Буденного» и смех.

– А где теперь Бессовестный и Бык?

– Они еще в техникуме. В последнем классе.

– Изменились?

– Не узнаете!

Цыган минуту помолчал, смотря на нас, потом улыбнулся.

– И вы изменились. Ой, как изменились! Особенно Янкель. На «Янкеля» уж совсем и не похож.

– А Ленька на Пантелеева похож?

Цыган засмеялся.

– Шкида хоть кого изменит.

Потом прикурил погасшую цигарку махры, пустил синее облако за окно в густые уже сумерки…

– Помните? – сказал он и, наклонив голову, вполголоса запел:

Путь наш длинен и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы выйти в люди.